

ВОЛНА

6-7
1997

ЖУРНАЛ
УЗНИКОВ
ТОТАЛИТАРНЫХ
СИСТЕМ



ВОЛЯ | 6-7 1997

ЖУРНАЛ УЗНИКОВ ТОТАЛИТАРНЫХ СИСТЕМ

Главный редактор

С.С.ВИЛЕНСКИЙ

Редакционная
коллегия:

И.П.БОРИСОВА

З.А.ВЕСЕЛАЯ

Н.М.ПИРУМОВА

Т.И.ИСАЕВА

Л.С.НОВИКОВА

А.Д.ШИНДЕЛЬ

В.В.МАЛИНОВСКИЙ

Ф.С.МЕРКУРОВ

Д.КРОУФУТ

Р.РИШИН

Д.НЕМЕЦ-ИГНАШЕВА

Художественное оформление и макет
Ф.С.Меркурова и Т.П.Жариковой
Корректор С.В.Цыганова

Издатель: Московское историко-литературное
общество «Возвращение»
ЛР № 0110961 от 9.08.1993
ISBN 5-7157-0065-5
© «Возвращение», 1997

Сдано в набор 15.01.97. Подписано к печати 03.06.97. Формат бумаги 60×88/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 24,0. Тираж 1000 экз. Заказ №

Издание отпечатано в типографии
Издательского дома «ГРААЛЬ»

Издание этих номеров журнала «Воля»
осуществлено при финансовой поддержке
ФОНДА ГЕРЦЕНА (Голландия) и
ФОНДА ХЕТ-ПАРОЛ (Голландия)

ВОЛЯ | 8 | 1997 |

ЖУРНАЛ УЗНИКОВ ТОТАЛИТАРНЫХ СИСТЕМ

ЧИТАЙТЕ:

Вениамин Полещиков
«Письмо восьми»;

Георгий Демидов
«Классика литературы и
лагерная самодеятельность»;

Зоя Марченко
«Мы шли этапом...»;

Алина Герасимова
«Политические репрессии и личность»;

Жак Росси
«Рассказы».

СОДЕРЖАНИЕ

1	Россия. XX век	
	А. Н. ЯКОВЛЕВ. Обращение к общественности	3
	С. ВИЛЕНСКИЙ. Маска скорби	9
2	Документы и свидетельства	
	К. КРАСНОПОЛЬСКАЯ. Преступление без наказания	15
	Г. ВЕСЕЛАЯ. «Тройка» постановила расстрелять	77
	А. СТЕПАНОВ. Расстрел по лимиту	105
	Я. КАРСКИЙ. Предостережение о геноциде <i>Перевод с английского Т. Липовской</i>	114
3	Сопrotивление	
	А. МАЛУМЯН. Июль пятьдесят третьего <i>Перевод с французского Л. Новиковой</i>	127
	Л. ТЕРНОВСКИЙ. Последнее слово на суде	136
4	Доднесь тяготеет	
	(Из подготовленного к печати сборника «Доднесь тяготеет», т. II «Колыма»)	
	Я. БАРДАХ. Невольничий корабль <i>Перевод с английского В. Владимирова</i>	139
	М. МИНДЛИН. Бригадир	150
	Г. ДЕМИДОВ. Дубарь	155
5	Не хлебом единым	
	А. ХОХШИЛЬД. Непройденные пути <i>Перевод с английского Н. Десятниковой</i>	183

Н. ПОКРОВСКИЙ. Енафья	196
В. БРОМБЕРГ. Свет убитой звезды	201
А. ВАСИЛЬЕВ. Пьеса, сыгранная самой жизнью	229
З. ВЕСЕЛАЯ. Четыре дня в Чусовом	292

6 ГУЛАГ: вчера, сегодня

Г. КУПРИЯНОВ. Из тюремного дневника	306
Э. ЛИППЕР. Заявление	
<i>Перевод с французского Л. Новиковой</i>	337
Н. МОНИЧ. Второе рождение. 1941 — 1953 (продолжение)	340

7 Дав руку мне...

Г. КОЧУР. Мои воспоминания о Елене Алексеевне Ильзен	367
А. ШИНДЕЛЬ. Судьба и книга	373

8 Портреты

К. КУЗНЕЦОВА. Георгий Вагнер	378
М. НОГТЕВА. Николай Троицкий	386
А. РОДИН. Яков Эфрусси	392
К. КРАСНОПОЛЬСКАЯ. Ада Федерольф	397

И

Александр Н. Яковлев
ОБРАЩЕНИЕ
К ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Я знаю, о чем пишу. И мне нелегко это делать. Вступил в партию во время войны, воевал, прошел в КПСС длинный номенклатурный путь — от секретаря первичной парторганизации, члена райкома до члена Политбюро. В 1991 году, незадолго до мятежа, был исключен из КПСС. За мои долгие годы многое узнал, а еще больше — понял. Про меня понаписано всякой дряни столько, что захлебнуться можно. На себе испытал всю мерзопакостность продавцов товара из мира теней. Не скажу, что легко все это читать и слышать, но спасает то, что я глубоко верю в будущее свободной России, а коль так, то всякий вздор заслуживает лишь презрения и ничего другого.

Топкое болото предвыборного страха, кажется, осталось позади.

Пророкам и легионерам идеологии всеобщей нетерпимости на сей раз не удалось захватить власть и столкнуть Россию в пропасть. Судьба смилостивилась. Она дала нашему народу еще один шанс на выживание. Появились реальные условия для прекращения гражданской войны, которая вот уже столетие полыхает в нашем Отечестве.

Вдохновитель и организатор ее — большевизм, сформировавшийся как особая форма власти военно-тоталитарной партии.

Официальные догмы этой партии жестко и неукоснительно диктуют политику насилия как «повивальной бабки истории»; насильственных революций как «локомотивов истории»; классовой борьбы вплоть до полного уничтожения одного класса другим; диктатуры пролетариата; уничтожения частной собственности; отрицания правового государства и гражданского общества; попрания прав наций и прав человека; отрицания семейного воспитания; установления мировой империи коммунизма.

Это вероучение, несмотря на уже доказанную историей теоретическую абсурдность и практическую несостоятель-

ность, дышит и сегодня. Оно мимикрирует, приспосабливается, извивается, крутит хвостом во все стороны. Будучи злейшим врагом демократии, большевизм активно паразитирует на ее принципах с тем, чтобы, захватив власть, похоронить демократию, как это уже случилось после октябрьского переворота в 1917 году.

Еще вчера большевики — «последовательные интернационалисты», а сегодня — национал-патриоты. Теперь пролетариат — уже не богоизбранная, наднациональная и единственная секта, призванная владеть миром, а всего лишь соборные трудящиеся, которые, согласно очередному мифу национал-большевиков, связывают с ними национал-патриотические надежды на спасение России. Итак, одна секта — интернационал-большевистская без особых церемоний превращается в другую — национал-патриотическую.

Еще вчера они — воинствующие безбожники, а сегодня — не моргнув глазом, перекинулись в радетели религии.

Еще вчера частная собственность была для них воплощением социального зла и смертельным грехопадением, а сегодня они сами с жадностью хватают все, что плохо лежит.

Еще вчера, будучи у власти, они физически уничтожали всех инакомыслящих, а сегодня живописуют себя чуть ли не главными защитниками свобод и конституционности.

И прочее, и прочее, чему предел за горизонтом.

Но все эти увертки, клоунады с идеологическими переодеваниями, как и прежде, пропитаны ритуальной ложью и корыстью.

Впрочем, тут своя, большевистская, логика, основанная на принципах революционной целесообразности и протуированной диалектике. В начале столетия большевизм во имя химеры мировой пролетарской революции превратил Россию в свою экспериментальную колонию, а народы России — в подопытное селекционное стадо для выведения особой породы человека. Результат известен: Россия облилась кровью и отстала, а народ ее поставлен на колени. Ради той же неутолимой жажды власти на крови большевизм готов сегодня продать за власть и свое капище — «всесильное и непобедимое марксистско-ленинское учение».

Как и многие десятилетия назад, большевизм с его основными политическими игроками и трубачами — ВКП(б), КПСС и КПРФ, объявившей себя наследницей КПСС, вместе с другими правыми группировками, включая фашистские, является преградой к прочной свободе человека и зрелому демократическому устройству в России, источником раскола и общественно-экономической нестабильности, неутраченного страха.

С точки зрения их «вождей», нынешняя власть — это режим «национальной измены», «оккупации», «национального предательства», «кремлевских власовцев». Продолжая питаться агрессией, взращенной за семь десятилетий их же власти, равно как и растерянностью людей в условиях быстрых общественных перемен, большевики упорно ведут дело к новому социальному взрыву и гражданской войне.

Спросим себя, почему и откуда идут наша нервозность, наш страх сегодня? Да потому, что Иосиф Джугашвили все еще жив, что идеология взаимной неприязни и подозрительности, равенства в нищете, иждивенчества продолжает угнетать нас, эксплуатировать нас, не дает разогнуться согбенным спинам, мешает свободному дыханию.

Идеология нетерпимости целенаправленно превращена большевиками в государственную. И вот уже многие десятилетия мы ожесточенно боремся, не ведая ни милосердия, ни сострадания, не жалея ни желчи, ни чернил, ни ярлыков, ни оскорблений, ни детей наших, ни внуков, не страшись ни Бога, ни черта, лишь бы растоптать ближнего, размазать его по асфальту, как грязь, испытывая при этом сладостное удовлетворение.

По меркам истории, Россия очень быстро идет к обретению свободы — этой подлинной идеологии человечества и его всеохватной религии.

Но путь к торжеству свободы в России может быть прерван в любой день, если не поставит вне закона большевистскую идеологию человеконенавистничества, всеобщей борьбы ради борьбы, равно как и организации, исповедующие насилие, агрессивный национализм и национальную рознь, расизм, антисемитизм, шовинизм.

Поэтому я обращаюсь к российской и мировой общественности, к Президенту России, Конституционному суду, Правительству, Генеральной прокуратуре, Федеральному собранию с призывом возбудить преследование фашистско-большевистской идеологии и ее носителей.

Большевизм не должен уйти от ответственности за насильственный и незаконный государственный переворот в 1917 году и начавшуюся вслед за ним политику «красного террора».

Большевизм не должен уйти от ответственности за развязывание братоубийственной гражданской войны, в результате которой была разрушена страна, а в ходе бессмысленных и кровавых боев убиты, умерли от голода, эмигрировали более 13 миллионов человек.

Большевизм не должен уйти от ответственности
за уничтожение российского крестьянства. Попраны нравственность крестьянской России, ее традиции и обычаи. Производительные силы деревни подорваны у нас настолько, что и сегодня страна закупает прокормление за рубежом. До сих пор власти не отдают крестьянам землю. В наши дни думские большевики упорно блокируют решение земельного вопроса, понимая, что без этого любые реформы обречены на провал.

Большевизм не должен уйти от ответственности
за уничтожение христианских храмов, буддийских монастырей, мусульманских мечетей, иудейских синагог, моленных домов, за расстрелы священнослужителей, за гонения на верующих, за преступления против совести, покрывшие страну позором.

Большевизм не должен уйти от ответственности
за уничтожение традиционных сословий российского общества — офицерства, дворянства, купечества, корневой интеллигенции, казачества, а также банкиров и промышленников.

Большевизм не должен уйти от ответственности
за практику неслыханных фальсификаций, ложных обвинений, внесудебных приговоров, за расстрелы без суда и следствия, за истязания и пытки, за организацию концлагерей, в том числе для детей-заложников, за применение отравляющих газов против мирных жителей. В мясорубке ленинско-сталинских репрессий погибли более 15 миллионов человек.

Большевизм не должен уйти от ответственности
за уничтожение всех партий и движений, в том числе и партий демократической и социалистической ориентации.

Большевизм не должен уйти от ответственности
за бездарное ведение войны с гитлеровским фашизмом, особенно на ее первоначальном этапе, когда почти вся регулярная армия, находившаяся в западных районах страны, была пленена или уничтожена. И только стена из 30 миллионов погибших заслонила страну от иноземного порабощения.

Большевизм не должен уйти от ответственности
за преступления против бывших советских военнопленных, которых из немецких концлагерей перегнали, как скот, в советские тюрьмы и лагеря. Практически все крупнейшие стройки СССР стоят на костях политзаключенных, включая бывших военнопленных. Ими сооружались

химические заводы, урановые рудники, северные поселения и многое другое.

Большевизм не должен уйти от ответственности за зверское изгнание из родных мест в необжитые районы страны немцев, татар, чеченцев, ингушей, карачаевцев, корейцев, балкарцев, калмыков, турок-месхетинцев, армян, греков, гагаузов, поляков, эстонцев, латышей, литовцев, молдаван, западных украинцев. Сотни тысяч людей погибли в результате этих неслыханных злодейств.

Большевизм не должен уйти от ответственности за организацию травли ученых, литераторов, мастеров искусств, инженеров и врачей, за колоссальный урон, нанесенный отечественной науке и культуре. По преступным идеологическим мотивам были подвергнуты остракизму генетика, кибернетика, прогрессивные направления в экономике и языкознании, в литературном и художественном творчестве.

Большевизм не должен уйти от ответственности за организацию расистских процессов (против Еврейского антифашистского комитета, «космополитов-антипатриотов», «врачей-убийц»), направленных на разжигание межнациональной розни, на возбуждение низменных инстинктов и предрассудков.

Большевизм не должен уйти от ответственности за организацию преступных кампаний против любого инакомыслия. Все, кто рассуждал или писал не по его директивам, неотвратимо обрекался на тюрьмы, ссылки, спецпоселения, изгнания за границу, психбольницы, увольнения с работы, травлю в печати, другие изощренные издевательства над личностью.

Большевизм не должен уйти от ответственности за сплошную и всеохватывающую милитаризацию страны, в результате чего народ вконец обнищал, а развитие общества катастрофически затормозилось. До сих пор радетели большевистской милитаризации саботируют переход военного производства на гражданское.

Большевизм не должен, в конечном итоге, уйти от ответственности за установление диктатуры, направленной против человека, его чести и достоинства, его свободы. В результате преступных действий большевистской власти погублено более 60 миллионов человек, разрушена Россия. Большевизм, будучи разновидностью фашизма, проявил себя главной антипатриотической силой, вставшей на путь уничтожения собственного народа. Эта неудержимо злобная сила нанесла немыслимый ущерб генофонду народа, его физическому и духовному здоровью.

Во имя спасения страны и всего мира необходима последовательная и решительная *дебольшевизация государства и общества*.

Должна быть издана «Коричневая книга» преступлений большевизма, опубликованы все документы на этот счет.

Было бы пагубным для России повторить ошибки, допущенные демократической властью после августовских и октябрьских событий 1991 и 1993 годов, когда вдохновители и организаторы военных мятежей были странным образом прощены, более того, перед ними распахнуты двери для продолжения антинародной деятельности и подготовки ползучего переворота.

Я против «охоты на ведьм». Тем более что основные преступники уже покинули сей мир. Да и то сказать: все мы — вольно или невольно, прямо или косвенно, — но были соучастниками или молчаливыми свидетелями сотворенного Зла. Рано или поздно, но всем нам не избежать покаяния.

Речь идет о другом. Я призываю к последовательной *диктатуре Закона в России, и только Закона*, включая неукоснительное исполнение решения Конституционного суда относительно компартии.

Новое нашествие большевизма должно быть предотвращено. Иначе большевизм снова возьмет нас за шкуру, как трусливых зайцев.

Семен Виленский

МАСКА СКОРБИ

В 1962 году гуляли мы с Андреем Игнатъевичем Алдан-Семеновым ночью по Магадану. Оба командированные — я от «Литературной газеты», он — от «Огонька». Оба — еще недавно заключенные колымских лагерей.

Андрей Игнатъевич вдруг вспомнил стихи Мицкевича:

На город лишь взглянуть —
И скажешь без сомненья,
Что этот город строил Сатана.

Строить Магадан начали в 1932 году, при первом начальнике особого треста НКВД «Дальстрой» Эдуарде Берзине. Тогда же привезли сюда первых заключенных. Чекист-хозяйственник, владелец все новых и новых тысяч заключенных, он считался либералом, хотя и при нем убивали непосильным трудом и, случалось, расстреливали. Потом Берзина арестовали и расстреляли. Как и сотни тысяч других людей, он сам стал жертвой террора, с особой силой бушевавшего на Колыме. Магадан — единственный в мире город, в котором установлен памятник бывшему начальнику лагерей. Они смотрят друг на друга, как в Москве Соловецкий камень и Лубянка, этот памятник и открытый 12 июня 1996 года на окраине Магадана, на сопке Крутой, над бывшим пересыльным лагерем мемориал «Маска скорби» (скульптор Эрнст Неизвестный, архитектор Камиль Казаев).

Поездка на открытие мемориала с горсткой бывших лагерников всколыхнула много воспоминаний. Вот простирается перед нами одно из лагерных кладбищ Бутугычага с одинокими могильными колышками. Хоронили на сопках над тесными каменными долинами. Здесь, на кладбище, почти ровная площадка, удобная для посадки вертолета. Воздушный вихрь от его винта вырывает колышки из земли, и они, отброшенные в сторону, расстилаются, как скошенная трава. Маршрут к этому кладбищу вертолетчики знают назубок. За последние годы здесь побывало немало туристов, журналистов, фотокорреспондентов из Америки,

Франции, Канады, Японии... Вот и сейчас молодые американцы тащат к вертолету сувенир — моток ржавой колючей проволоки.

...По кольшкам отчетливо видны ряды захоронений. Почти к каждому кольшку прибита бирка. Деревянные, потемневшие — на них уже ничего не разобрать. На других — маленькие круглые бирки из жести с выбитыми номерами. Они чуть слышно позванивают на ветру.

Уже сорок лет длится реабилитация жертв большевистского режима. Странная, лукавая реабилитация. Вместо того чтобы выделить дела военных преступников и уголовников, а остальных реабилитировать, покаяться перед всем миром — год за годом пересматривают бредовые измышления безграмотных следователей. Реабilitируют и самих палачей, облыжно обвиненных в шпионаже. Но в бесконечном списке реабилитированных и с лупой не отыскать крестьянских детей, загубленных за сбор колосков...

Год за годом параллельно с реабилитацией идет процесс сокрытия преступлений. В 1962 году в Магадане ко мне пришли работники архива: «Товарищ корреспондент, жгут архивы!» И многие годы, начиная с XX съезда и до недавнего времени, тысячи семей получали лживые ответы на запросы о судьбе своих репрессированных родных. Умер от пневмонии, от сердечной недостаточности... в сорок втором, в сорок третьем, в сорок четвертом... И это о людях, расстрелянных в тридцатые годы. Смотрите, как шайка уголовников старается списать на военные годы десятки тысяч своих «мокрых» дел!

Стучат пишущие машинки, для выживших устанавливается их трудовой стаж, принимаются законы о льготах для репрессированных. Но что-то никому из этого моря чиновников не приходит в голову определить по номерам бирок имена погибших, установить обелиски с их именами на лагерных кладбищах.

На «научно-практической» конференции (так она названа в приглашении) «Колыма. Дальстрой. ГУЛАГ. Скорбь и судьба» ученые магаданские мужи спрашивали у нас, бывших узников, не знаем ли мы места массовых захоронений. Как ни старались, не могли они сами найти таких мест на Колыме. А педагог Тамара Михайловна Сергеева, руководитель краеведческого клуба «Поиск», рассказала, как набрали ребята на яму, где под слоем мха множество черепов и костей. Поехали туда представители правоохранительных органов Магадана. Кто-то пытался палкой определить глубину ямы. А на следующий год дети снова увидели в этой яме останки людей, прикрытые мхом. Никто



Мемориал «Маска скорби»

не возбудил уголовного дела, даже могильный холм не насыпали. В другой раз ребята сообщили о заброшенном лагерном кладбище, где стоят тысячи колышков. Вот они снова на этом месте — и никаких колышков уже нет...

Наверное, и немцы до сих пор задыхались бы от недосказанности и лицемерия, не будь Нюрнбергского трибунала, объявившего национал-социалистическую партию и ее карательные органы преступными организациями. В недавно изданном в Магадане сборнике «Исторические аспекты Северо-Востока России: экономика, образование, колымский ГУЛАГ» напечатана статья И. Бацаева «Колымская гряда Архипелага ГУЛАГ». Автор приходит к выводу: «Система была преступной, и, что характерно, люди, проводившие ее политику, прекрасно сознавали это... Во многих документах подчеркивалось, что особую государственную тайну составляют все данные о лагерях, в которых содержатся заключенные, об их режиме и охране». И далее замечает: «Работа по данной тематике осложняется тем, что в 1953-м, 1958-м и 1961 годах огромное количество архивных документов было уничтожено».

Сегодня в Магадане имеется два архива, отражающих историю «колымской гряды» ГУЛАГа, — МВД и ФСБ. Мне не известно ни одной публикации, в которой бы их сотрудники или руководители колымских отделений этих ведомств рассказали бы, по чьему приказу, кем и с какой целью происходило уничтожение документов, какие преступления сокрыты, какие цифры фальсифицированы. Спрашивается, как можно совместить служение демократической России с сокрытием вопиющих преступлений!

Но вернемся к конференции. Два пространных сообщения на ней были посвящены «восстановлению справедливости» в отношении Гаранина — начальника колымских лагерей в период ежовщины. Смысл сообщений сводился к тому, что Гаранин никаких преступлений не совершал, что разговоры о «гаранинских расстрелах» — это легенды, придуманные заключенными. Гаранин, мол, тоже был репрессирован несправедливо — и давно реабилитирован. Между тем 1938 год был одним из самых губительных для колымских заключенных. Расстрелянные, замученные, погибшие от голода... Трупы не успевали вывозить за зону, они лежали штабелями.

Как можно бесстрастно говорить о реабилитации палача! Разве Эйхман лично кого-то расстреливал или загонял в газовую камеру?

Было бы понятно, если бы уничтожением памяти под видом ее сохранения занимались люди, лично причастные к

преступлениям режима. Но ведь этим занимаются люди нового поколения. Может быть, причина в том, что они, сами того не сознавая, служат старой бесчеловечной системе, все еще существующей параллельно с декларированными новыми гражданскими формами жизни.

Сколько заключенных прошло через колымские лагеря, сколько погибло?

В буклете «Тени Бутугычага», изданном в Магадане к открытию мемориала, сказано: «Миллионы жизней перемолоти жернова колымских лагерей...»

Сто тридцать тысяч — такую цифру назвал на открытии мемориала представитель магаданской администрации. На конференции речь шла о семистах тысячах заключенных, доставленных на Колыму в 1932 — 1957 годах. Утверждалось, что эта цифра соответствует этапным журналам.

По словам старшего помощника прокурора Магаданской области Бориса Андреевича Пискарева, выступавшего на конференции, на полках протяженностью в три с половиной километра хранится пятьсот тысяч дел. Им названа цифра: два с лишним миллиона. Именно столько учетных карточек имеется в картотеке магаданского архива МВД. У московской делегации «Возвращения» создалось впечатление, что эта цифра никого из присутствующих на конференции магаданцев не удивила. В книге «Освенцим без печей», выпущенной издательством «Возвращение», в разделе «Из почты магаданского «Мемориала» приводится письмо жительницы Магадана Т. Ф. Почиталиной: «Знаю одного бывшего работника милиции. Он рассказывал, как жгли в котельной дела, много дел, в конце каждого — умер». Это было в шестидесятых — семидесятых годах.

Учетных карточек свыше двух миллионов. Дел — пятьсот тысяч. Значит, уничтожено свыше полутора миллионов дел. Именно дел. Сколько уничтожено людей — сказать пока нельзя. Ибо нет никакой уверенности, что картотека полная. Помощник прокурора настаивал на передаче картотеки из ведомственного на государственное хранение. Иначе ее может постичь участь уничтоженных в Магадане дел.

Нюрнбергский трибунал осудил главарей нацистской Германии за преступления против человечества. Он установил, что нацистская партия планировала и реализовывала все эти преступления. Большевицкая партия, правящая ее верхушка совершили не менее чудовищные преступления против человечества. Через ГУЛАГ прошли граждане едва ли не всех стран мира. Передача гестаповцам немецких антифашистов, расстрел польских офицеров в Катыни, исчезновение пока еще не известного числа узников нацист-

ских лагерей, освобожденных в конце войны Советской Армией... Все это вместе с уничтожением десятков миллионов собственных граждан должно стать предметом судебного разбирательства, как и факты умышленного сокрытия преступлений и уничтожения документов. Предметом разбирательства должны стать и рабовладельческая большевистская экономика, определявшая масштабы репрессий, и растлевающее влияние карательной политики большевиков на все общество. Недавно Дума приняла закон о наказуемости пропаганды фашизма. Но наказуема должна быть и пропаганда большевизма. Не обрубив его корней, нельзя утвердить в обществе нравственный императив, нельзя покончить с захлестнувшими страну преступностью и коррупцией.

2

Ксения Краснопольская ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ

...и тогда соблазняются многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладает любовь; претерпевший же до конца спасется.

МФ. 24, 10 – 13

Дело № 3207—П

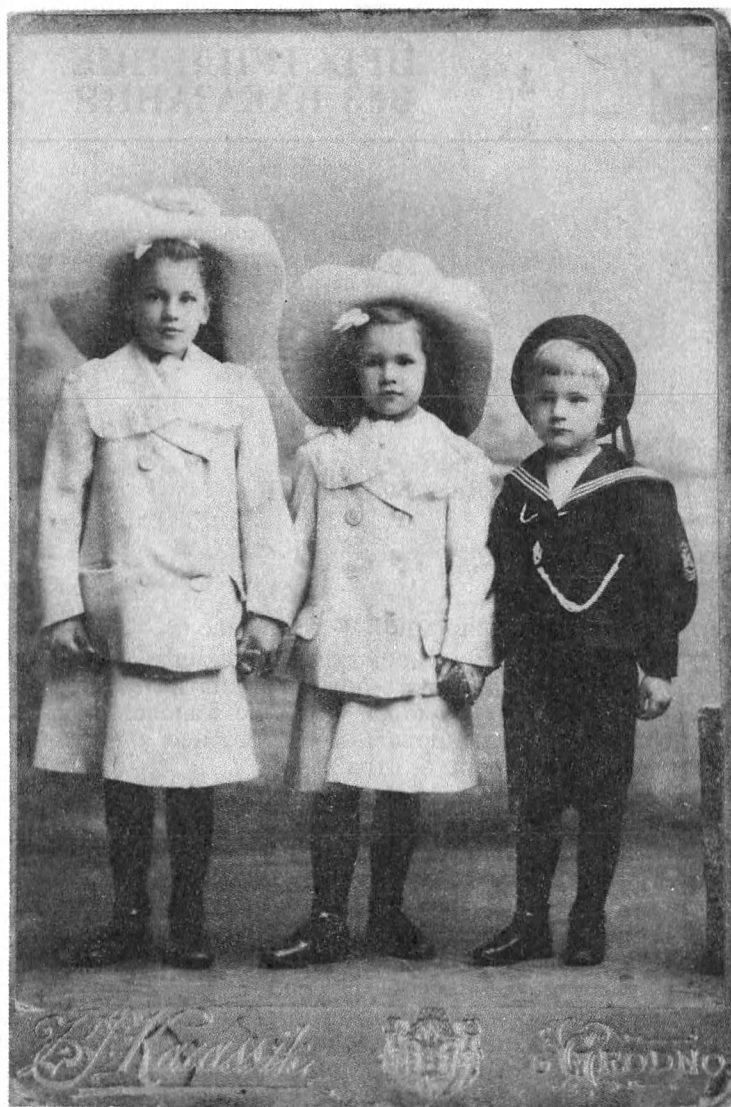
2 февраля 1993 г.

Вот оно лежит передо мной — это «дело»...

Одна из тайных дорог моей жизни подошла к конечному пункту. Я шла по этой дороге более тридцати лет, не выпуская конечного пункта из вида, но и не надеясь дожить до него. Эта дорога сформировала меня, без нее я не стала бы тем, кем стала, но теперь — страшно.

Очень страшно, не могу заставить себя раскрыть и начать читать. Дорога, проложенная тайным пунктиром по плоскости жизни, вдруг разверзлась реальным пространством, в которое уже нельзя не ступить. Дыхание бездны, разверзшейся перед ним в час ареста, настигает меня через 55 лет.

Какое тоненькое оно, это дело, одна из разновидностей канцелярских папок мышинного цвета с твердой обложкой. От него за версту несет скукой рутины и бюрократии ведомства человекоубийства. Вся его обложка в наклейках, как чемодан для заграничных странствий. Множество равнодушных рук, ворочая по чьим-то приказам мириады таких дел, делали наклейки, оставляли на обложке свои карандашные и чернильные пометки, а потом владельцы этих рук приходили домой и говорили: «Устал». Так же, как владельцы рук, осуществлявших пытки, массовые расстрелы и ведущих протоколы этих деяний...



Вера, Ольга и Павел Краснополюские. Начало 900-х годов



**Вера, Елена Яковлевна, Ольга и Павел Краснополяские
1915 год**



Группа выпускников Царскосельского лицея. 1917 год.

Верхний ряд (слева направо): Юферов, Семенов-Тяп-Шанский, Чолак, князь Гагарин, Б. Розмарица, Офросимов, Петров, Г. Розмарица, граф Менгден, Андреев, князь Енгальчев, Денисьев, граф Шереметев, Герард, Бибилов.



Средний ряд (слева направо): Мощинский, Науэрд, Гольмстрем, Краснопольский, Гирс, Воронцов-Вильяминов, князь Контакузи-Сперанский, граф Карлов, Мокрицкий.

Нижний ряд (слева направо): Алабышев, Страховский, Крушенский, Маклаков



Павел Краснопольский. 20-е годы

ВЫПИСКА ИЗ АКТА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКВД И ПРОКУРОРА СССР ОТ 14/5.....1938 г.
ПРОТОКОЛ № 167.

О РАССТРЕЛЕ Краснополюский Павел Павлович

ПРВЕДЕН В ИСПОЛНЕНИЕ 20/5.....1938 г. в 24 ЧАСА

ВЫПИСКА ВЕРНА.

НАЧ-К. I-го СПЕЦ. ОТД. УТЪ. УНКВД Ю
МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУД. БЕЗОПАСНОСТИ
ГАВРИЛОВ.

Гавр



Ксения Краснопольская с братьями Дмитрием и Андреем. Конец 30-х годов

Открываю. Первая надежда — найти фотографию, последнюю фотографию убитого и обреченного на убийство уже в момент ареста — не сбывается. Это халтура, конечно, грубая халтура. Исполнители спешили, тюрьмы были забиты обреченными, самое горячее было времечко для убийц...

Полустертая опись документов, имеющихся в деле: перечисляются протоколы допросов его и неизвестных мне лиц, графа «Личные вещи», но конверт с этой надписью оказался пуст. Так хотелось прикоснуться к любой бумажке или тряпочке, которых касался и он на пороге своего крестного пути, но нет...

Справка на арест, подписанная прокурором Ивановской области Л. Карасиком и начальником управления НКВД по Ивановской области старшим майором государственной безопасности Радзивиловским 5.X.1937 г. Два дня оставалось дяде Пате гулять на воле до той страшной ночи, когда в присутствии обреченной семьи полетели пух и перья по всей комнате. Единственный живой свидетель этого события — брат Андрей, которому было тогда четыре года, помнит эту ночь всю жизнь...

Ордер на арест № 5930. Внушительный порядковый номер, никто теперь не скажет, как часто они начинались сызнова: еженедельно, ежемесячно, ежеквартально...

Протокол допроса от 9 ноября 1937 г. Я искушена знанием диссидентской литературы и понимаю, что стоит за этим разрывом в один месяц и два дня между датой ареста и датой первого допроса — внутрикамерная обработка новичка, понуждающая его признать вину для облегчения «благородного» труда чекистов по изобличению врагов народа, чтобы у них руки не переутомились от пыток и голос не охрип... В паспортной части на первой странице сразу нахожу имена сыновей — Мити и Андрюши, девяти и четырех лет, моей матери, преподавательницы английского языка Военно-политической академии им. В. И. Ленина, и тети Веры, находящейся в эмиграции в Англии у своей тетки Фишер. Переворачиваю страницу — последнее, что отделяет меня от страшной тайны... Из текста следует, что по доносу Е. В. П.-Ж. Павел Павлович Краснопольский изобличается как глава фашистской партии России, занимался шпионажем с 1927 г. и получал прямые указания от Гитлера. П. П. Краснопольский вины своей не признал и не назвал никаких сообщников. Вот и все. Никаких других протоколов допросов П. П. Краснопольского в деле нет... Вздох облегчения, позорного облегчения. Страха нет, начинает терзать стыд...

Протокол, как и справка на арест, подписан оперуполномоченным 3-го отделения УГБ УНКВД по Ивановской области сержантом госбезопасности Суворовым и начальни-

ком 3-го отделения УГБ УНКВД по Ивановской области лейтенантом государственной безопасности Сапожниковым.

СССР

Дело подлежит
в УКГБ Ивановской обл.

Учтено — 1962 году

Военная коллегия Верх. суда СССР
вт Пост НКВД и прок СССР
№ 4н — 08161

Докладчик Трунин
прокурор
26.05.1956

Дело тематическому
учету не подлежит

1940

Дело № 7183
По обвинению Краснопольского
Павла Павловича
по ст. 58 ~~б-8~~-11 УК
469724
арх № 3207 — П
Том №
начато 7 октября 1937 г.
окончено 20 января 1938 г.
3866 — 37

Протокол допроса от 9.IX.1937 г. доносителя Е. В. П.-Ж., 1882 г. р., бывшего дворянина, до ареста работавшего юрис-консультом на фабрике «Большевик» г. Родники Ивановской области. Именно 9.IX была решена судьба дяди Пати, его тайная вечеря, только Иуда не судим, потому что совершил свое предательство не с воли, а в тюрьме и вместо тридцати сребреников получил пулю в затылок, во всяком случае, был приговорен к расстрелу 14.X.1937 г. (дата его расстрела в деле П. П. Краснопольского не указана). Правда, кажется, что доноситель как-то уж очень усердствует в деталях выдуманного обвинения, но ведь никто не знает, во что обходилась ему каждая деталь и как стряпался гладкий с виду протокол. В этом протоколе фиксируются доносы еще на семь человек как на представителей Ивановского филиала Русской фашистской партии.

В деле П. П. Краснопольского имеется протокол еще одного допроса доносителя от 17.IX.1937 г., в котором фиксируются его доносы еще на шесть человек. Помилуй, Господи, раба твоего Евгения, ведь вина его ничтожна, как пылинка, по сравнению с виной тех, кто писал партитуру

тотального злодеяния, занимался ее оркестровкой, придумывая названия дел для отправки очередной партии народа на бойню или в рабство, дирижировал этой процедурой и воплощал ее. Дядя Патя еще гулял на воле и ничего не знал о приглашении на пир, а на кухне уже кипела работа...

Между двумя протоколами допросов доносителя помещен протокол допроса Михайлова Н. Н. от 17.XI.1937 г., далее следуют протоколы допросов Куни В. Э. от 11.XII.1937 г., Янцена А. А. от 10.XII.1937 г., Эрдели П. А. от 17.IX.1937 г., повторно Михайлова Н. Н. от 4.XI.1937 г., Скворцова В. Л. от 14.XI.1937 г. Из протоколов допросов возникает имя Владимира Е. Н., который «оформляется» как глава Ивановского филиала Русской фашистской партии. Виновным себя не признал и никаких показаний на себя не дал, в том числе при очной ставке с доносителем 17.X.1937 г., приговорен к высшей мере наказания, расстрелян 3.XII.1937 г. Кроме упомянутых ранее имен в протоколах допросов появляются новые: врачей Любимова и Циперкуса, инженера Облплана, Феддера Л. Р., который, на свое счастье, умирает в 1937 г., и его сына, Феддера Л. Л., репортера газеты «За индустриализацию». Протоколы допросов других лиц, признавших свою вину и назвавших сообщников, подшиты в дело в качестве косвенных улик против не признавшего свою вину обвиняемого. Всеми допрашиваемыми подтверждается существование Ивановского филиала Русской фашистской партии, но имя П. П. Краснопольского в них нигде не фигурирует. В этих документах много халтуры, неувязок в названиях и датах, равно как и грамматических ошибок.

Далее следует обвинительное заключение от 14 января 1938 г. — крестный путь подошел к концу.

«УТВЕРЖДАЮ»

Вр. Начальника Управления НКВД ИО
Капитан госуларствен. Безопасности

«УТВЕРЖДАЮ»

Прокурор Ивановской
области

(РЯДНОВ)

«___» января 1938 года.

(КАРАСИК)

«___» января 1938 года.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По следственному делу № 7183
По обвинению — Краснопольского
Павла Павловича по ст. 58
п. 6—8—11 УК РСФСР.

Органами НКВД вскрыта контрреволюционная, фашистская, шпионско-террористическая организация с центром в

гор. Москве и филиалом в гор. Иваново, именуемая себя «Русской фашистской партией».

7-го октября 1937 года нами был арестован член Московского Центра «Русской фашистской партии» — КРАСНОПОЛЬСКИЙ Павел Павлович.

Следствием установлено, что КРАСНОПОЛЬСКИЙ П. П. является немецким шпионом с 1927 года (л. д. 14, 15, 23, 24).

В 1934 году КРАСНОПОЛЬСКИЙ привлек к шпионско-террористической деятельности П.-Ж. (л. д. 14 — 15).

По прямому заданию КРАСНОПОЛЬСКОГО П.-Ж. в городе Иваново создал контрреволюционную шпионско-террористическую организацию, именующую себя «Русской фашистской партией», в состав которой привлек юрист-консультов — МИХАЙЛОВА, ЭРДЕЛИ, ОГОРОДНИКОВА, ВЛАДИМИРОВА, врача СКВОРЦОВА, сотрудника областной газеты ФЕДДЕР и др. (л. д. 18, 20 — 21).

Эта организация широко развернула шпионско-террористическую работу в области.

Все шпионские материалы, которые добывала организация, П.-Ж. передавал лично КРАСНОПОЛЬСКОМУ, а последний передавал их немецким разведывательным органам (л. д. 18, 23, 25).

Для совершения террористического акта над руководителями ВКП(б) и Советского правительства по прямой директиве КРАСНОПОЛЬСКОГО был обработан участник организации ФЕДДЕР Л. Л. КРАСНОПОЛЬСКИЙ изучал Кунцевское шоссе и наблюдал за проезжавшими машинами членов Советского правительства (л. д. 25, 26, 19).

КРАСНОПОЛЬСКИЙ передавал немецким разведывательным органам шпионские сведения о финансировании оборонной промышленности по Ивановской области, о расположении военных заводов в Ивановской области, о водоподъемных установках на этих предприятиях и о источниках их питания, организация на случай войны намечала путем диверсионных актов на водоподъемных установках вывести из строя всю промышленность области, о ходе призыва в РККА по Ивановской области, о конском поголовье, поставленном в РККА, и ряд других шпионских сведений.

Все шпионские сведения КРАСНОПОЛЬСКИЙ добывал через участников организации П.-Ж., ВЛАДИМИРОВА, ФЕДДЕР, МИХАЙЛОВА и др. (л. д. 14 — 27, 33 — 38, 39 — 44).

Ивановым себя не признал, но полностью изобличается показаниями участников организации — П.-Ж., МИХАЙЛОВА, СКВОРЦОВА, ЯНЦЕНА, КУНИ — в том, что КРАСНОПОЛЬСКИЙ создал в гор. Иваново контрреволюционную шпионско-террористическую организацию, что все собираемые шпионские материалы организации передавал

немецким разведывательным органам. Подготавливал террористический акт над руководителями партии и правительства.

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО — ОБВИНЯЕТСЯ:

КРАСНОПОЛЬСКИЙ Павел Павлович — 1899 года рождения, беспартийный, русский, гр-н СССР, сын бывшего крупного помещика — дворянина, с 1908 по 1914 год жил в Англии. К моменту ареста преподаватель французского языка в академии внешней торговли.

В ТОМ, ЧТО:

а) Является членом центра контрреволюционной шпионско-террористической организации, именующей себя «Русской фашистской партией».

б) По заданию центра создал в гор. Иваново филиал этой организации, через который проводил большую шпионскую и террористическую деятельность.

в) С 1927 г. по день ареста занимался большой разведывательной работой.

г) Проводил практическую работу по подготовке террористических актов над руководителями партии и правительства, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58 б, 8 — 11 УК РСФСР.

В силу изложенного дело за № 7183 по обвинению **КРАСНОПОЛЬСКОГО П. П.** передать на рассмотрение Военной Коллегии Верховного суда Союза ССР, перечислив за ней обвиняемого.

Опер. Уполн. 3 отдела УГБ УНКВД ИО.

Сержант Государств. Безопасности —

(СУВОРОВ)

«СОГЛАСЕН» — ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА 3 ОТДЕЛА УГБ УНКВД

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУД. БЕЗОПАСНОСТИ —

(ХЛЕБНИКОВ)

Протокол объявления обвиняемому об окончании следствия от 19.I.1938 г., подписанный оперуполномоченным Суворовым: «Дополнить следствие чем-либо не имею», и подпись. Сличаю с подписью от 7.X.1937 г. под протоколом обыска. Вроде похоже, но видно, что в день ареста рука дрожала. Невольно глажу подпись, понимая, что это последний материальный след отстрадавшего человека на земле. С этой минуты прекратятся допросы и пытки, останется пережить только расстрел... Заметив мой жест, современный продолжатель дела доблестных чекистов, очень словоохотливый, сообщает: «Ой, вы себе не представляете, как это делалось: и подпись могла быть не его, и все, что написано,

могло не соответствовать тому, что было». Подлинность подписи есть способ проверить...

Наконец, «Выписка из акта»... Протокол № 167 — этот порядковый номер дает некоторое представление о числе убитых в ночь с 20 на 21 января 1938 г. Замечательную некоторые соотечественники избирали себе работу...

Выписка из акта на машинописном бланке, в который вписаны от руки имя расстреливаемого, даты, время, порядковый номер.

Замечательную некоторые соотечественники избирали себе работу...

ВЫПИСКА ИЗ АКТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКВД И ПРОКУРОРА СССР ОТ 14/1.1938.

ПРОТОКОЛ №.....167...

О РАССТРЕЛЕ. Краснопольский Павел Павлович.....

ПРИВЕДЕН В ИСПОЛНЕНИЕ.....20/1.....1938 г. в...23 ЧАСа

ВЫПИСКА ВЕРНА.

НАЧ.-К. I СПЕЦ. ОТД. УГБ УНКВД ИО

МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУД. БЕЗОПАСНОСТИ

ГАВРИКОВ.

«Выписка из акта» составляет пятьдесят седьмую страницу дела. Первая, так сказать, прижизненная его часть кончается этой страницей.

Вторая часть — с 58 по 86 стр. — начинается в 1955 г. и вызвана к жизни просьбой вдовы, Лидии Ивановны Краснопольской, сообщить ей о судьбе мужа и выдать справку о смерти, если он умер. Натыкаюсь на загадочный для меня документ от 30.VI.1955 г. (см. ниже). Дорого бы я дала, чтобы узнать, что представляет собою приказ НКВД № 00439 от 25 июля 1937 г. — годовой план по арестам и расстрелам для городов и весей СССР? По-видимому, одной из его жертв явился доноситель Е. В. П.-Ж.

Совершенно секретно

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 167

от 14 января 1938 г.

Присутствовали:

- 1) Народный Комиссар Внутренних дел СССР.
- 2) Прокурор Союза СССР.

Слушали:

Материалы на обвиняемых, представленные УНКВД по Ивановской области, порядке приказа НКВД № 00439 от 25 июля 1937 г.

Постановили:

3. Краснопольского Павла
Павловича, 1899 г. р. расстрелять

верно: пом. оперуполномоченного учетно-архивного отдела
КГБ при СМ СССР старший лейтенант
(Сумман)

30 июня 1955 г.

Еще один документ заслуживает полного цитирования.

«Утверждаю»

Секретно

Зам. нач. УКГБ при СМ СССР
по Московской области
полковник Логинов

20 марта 1956 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(о регистрации смерти)

г. Москва

15 марта 1956 г.

Я, пом. оперуполномоченного I отделения УАО УКГБ при СМ СССР по Московской области старший лейтенант Скопин, рассмотрев дело № 479724 на Краснопольского Павла Павловича, 1899 г. рождения, уроженца г. Красный Смоленской области, и заявление его жены Краснопольской Лидии Ивановны, —

НАШЕЛ:

Заявительница просит сообщить местонахождение мужа или выдать свидетельство о смерти, если он умер.

Из материалов дела видно, что Краснопольский Павел Павлович 14 января 1938 г. Комиссией НКВД СССР осужден к ВМН. 20 января 1938 г. решение Комиссии приведено в исполнение. 10 марта 1956 г. на основании утверждения КГБ при СМ СССР № 108/сс от 24 августа 1955 г. жене осужденного объявлено, что ее муж 15 декабря 1942 г. умер в ИТЛ от крупозного воспаления легких...

Подпись.

Это уже не халтура, это цинизм... Представляю себе чиновников расстрельного ведомства, по иронии судьбы именуемого Министерством безопасности, сочиняющих даты смерти жертвам — десяткам, сотням, тысячам, их шутки по этому поводу, а жена жертвы бежит заказывать панихиду и вписывает эту дату в святцы своей души.

Длинна вереница писем, справок, заключений, протоколов, касающихся пересмотра дела обвиняемого. В моих глазах эта вереница не имеет никакого смысла — я смотрю на нее почти с сорокалетней дистанции, когда даже Бухарин и Троцкий реабилитированы. Но в глазах участников она была, по-видимому, наполнена богатым бюрократическим содержанием. Осуждение на смерть произвели халтурно и скоропалительно, как отправку на скотобойню, по расходным и приходным ордерам: столько-то голов сдал, столько-то принял, столько тонн мяса сдал и т. д. Реабилитацию же — медленно и тугоподвижно, с соблюдением всего бюрократического церемониала. Это действие имело много слагаемых: бюрократическое вырождение самого аппарата, отсутствие сознания собственной правоты в сочетании со страхом за свое завтрашнее экстраблагополучие и личной заинтересованностью в сокрытии преступлений предшественников. Смысл этого церемониала заключался в том, чтобы «в случае чего» на вопрос «кто?» ответить «не я!». Хотя реабилитация в документальном изложении представляет собой бюрократический церемониал, она так же халтурна, как и осуждение: причины и следствия напяливаются на кол кагэбэшного правосудия с той же невежественностью и алогизмом. Никто не скажет, что убили при отсутствии состава преступления, что все показания от косвенных свидетелей были выколочены под пытками, но запрашивают дела этих косвенных свидетелей, рассматривают их и выясняют, что сначала практически никто из них не признал своей вины и только при последующих допросах... Этот факт является единственным формальным основанием для реабилитации, но теперь каждый школьник знает, что массовые репрессии, как и массовые реабилитации, осуществлялись по приказу.

Из чтения протоколов выясняю, что кроме П. П. Краснопольского и Е. Н. Владимирова еще Е. А. Огородников вины своей не признал, показаний ни на кого не дал, стоял до конца... Возникает твердая уверенность, что все лица, поименованные на страницах дела (исключение — Феддерстарший), были убиты в кратчайшие сроки после их ареста, включая и главного доносителя, хотя даты расстрелов и приговоров к расстрелу указаны, главным образом, для косвенных свидетелей. Дядю расстреляли позже всех: им хотелось ведь не только убить, но и «дельце» сварганить, а

«глава партии» не признавал своей вины, за что в обвинительном заключении был разжалован из главы партии в члены Московского филиала. Его должны были пытать дольше всех...

В делах П. П. Краснопольского и его однодельцев кагэбэшники с фамилией на букву «С» сбиваются в такую же зловещую кучу, как в деле Осипа Мандельштама — с фамилией на букву «Ш»: оперуполномоченный Суворов (он был главный «трудяга», и после расстрела последнего — П. П. Краснопольского — его, возможно, наградили путевкой на курорт или еще чем-нибудь), его ближайший начальник Сапожников, ст. лейтенант Сумман, ст. лейтенант Скопин.

Дело прочтено и закрыто. Тайна гибели нашей семьи, начатая халтурным и будничным убийством, была разгадана быстро и буднично в ничем не примечательный солнечный день 2 февраля 1993 г. Прежде чем покатать кабинет на Лубянке, обращаюсь к своему «куратору», что ли, выдавшему дело и присутствовавшему при его прочтении, с просьбой — отксерить обвинительное заключение, «Выписку из акта» и «Заключение о регистрации смерти» — и вопросом: «Где был убит П. П. Краснопольский и где захоронено его тело?» Первых два документа он любезно соглашается отксерить, несмотря на позднее время (для него это — древняя история), третий же — отказывается. Более того, как выяснилось позже, он решил подправить историю... На вопрос же мой словоохотливо и уверенно (просмотрев несколько подписей, видимо, много ему говорящих) отвечает — в Москве, Бутовское захоронение. Все это предстоит проверить...

До 2 февраля 1993 г.

Знание о том, что дядя Патя был арестован, «пострадал» в 1937 г., было во мне всегда, сколько себя помню, видимо, никто от меня этого не скрывал. Да и скрыть это было невозможно. Семья дяди Пати жила в той комнате коммунальной квартиры, куда добровольно переехала моя мама из нашей семейной квартиры на Ордынке, когда ввели прописку и дядя с женой и двумя детьми оказался прописанным в многолюдной коммуналке. Он сторицей отплатил ей за эту доброту, не признав под пытками своей вины. Спасение любимой сестры, преподавательницы английского языка в Военно-политической академии им. Ленина, без сомнения, было одним из слагаемых его противостояния. Такие были прежде отношения между братьями и сестрами. В эту коммуналку к своей сестре дядя Патя приходил почти каждое воскресенье с женой и сыновьями, его там хорошо знали. Да и аресты в то время были столь массовым явлением, что не

было, наверно, коммуналки, через которую они в том или ином виде не прошли. Кроме изначального знания об аресте дяди Пати столь же изначальным было во мне знание о его невинности, что он именно «пострадал», а не был в чем-то виноват. Это внушенное мне взрослыми знанием косвенно свидетельствует о том отношении, которое он к себе сформировал, не ведая о своей судьбе. Коммуналка была разношерстная, много злого и жестокого связано с ней в моей детской судьбе, но никогда я не слышала о дяде Пате ни одного плохого слова, все считали его невинным страдальцем.

Несколько слов о тех источниках, на которых базируется все, написанное в этой главе. Первым источником явились документы: 1) дело 3207 — П; 2) метрика моей матери; 3) копия «Формулярного списка» моего деда П. П. Краснопольского и принадлежавшее ему «Удостоверение» от 12.XII.1912 г. Знакомству с последними двумя документами я обязана двоюродному брату Андрею, которого мне удалось разыскать совсем недавно после тридцати трех лет разлуки. Вторым источником явились письма: 1) родителей друг к другу (по словам соседей из коммуналки, об их сохранении для меня мама очень заботилась перед смертью); 2) тети Веры к маме из Англии (два); 3) мамы к соседке по коммуналке (два). Третьим источником были фотографии, подписанные для меня отцом когда-то между маминной и его смертью. Наконец, четвертым источником — рассказы отца, его родственников, соседей, немногочисленных друзей матери, доживших до моего отрочества и не потерявших связи со мной. Очевидно, что устные рассказы — плохой источник информации, но мне придется ими пользоваться. Действительность, т. е. реальная биография П. П. Краснопольского, оказалась столь трагичной и героической и в этой своей части строго документально подтвержденной, что ни в каких приукрашиваниях и преувеличениях не нуждается. Эти записки я пишу, движимая чувством долга и вины, и ложь в этих обстоятельствах почитаю смертным грехом.

Вот что мне известно о семье П. П. Краснопольского-младшего и его собственной биографии. Он родился в семье потомственного дворянина Смоленской губернии — П. П. Краснопольского-старшего. В опровержение текста обвинительного заключения, где утверждается, что дядя Пата был сыном крупного помещика, в «Формулярном списке» его отца четко записано, что ни у него, ни у его жены ни родовых, ни благоприобретенных имений не было. П. П. Краснопольский-старший родился 4 мая 1868 г. (старый стиль) в семье прапорщика в г. Красный Смоленской губернии. По окончании семи классов Калужской гимназии поступил на службу в штат канцелярии Смоленского Депутатского собра-

ния писцом 1 ноября 1890 г. С 1 ноября 1895 г. по 17 сентября 1898 г. был в отставке, согласно прошению, по домашним обстоятельствам, затем возвратился на службу в Смоленское отделение Крестьянского поземельного банка и к 2 декабря 1910 г. (время составления «Формулярного списка») дослужился до надворного советника и управляющего Гродненским отделением Крестьянского поземельного банка, получив в 1904 г. орден Св. Анны третьей степени и в 1908 г. орден Св. Станислава второй степени. Он женился на великобританской подданной, девице Елене Яковлевне (Нелли Джеймс) Листер, по-видимому, в 1895 г. и имел трех детей: дочерей Веру, родившуюся 9 января 1896 г., и Ольгу, родившуюся 8 февраля 1897 г., и сына Павла, родившегося 7 мая 1899 г. (все даты указаны по старому стилю). Мама родилась в г. Гродно, согласно метрике, дядя Патя — в г. Красный Смоленской губернии. Не помню, с чьих слов было мне известно, что мисс Нелли Листер приехала в Россию со своим отцом, работавшим в качестве управляющего на шахтах Юза.

Никакими сведениями о бабушке я не располагаю, кроме пары десятков фотографий, сделанных в г. Гейнсборо, Англия; я не знаю, когда и где она родилась, в какой семье, какое получила образование, когда и где умерла и где похоронена. Если судить по фотографиям, какая-то «Сага о Форсайтах» стоит за ее прекрасной фигурой и умным светлым лицом. Можно также предположить, что она была старшей дочерью в многодетной семье и что умерла она около 1925 г. во Владимире или Москве. Что о ней достоверно известно — ее любовь к живописи (сохранился прекрасный пейзаж ее кисти), которую она передала своей любимой дочери, моей матери.

Из устных рассказов о бабушке знаю, что она до конца дней плохо говорила по-русски, была не очень счастлива в браке и оставила у всех окружающих очень добрую по себе память. Со слов брата Андрея знаю, что в семье деда по отцовской линии старшие потомки мужского пола нарекались Павлами в семи поколениях. Эта традиция была нарушена дядей Патей и его женой. О дальнейшей карьере деда ничего неизвестно, кроме нескольких слов в деле № 3207 — П. По-видимому, в связи с первой мировой войной семья перебирается из Гродно во Владимир, где дед служил старшим управляющим отделением Крестьянского банка. Около 1925 г. семья перебирается из Владимира в Москву на Ордынку. Дед жил в Москве и умер до 1937 г. В жизни каждой семьи есть наиболее счастливые периоды. По-видимому, в семье мамы и дяди Пати такой период был связан с жизнью в Гродно. Дед был одной из самых важных фигур в

городе. Тогда сложилась дружба трех семей — Краснопольских, Ласточкиных (семья моего отца) и Беклемишевых, составлявших цвет гродненского общества. Дети подросли и поступили в гимназию, с 1908 по 1914 гг. мать и дети регулярно ездили летом к родственникам в Англию. От этого периода сохранилось много добротных и любительских фотографий.

Мне достался еще один свидетель той поры — замечательный кожаный чемодан темно-вишневого цвета, который раскрывался на три створки, был неподъемен и издавал удивительные скрипучие звуки. И сам чемодан, и его содержимое были абсолютно несоединимы с моей беспризорной голодной жизнью. Я помню, в нем лежали бабушкины корсеты, поврежденные временем веера из слоновой кости, фантастической красоты вышитые носовые платки из невесомого шелка, кусочки кружев и т. д. Одна из моих подруг, окончив институт и томясь родительской опекой, решила уехать на работу в Красноярский край. Я дала ей этот чемодан для переезда, с тех пор его след затерялся. На прекрасно сохранившейся фотографии, датированной 1913 г., дядя Пятя одет в гимназический мундир, лицо, закрытое до непроницаемости, глаза смотрят вдаль. Так он выглядит почти на всех фотографиях.

Дядя Пятя очень любил фотографировать. Английский фотоаппарат, купленный в подарок сыну или племяннику, наверное, во время ежегодных (1908 — 1914 гг.) поездок в Англию, фигурирует в деле и был, согласно протоколу, отобран при аресте, став собственностью какого-нибудь убийцы или его сподвижника. Когда же я стала искать фотографию дяди для маленького памятника на общей могиле, ничего годного не нашлось ни у меня, ни у его сына. Жизнь человека, подобно географической карте, испещрена линиями рек судьбы, то могучих, то слабых, временами исчезающих в песках, с тем, чтобы опять выйти на поверхность. Так, в детстве дяди Пати и его сестер появилась «линия Карасика». На обороте великолепно сохранившихся фотографий трех очаровательных детей, потом подростков, выведена витиеватая надпись: «Фотография почетного гражданина З. Я. Карасика, Гродно. Z. J. Karasik, Grodno» в окружении двух медалей и четырех почетных наград, полученных от Государя Императора и членов его семьи. В 1937 г. эта линия снова выходит на поверхность в лице прокурора Ивановской области Карасика, который помечал все «Утверждаю» — от ордера на арест до обвинительного заключения...

В семье деда по материнской линии два юных брата его матери погибли при осаде Севастополя в Крымскую войну, что давало одному потомку мужского пола в роду право бес-

платного обучения в привилегированном учебном заведении. Дед не воспользовался этим правом для себя, но передал его сыну. Вот почему дядя Патя поступил в Царскосельский лицей, который окончил в 1917 г. У брата Андрея хранятся лицейские фотографии отца, он был старостой курса. У меня тоже сохранилось несколько фотографий этого периода, снятых во Владимире: дядя Патя — в лицейском мундире, мама и тетя Вера — в форме сестер милосердия или обычном платье. Подпись: «Г. Владимир, 1915 г. Перед отъездом Пати в лицей». Я была уверена раньше, что обучение дяди Пати в Царскосельском лицее было одним из слагаемых его ареста. Это оказалось ошибкой. Один раз в деле № 3207 — П упомянуто, что дядя Патя окончил Петроградский лицей, но, видимо, у вершителей его судьбы образования не хватило, чтобы приписать ему это в сугубую вину наряду с дворянским происхождением и регулярными поездками в Англию в возрасте девяти — пятнадцати лет. Ничего не известно об отношении дяди Пати к революции и гражданской войне. По происхождению, образованию и возрасту он мог бы принять участие в последней, но, по-видимому, не принял, не избежав, однако, страстного пути, но только отсрочив... Из дела № 3207 — П узнаю, что в 1918 — 1922 гг. он служил в Главном артиллерийском управлении (где?), по-видимому, отбывал воинскую повинность.

Дальнейшие сведения о жизни семьи исключительно скудны. Знаю, что мама поступила во ВХУТЕМАС и обучалась живописи, пока ее не исключили за дворянское происхождение (со слов двух ее подруг той поры). Тоска по горячо любимому занятию живописью была одной из тем ее писем к отцу. У меня мало осталось ее работ: две картины маслом и папка акварелей и рисунков, по большей части набросков. Живописная манера матери да одна групповая фотография божьего вида с надписью в углу: «Кабаре 13» убеждают меня, что мать принадлежала к товариществу или группе «Тринадцать». Ничего более определенно. Тетя Вера, работая, как и мама, сестрой милосердия в госпитале во время первой мировой войны, познакомилась с раненым офицером Стебницким (имени не знаю), вышла за него замуж и родила (около 1917 г.) дочь Елену. Потом она заболела костным туберкулезом, голод и разруха не оставляли надежды выжить. Ее удалось в лежачем положении на вагонной полке переправить в Англию, посадив в ноги маленькую дочь. Все эти сведения сообщены соседкой по коммуналке. В настоящее время я им очень доверяю: она единственная помнила фамилию тети Веры после замужества, и в деле № 3207 — П я прочла: «Сестра, Стебницкая В. П., уехала в 1924 г. в Англию,

живет у тетки Фишер». Тетя Вера выжила, но жила несладко, и мама мужественно не прекращала переписки с ней, несмотря на сгущающиеся тучи. Не позже 1927 г. дядя Патя поселяется в Москве и женится. Главным источником существования дяди Пати и мамы становится английский язык, который они знали в совершенстве. Само уменьшительное семейное имя дяди Пати — английского происхождения. Помимо постоянного места работы они набирают уроки везде, где могут, и работают как почасовики.

В середине 30-х годов маме понадобилось оформить документ о высшем образовании для сохранения права на преподавание. Английский, со слов ее соучениц, она знала лучше преподавателей, но общественные предметы были для нее каторгой. Она кончает какие-то курсы «Красного треугольника», таская меня, новорожденную, прямо на госэкзамены. От брата Андрея знаю, что дядя Патя с семьей жил более чем скромно. Кроме Академии внешней торговли он давал уроки английского в Большом театре. После его ареста жена бросилась за помощью к ныне здравствующей балерине Лепешинской, учитывая ее большевистский анамнез, не зная, что она родному мужу не протянула руки помощи в подобной ситуации.

Вот что рассказал мне об аресте брат Андрей. К этому времени семья была уплотнена, ей принадлежало только две комнаты в квартире, где жили мама и дед. Пришли ночью, все перевернули вверх дном, искали ценности. У дяди был столик с тайником, его не обнаружили — так уцелели часы дяди Пати (украденные у брата совсем недавно) и те документы деда, которые Андрей мне подарил. Старший сын Митя не мог примириться с арестом отца, ходил каждый день в милицию и просил: «Отпустите папу, он не виноват», пока его матери не позвонили: «Держи своего щенка дома, иначе его не увидишь». Соседи по коммуналке узнали об аресте дяди Пати от моей няньки; заплаканная мама прибежала на Патриаршие пруды, где та гуляла со мной, и сообщила эту новость. До ареста мужа жена дяди Пати не работала, после ареста — нигде не могла устроиться. Мама старалась зарабатывать на семью брата, здоровье ее было подорвано еще до войны. Еженедельные визиты дядиной семьи к нам продолжались, лето также проводили все вместе.

Потом война... Нас эвакуировали, как все всегда утверждали в моем детстве, принудительно. Мама не могла бросить семью брата без средств к существованию и отбыла со мною и ними в деревню Михайловку Макаровского района Башкирии. Я довольно связно помню этот наш исход: ехали в теллушке в страшной скученности и страшно медленно. Когда задраивали двери, наступала полная темнота, в кото-

рой однажды какой-то военный прошелся по моей голове и телу — образовались болячки, не заживавшие несколько лет. С рождения я была очень чувствительным ребенком, никогда не могла дослушать сказку «Маленький Мук», начинала рыдать и затыкать уши. Война, разрушив «незыблемый» мир детства, обострила мою чувствительность. Помню дикий страх потерять маму, выбегавшую во время неопределенных стоянок за кипятком. На всю жизнь запомнились лица солдат, сплошь молодые, ехавших нам навстречу: «Вы на нас надеетесь, вы нас посылаете, вот мы и едем».

Довольно хорошо помню расположение деревни, разделенной на два порядка изб глубоким оврагом, по дну которого текла речушка. Мы с мамой жили отдельно от Лиды и братьев, на краю деревни, за нашей избой начинался лес. Помню несколько сцен той жизни, довольно жутковатых. Мама возвращается в избу с колхозных работ, и хозяйка, до тех пор приятно скребшая кухонным ножом в моей голове, сообщает, что нашла у меня 60 вшей. Ужас в маминых глазах, а я чувствую себя почти героем... Помню и отчаяние в маминых глазах, когда она, разбив два яйца, сберегаемых к моему дню рождения, увидела, что они протухли. Отчаяние и ужас у нее были тихими, бессловесными. Мама помнит тихой немногословной женщиной среднего роста с круглыми светло-кариими глазами и прямыми, падавшими на лоб светлыми волосами. Может быть, мамина «тихость» и мощная интимная связь между нами научили меня смотреть ей в глаза и запоминать их выражение...

Помню еще нас всех на порубке леса, может быть, незаконной. Прямо на меня падает подрубленная, молодая еще береза. Смотрю на нее как завороченная, а она — все быстрее, быстрее, а все мне кричат: «Убегай!», но я почему-то не бегу. Мама рванулась меня вытолкнуть, удар мне в плечо, ей — в голову... Еще как-то раз мама уходит на работу в колхоз, меня почему-то некуда девать, и мама протаптывает тропку в непроходимые заросли крапивы около дерева и замыкает меня там очень надолго. Жарко, скучно, страшно, наконец я засыпаю. Муха ползет по моему уху, я не могу от нее избавиться и нечаянно запикиваю ее полусонным пальцем в ухо. Когда мама наконец вернулась, я ей сказала про муху. Она посмотрела, не нашла и решила, наверное, что сочиняю...

Жутковатость воспоминаний нарастает к отъезду из Башкирии поздней осенью 1942 г. Сохранилось два письма в перелицованных самодельных конвертах, написанных в то время мамой одной из соседок по коммуналке. Она пишет о невозможности работать вторую зиму без теплых вещей (не взяли? продали?) и просит употребить все усилия

для сохранения ее «драгоценной» комнаты, обещая выслать деньги. Она сообщает о своих планах возвращения домой: «Дело это очень трудное, но думаю, что возможное при определенном количестве энергии». Энергии на этот раз хватило...

Помню этот отъезд: ночь, холод, мы с мамой то ли в саях, то ли в повозке, вокруг нас черные закутанные люди. При подъеме на гору одна из лошадей изнемогает (наверное, не взяли на фронт по немощи) и падает. Возница начинает сечь ее, входя постепенно в раж от неспособности поднять бедное животное. Страшно в ночной тишине звучат задыхающиеся от ярости гортанные звуки, свист кнута и храп лошади. Начинаю рыдать, мамин уговоры шепотом не помогают, я не владею собой. Боясь удвоить ярость возницы моим ревом, мама засовывает мою голову себе под подол, затыкает мне рот...

Пишу и пытаюсь представить себе дядю Патю под пытками пятью годами раньше, поздней осенью 1937 г. Он обречен, ему надо передохнуть, подготовиться к смерти, а в глаза бьет свет, какие-то нелюди непрерывно орут, терзают его тело. Это длится много ночей подряд, и все силы надо соединить в одном «нет» — не признать вины, не назвать ни одного имени, не купить предательством передышки...

Храп клячи, засекаемой башкиром, навсегда вошел в мое сердце. Толстовского «Холстомера» мне так же трудно было дочитать до конца, как «Маленького Мука» в детстве...

Следующее воспоминание — переход из черной ночи теплушки и Казанского вокзала в залитое светом метро, в узнаваемое довоенное детство, и кажущийся верхом совершенства позолоченный барельеф балерины в переходе у Большого театра.

Вернуться в довоенное детство не удалось. У бесправной Лиды отняли жилплощадь, мы все поместились в нашей семнадцатиметровой комнате в коммуналке. Окна были выбиты при бомбежке дома на другой стороне Патриарших прудов, их забили фанерой, обогревались буржуйкой, есть было нечего. Тьма, холод и голод... Где-то доставали мороженые картофельные очистки и из них лепили то ли оладьи, то ли котлеты, которые запомнились из-за их отвратительного вкуса и рева, сопровождавшего их поедание. Справедливости ради должна сказать, что ощущения военного голода не помню, помню только твердое знание исключительной ценности пищи и мечты о довоенных лакомствах — непреходящий спутник дворовых детских игр до начала 50-х годов. Не то — в юности, когда у тебя на дневной прокорм есть одиннадцать копеек (бублик и кофе с молоком в булочной),

до стипендии далеко, и ты мучительно тянешь время до этого похода в булочную.

Все люди делились на две несравнимые категории — имеющих карточки и не имеющих их. Мы не имели, потому что самовольно вернулись из эвакуации, но хлопотали. Карточек не давали, как теперь не дают зарплаты. Мама получила карточки за два дня до смерти, но меня уже не было рядом. Все стремительно двигалось к развязке. По-видимому, мама решила вернуться потому, что сознавала неизбежность своей смерти и хотела оставить меня в московской комнате, в окружении предметов, фотографий, писем, способных сформировать мою семейную память. По тем временам одна московская прописка была неслыханным богатством. Что кроме безграничной благодарности и преклонения перед ее самопожертвованием я могу испытывать? Мамина подруга по «Красному треугольнику», которая позже стала моей опекуной и которую я похоронила в 1984 г., рассказывала, как при первой встрече после возвращения из эвакуации ее поразил мамин округлый, налитой вид, который оказался следствием голодных отеков. Эту их встречу после бесконечно долгой езды на трамвае «Б» я тоже запомнила: дали поесть, дали познакомиться с пианино (опекунша тоже запомнила на всю жизнь, как я, голодное и заморенное дитя, при свече под пианино пела «Раскинулось море широко»), и еще наутро случилось нечто постыдное. Будущая моя опекунша, Валерия Николаевна Мостовская, ушла на работу. Она-то не эвакуировалась из Москвы, у нее были и прописка, и карточки, да еще литерные. Мы остались одни утром, и мама, встав на стул, начала доставать и обшаривать все пакетики в большом захламленном буфете, доставать обнаруженные крошки, засохшие кусочки и обломки и быстро совать их мне в рот... Сейчас этот буфет в стиле «декаданс» стоит на даче. Стоит взглянуть на него — и тут же возникает в памяти это холодное серое утро в нетопленной квартире, мамина фигура на стуле и безмолвное постыдное действие в комнате не существующего теперь дома по адресу: Достоевский пер., д. 9, кв. 3...

Если не пожалеть себя и разрешить заглянуть в этот угол моей жизни, в одной и той же последовательности возникают сцены, одна страшнее другой...

Мы идем к своему дому по Малой Бронной мимо моей будущей школы № 125, и мама, нагибаясь, подбирает все окурки, надеясь найти недокуренный... Мама открывает нижний ящик большого белого шкафа (останки гарнитура из розового бука, выписанного дедом из Швейцарии для девичьей спальни своих дочерей) и задумчиво перебирает свои вещи. Потом мы долго идем по улице Красина и оказываем-

ся на Тишинском рынке. Мама встает в ряд продавцов на барахолке, повесив на руке лифчик (запомнился потому, что был непонятен) и что-то еще. Смешанное чувство безысходного горя, жалости к маме и себе и постыдности происходящего давит душу, и я реву... Мы с мамой идем в баню, надо пересечь площадь Белорусского вокзала, кажущуюся огромной. Мама еле-еле идет, точнее, тащится и решает пересечь эту площадь по диагонали. Откуда-то обрушивается милиционерша, начинает кричать и требовать штраф. Мама молчит, я начинаю дико реветь, и, не выдержав детского надрывного рева, нас отпускают. Мы плетемся к цели. Баня потрясает своим теплом. Согреваюсь вся-вся-вся, до самых последних кончиков тела, болячки перестают болеть после отдирания от них одежды. Горячая вода кажется царицей всего живого, я не хочу уходить из этого теплого рая и доказываю маме, что я еще не до конца домылась, что на коже еще остались «катышки». Мама бессильно, неподвижно сидит на лавке и тихо просит уходить, потому что надо еще дойти до дому. Я не слушаюсь и в последний раз наливаю опасно тяжелеющий таз смесью кипятка и холодной воды... И самое страшное... Мы стоим в очередь в зоопарк (зачем? отвлечь от голода?), маленькая кучка людей у ныне существующего входа напротив метро «Краснопресненская». Билетерша пропускает перед нами какую-то женщину с ребенком. Пройдя контроль, женщина вырывает свою руку и бежит по дорожке от ребенка, а ребенок дико кричит ей вслед и бежит за нею. Что это было? Мать, не имея возможности прокормить дитя, хотела дать ему возможность выжить хотя бы в детском доме? Не знаю. Вся очередь завывала, я мертвой хваткой вцепилась в свою бедную маму, она меня старалась успокоить...

Мама умерла от голода 20 января 1943 года, ровно через пять лет после убийства дяди Пати.

Когда в 1991 г. я устроила брата Андрея в клинику Института психиатрии, у него, как водится, собирали анамнез жизни. Среди прочего он сказал, что его тетка умерла от голода в Москве. Молодой самонадеянный доктор возразил ему, что в Москве от голода не умирали. Тогда брат сказал, что в Ленинграде. Он правильно сделал. Такие возражения трудно вынести, и поменять место действия в этой трагедии было наименьшей ложью. Ведь те, кто умер от голода, о себе не свидетельствуют, а для тех, кто далек от этой истории, значима только статистика.

Странно, что в этих моих воспоминаниях нет никого, кроме мамы и меня, а ведь мы жили в страшной тесноте с Лидой и братьями в коммунальной квартире. Повседневность не запомнилась, запомнилось только пронзительное,

страшное или постыдное. И еще, видимо, жизнь подошла к тому предельному краю, когда спасаются или пропадают поодиночке. Где-то в декабре брат Андрей тяжело заболел корью, мы с Митей от него заразились и были настолько тяжелы, что нас взяли в Русаковскую больницу. Там мы оба заразились септической скарлатиной и начали умирать. Много дней я вообще не открывала глаз (коровой конъюнктивит). Впервые они открылись вечером, было темно и тихо, светилась лампочка на столе дежурной (я лежала в коридоре), а в дальнем углу стояла новогодняя елка. Довоенное счастье позвало меня к себе своей безмятежной радостью. Потом из уха достали злосчастную башкирскую муху, и хронический гнойный отит терзал меня еще семь лет мучительными болями и бесконечными осложнениями.

Затем наступил длительный период, когда было очень жарко, болела голова и трудно переносился любой шум. Именно в этот период над моей кроватью наклонилась огромная нянька и прошептала на ухо, что у меня умерла мама. Новость вызвала любопытство, но не напугала, потому что была непонятной. Думала, вот вернусь домой, а там — гроб, я его открою, а там мама, смотрит на меня и молчит. Эта новость была вроде знака отличия: смерть, о которой все столько говорили, сделалась отчасти моей собственностью, с которой, правда, я не знала, что делать. В какой-то вечер возле моей кровати появилась согбенная фигура отца. В отрочестве уже выяснилось, что эти два события почти совпали — отец не мог в срок преодолеть кошмар военной перегрузки железной дороги и на один день опоздал на мамин похороны. Ее сожгли в крематории до его мимолетного приезда и бросили прах в общую могилу после его отъезда. Он сидел, обхватив голову руками, и настойчиво спрашивал: «Девочка моя родная, чего тебе хочется, что тебе принести?» Это был вопрос волшебника из довоенной сказки. Я старалась сообразить, чего бы мне хотелось, но оказалось, что — ничего, и голова так болела... В конце концов на его настойчивый вопрос я сказала — сухофруктов. На следующий день эти сухофрукты были мне переданы, но папа уже уехал. Где он достал эти немыслимые в январе 1943 года сухофрукты, мой бедный, родной, бесконечно любимый отец? (Я намеренно мало пишу о нем в этих записках, которые пишутся не как воспоминание о прожитой жизни и не на покое, но как исполнение обета, как попытка памятника безвестным и невероятным страданиям П. П. Краснопольского и его однопольцев, как отдавание долга, без чего уже ни жить, ни дышать невозможно. Они и так разрослись, эти записки, несоразмерно моей занятости. Мысль цепляется за мысль, судьба — за судьбу, и я перестаю справляться с течением за-

мысла, а с берега безжалостно цепляют багром повседневные дела, и, кажется, не доплыть. Исполнять обет кое-как — смертный грех, и однодневная репортерская заметка для этого не годится. Вот и разрослись эти записки и всосали в себя то, что неразрывно было связано с дядиной судьбой любовью и невыразимыми страданиями, — судьбу его сестры и его сыновей. Если бы я описала здесь более подробно жизнь отца, его родителей, сестер и братьев, эти записки распухли бы вдвое, составив страшную и достаточно исчерпывающую картину страданий интеллигенции в сталинское время.)

Потом жар сменился долгожданной прохладой, светом и тишиной. Мы с Митей, разлученные с первых дней пребывания в больнице, соединились в палате для умирающих. В сознании детей нашего отделения попасть в эту палату было нечто вроде военной награды. Очень хорошо помню эту узкую белую комнату, вернее, ее потолок, сужающийся над моей головой в сторону окна, и часть, открытую для моих глаз, потому что я не вставала и лежала все время на спине. Там было всего четыре кровати в два ряда вдоль стен. Наши с Митей кровати были разделены только проходом — последней близость. Одна кровать у окна в моем ряду была пуста, напротив нее лежал еще мальчик. От него не исходило никаких звуков, видно его мне тоже не было. Мы с Митей переговаривались. По-видимому, дела его были плохи, а у Лиды нашлись какие-то деньги: в один день ему передали пакет с мандаринами, оранжевая шкурка которых была усеяна безобидными черными точками. Митя предложил мне, но есть уже не хотелось, черные точки смущали, и я отказалась. Он предлагал настойчивее, я настойчивее отказывалась. Тогда он медленно, зажав в руке мандарин, спустился руками со своей кровати (ноги были парализованы), продвинулся в сторону моей кровати и бросил мне мандарин. Что заставило его в преддверии смерти совершить этот смертельно опасный поступок? Наверное, жалость ко мне. Наверное, он знал о смерти моей матери, которую горячо любил, и, в отличие от меня, знал цену жизни и понимал, что такое смерть. Ему было четырнадцать лет в это время. При безработной матери, девятилетнем брате и репрессированном отце он был обречен идти в ФЗУ и очень не хотел этого. Перед смертью он говорил своей матери, что не хочет жить. (Это рассказал мне брат Андрей, когда мы встретились с ним в 1989 г. и начали ворошить прошлое.)

Образ брата, осторожно перебирающего руками по полу с зажатым в них мандарином, — одно из незабвенных и пронзительных воспоминаний моей жизни...

Митя умер 20 февраля 1943 г., ровно через месяц после моей матери. По-видимому, я не была свидетельницей его смерти. Меня снова вынесли в коридор, снова огромная нянька наклонилась надо мной и прошептала: «Твой брат умер», и из недоступного входа в наше отделение, дороги на волю, донеслись громкие воюющие рыдания Лиды, голос которой я сразу узнала. И снова недоуменный вопрос: «Как это умер?»

Началось медленное выздоровление. Я лежала в густо населенной палате, на сей раз живо интересуясь происходящим. Помню это маленькое стадо детей почти неизменного состава, предоставленное самому себе. Геройством считалось досидеться на горшке до вылезания прямой кишки. Помню торжественно демонстрируемую непристойную и страшную на вид кишку, торчащую из чьей-то попки, приподнятой над горшком, стоящим на кровати. В этом спорте могли соревноваться только трое при одном бесспорном чемпионе. Я не могла принимать участия в этих соревнованиях, т. к. левая нога была парализована. Потом нога начала действовать понемногу, и сразу пошли разговоры, что надо отправлять меня в детский дом. Это было тоже как орден, и я была счастлива — лишь бы на волю. Но вдруг мне передали посылку от папы, и все мои нервы напряглись и зазвенели в ожидании радости. Ощущение радости стремительно сгущалось вокруг меня, вырастая в купол. Бережно держа руками его невесомость, я ко всем приставала, показывая тоненькую книжечку, присланную папой, и очень боялась не узнать его: если опустить его налет в январе, связанный со смертью мамы, мы действительно не виделись вечность и очень изменились, по крайней мере я, и все изменилось вокруг нас. Все вокруг были добры и терпеливы ко мне — первый знак доброй перемены судьбы, как узналось потом. Несколько раз в день я ходила мыть под краном его книжечку — боялась, что не разрешат вынести из заразного отделения. Я не умела тогда читать, эта книжечка была билетом на волю, билетом для возвращения домой. Выходя очередной раз из ванной, где мыла эту книжечку, я вдруг увидела, что дверь в отделение приоткрыта, в просвете — единственная, неповторимая, навеки знакомая фигура. С диким воплем «Папа!» я кинулась через непреодолимый, казалось, барьер и через секунду была подхвачена и зарылась в знакомые запахи родимой плоти.

Потом мы шли по улицам любимого города детства... Это был праздник — мир оказался летним, теплым и ласковым. Начались проблемы. Отец был старым, замученным жизнью человеком — ему оставалось дожевывать последние пять лет жизни, мучаясь чувством вины, что не смог спасти жену от

смерти, а я оказалась очень больным ребенком: кишки то запырало, то из них лилось рекой, из уха тек гной, я постоянно задыхалась и болела каждые пять минут. С чувством без вины виноватой вспоминаю его мучения, как после бессонной ночи в бабушкином кресле он утром поил меня рисовым отваром и обрабатывал перекисью ухо в засохших стручьях гноя. Лиду с Андреем бдительные соседи изгнали из моей жизни задолго до моего возвращения, и они сгинули из моей жизни надолго, точнее, Лида — навсегда. Решено было отдать меня в семью маминой подруги по ВХУТЕМАСу, имевшей двух своих детей. Сначала жили у них в густо населенной комнате (бабушка, три ее дочери, включая мамину подругу, четверо их детей и я) в густо населенной квартире с длинным, извилистым, страшным, черным коридором. Дети дома гуляли не во дворе, а на плоской крыше, перепнувшись через край которой, с дрожью в ногах и головокружением можно было видеть улицу Горького. Дети дома так же, как и в больнице, совершенно беспризорные, сблизь в стаю, управляемую своими законами, имеющую, как всякая стая, своих злодеев и развратителей и своих добрых и сильных великанов. Жизнь и в комнате и в квартире была напряженная, безрадостная и несытая. Папа работал на трех работах, пропадал месяцами в экспедициях, и я редко виделась с ним. Потом мамина подруга, Варвара Сергеевна Прошицкая, со своими детьми и со мной переехала в мою комнату. И эта жизнь была напряженной, довольно безрадостной и несытой, как у всего народа, но все же это была жизнь в семье и по законам человеческого общезжития. Тебя забывали погладить по голове и забывали про твой день рождения, но были и редкие семейные праздники, и, если ты очень старался, тебе не забывали сказать «спасибо» и учили добру. Эта нормальная («как у всех») жизнь кончилась летом 1947 года, вскоре после демобилизации и возвращения главы семьи: опять соседи восстали и изгнали непрописанных жильцов. Жизнь протекла в школе, во дворе и в пионерлагере — на все три смены. Я много и нудно болела, отставала и как-то неосознанно догоняла пропущенное в школе.

Осенью 1946 г. состоялась моя личная встреча со смертью, я навсегда излечилась от заинтересованного любопытства к этому явлению и поняла, что к смерти невозможно привыкнуть. Умерла молодая учительница музыки от рака. Учителницу было очень жалко. С какой-то такой же беспризорной девочкой, как я, решили принять участие в прощании на дому, о котором было объявлено. Разыскали дом в М. Козихинском переулке и встали в очередь. Лицо мертвой учительницы, увиденное вблизи, потрясло меня: мама и Митя

встали живыми перед глазами, перевоплотились в мертвых. Ноги так дрожали, что я еле спустилась с лестницы. В другом конце переулка стояла толпа, слышались рыдания. Не зная зачем, я пошла туда и увидела, как военный с совершенно белым лицом вынес на руках своего сгоревшего ребенка. У него сгорели двое, мальчик и девочка, не справившись с керосинкой и спрятавшись от огня в самое глухое место комнаты. С задавленным криком я бросилась прочь из страшного переулка (который и по сей день стараюсь никогда не пересекать) к своему дому. Ноги плохо слушались, из каждой подворотни смерть протягивала ко мне свои страшные когти. Мир превратился в зловещего детоубийцу, жаждущего моей смерти.

Никто не понял, что со мной произошло, рано положили спать и выключили свет. На кухне и в коридоре еще кипела жизнь, слышались голоса, горела полоска света под дверью, а надо мной, холодной и трясущейся под одеялом, ежеминутно рушилась крыша, горели этажи, взрывался дом, и я превращалась в то самое черное, обугленное... У меня, как теперь говорят, «поехала крыша»: я выскочила на кухню, заливаясь ревом. Единственная соседка, у которой был свой ребенок, сориентировалась быстро и правильно: вынесла мне стаканчик водки (муж уже был алкоголиком, а сын еще не был). Безропотно, клацая зубами о стенки стакана, я выпила эту гадость, немедленно зашумело в голове, и я отправилась в свою черную комнату, в черную постель. Наутро встала как бы совершенно здоровой (великое спасибо Вере Сергеевне!), но смерть с этой поры стала моей самой близкой соседкой — на подушке и за пазухой.

В декабре того же года я провалилась под лед на Патриарших прудах и была с трудом спасена. В те же времена, отправившись познавать мир с командой дворовых ребят, я оказалась под развалинами разбомбленного дома на углу Спиридоньевского переулка и Малой Бронной. Я всегда от всех отставала и постоянно задыхалась. На улице сияло солнце, а мы с какой-то еще девочкой заблудились в непроглядной тьме коммуникаций, простирающихся в глубь квартала. Мы ревели, звали на помощь, изнемогали от страха и ужаса, но все-таки выбрались в конце концов к свету. Много было еще всякого в этом роде.

Постепенно я превратилась в замкнутого волчонка, нервного и раздражительного, никого не допускающего в свой мир, где жили любимые образы, детские страхи и бесконечные вопросы, на которые я не искала ответов у окружающих. В этой обычной для послевоенных детей жизни были свои незабываемые просветы — свидания с отцом. При его занятости, очень плохом здоровье и немолодых годах он

правильно поступил, отдав меня хоть в не родные, но все-таки материнские руки. Для себя он с большим трудом получил десятиметровую комнату в квартире какого-то молодого военного. Свидания с ним были запоминающимися многозначительными праздниками в моей скучноватой и страшноватой жизни. Свидания имели смысл только с глазу на глаз, и отец довольно рано, с 1946 г., стал разрешать мне пересекать небезопасную послевоенную Москву и добираться до его основной лаборатории в Биологическом отделении АН СССР. Там же я проводила и воскресенья, которые у отца отличались от будних дней тем, что он уходил с работы не в десять часов вечера, а в четыре-пять дня.

На всю жизнь запомнилось это ощущение избранного воскресного утра, безлюдного конца Москвы у Калужской заставы, приближение к очень тяжелой двери, открывание ее и встреча с огромным и совсем нестрашным швейцаром в почти генеральской форме. Он брал меня за руку, и мы шли по ковровой дорожке к лаборатории отца. И разве что только в эти минуты я переставала себя чувствовать затерянной букашкой под занесенной слоновьей пятой. Вестибюль Зоологического музея во время чтения отцом лекций в Большой зоологической аудитории был более редким событием моей детской жизни. Но картины Ватагина, иллюстрирующие естественный отбор, и сам Зоологический музей стали такими же дорогими свидетелями детства, как барельеф балерины в переходе метро.

Наступил 1948 год. 20 января, в день смерти мамы и, видимо, в предчувствии своего скорого ухода, отец позвал меня к себе в лабораторию. Училась я во вторую смену и обычно появлялась у него не рано. Тут же торжественность приглашения, его необычность оттолкнули меня, и я особенно не торопилась. При всей моей неколебимой любви к отцу я была закрыта и в его сторону и не часто приоткрывала дверь своего мирка. Поскольку жизнь его протекала, в основном, на работе, в лаборатории был небольшой уголок для приготовления пищи, а рядом лежали мои нехитрые развлечения: вышитый платочек, маленький утюжок, фантики. Отец приготовил что-то вкусное, посадил меня на колени и сказал: «Знаешь, сегодня день смерти мамы. Я хочу, чтобы ты задала мне все вопросы, которые у тебя есть». Голос его был таким добрым и нежным — сильно захотелось реветь, что я уже считала для себя постыдным. Неожиданно для себя самой я его попросила: «Расскажи мне про дядю Патю». Запомнившаяся мне часть ответа может показаться сегодня неправдоподобной, но я пересказывала этот разговор многим задолго до декабря 1992 г. и 2 февраля 1993 г., сопровождая этот пересказ, правда, скептическим комментарием.

Что можно было ответить на такой вопрос ребенку в 1948 г.? (Помню, как долго он молчал, когда, будучи лет шести, я его спросила: «Папа, Бог есть?») «Однажды, — сказал отец, — я обедал в столовой в городе Иванове. (Отец действительно преподавал долгие годы в Ивановском сельскохозяйственном институте после окончания Петербургского университета.) Туда зашел один человек странного вида, заказал себе водки, быстро ее выпил и, опьянев, стал кричать много разных вещей, в том числе, что Краснопольский его спас. Я немедленно взял его за руку, вывел в скверик и стал спрашивать про дядю Патю...» Больше я ничего не помню: по-видимому, отец искусно перевел разговор на другое. Когда брат Андрей разыскал меня в конце моих школьных лет, я пересказала ему эту историю, и он молча меня выслушал.

Кончился четвертый класс, началось нескончаемое лето с тремя сменами пионерского лагеря, с его горнами, вшами, самодеятельностью. Отец уехал, как всегда, на Байкал, откуда его привезли в конце августа с инфарктом легкого. (На вскрытии было обнаружено восемь ранее перенесенных инфарктов миокарда — со слов родственников отца.) Умирал он долго и мучительно, меня к нему почти не пускали, боясь волновать. К этому времени я жила как бы на попечении двух одиноких соседок — бабы Нади и бабы Катю. Незадолго до смерти отец прислал мне из больницы крохотную записную книжку с улетающей ласточкой в верхнем правом углу и пару бережных, нежных открыток, прося слушаться бабу Надю и бабу Катю. Подозрение о близкой смерти отца возникло именно при виде улетающей ласточки — фамилия отца была Ласточкин.

Отец умер 23 октября 1948 г., враждебное число, проклятый год. День похорон отца, незабываемый и мучительный, навсегда разрезал мою жизнь на «до» и «после». Этот рубеж был осознан мною, когда я открывала знакомую тяжелую дверь Биологического отделения «в последний раз»... Тогда не было крематориев-универсамов и процедура похорон не была низведена до простого бытового действия. Она занимала целый день и оказалась непосильной для моих нервов. Нескончаемое ожидание, затерянность в толпе чужих людей, простой детский физический страх перед мертвым и постоянные попытки осознать, что этот мертвый — твой отец и эти минуты — последние, когда ты его видишь, и страшные перемены в его лице. Надрывное скрипичное трио в крематории, раздвигающийся пол и уходящий гроб — все это было непосильным кошмаром, вгонявшим меня то в полную заторможенность, то в неестественное оживление. Единственным светлым пятном была тетя Анечка, выбравшаяся из Ленинграда проститься со старшим братом. Ни в одних

глазах не светилось столько добра и понимания, но не скоро еще найдутся у нее время и возможность заняться и моей судьбой — в семье осталось предостаточно сирот после блокады... К концу этого безжалостного дня только одна мысль выжила в пустоте души и мозга: «Скорее бы кончилось». Кончилось, конечно, и я вернулась домой.

Но вечер еще не сменился ночью, и меня посетили посланные, вероятно, из каких-то пионерских соображений звеньевая и председатель совета отряда. Мы сидели за столом, разделенные пропастью неуместимого для меня горя, и не знали, что друг другу сказать. В молчании и неловкости начали играть в цифровое лото, но, кажется, не кончили.

В эти послепохоронные дни моя «крыша поехала» во второй раз... Меня надо было как-то оформлять — или в детский дом, или под опеку. За меня тут же решили в пользу второго, т. к. терять московскую прописку для окружающих казалось страшнее, чем потерять жизнь. Задним числом можно не сомневаться, что первый вариант был бы лучше, но это уже была бы не моя биография, да и Бог выше меры креста не дает...

Вокруг меня очень быстро образовалось две партии одиноких бездетных женщин, возглавляемых претендентками на незавидную должность опекуна и состоящих из сочувствующего им окружения. Между ними кляцала зубами совковая администрация в лице опекунского совета при исполкоме Советского района г. Москвы. На заднем плане этого батального полотна стояла школа. Мне надлежало выбрать между бездетной маминной подругой, той самой, у которой я пела «Раскинулось море широко» и подъедала старые крошки из буфета, и бабой Надей. Оружием в этой баталии были, в основном, словесные оскорбления и дортуарные интриги, полем битвы — моя нервная система. В апогее от посмертного портрета отца был оторван кусок подкладной бумаги, на нем написано проклятие в мой лично адрес и приковано снаружи на моей двери, но я к этому времени уже сбежала из своей комнаты.

Вспоминая этот кошмар, я должна ради справедливости сказать, что настоящих злодеев в этой истории не было. Были только несчастные одинокие женщины, не знавшие материнства и не способные всем сердцем пожалеть действительно больного и бедного ребенка. Валерия Николаевна Мостовская, моя будущая опекунша, безбедно жила до войны со своим мужем, профессором МИИТа и одним из последних энциклопедистов. Он ушел ополченцем на фронт, имея близорукость $-7,0^D$, и сгинул где-то на Угре в первые месяцы войны. Мать его, потеряв надежду дождаться сына, повесилась еще до нашего возвращения из эвакуации. Отец

и брат самой опекунши были психически больными, и сама она была со странностями, питала отвращение к дому, хозяйству, порядку, режиму. Зато она любила путешествовать, несколько раз возила меня в спасительный Крым и приучила к Большому залу Консерватории. С ней неплохо было водить знакомство, но зависеть от нее — не приведи Господь. Мы похоронили ее в 1984 г. после нескольких лет старческого безумия.

Надежда Васильевна Чайковская, баба Надя, спасшая нам с мамой комнату во время войны, была навсегда испугана советской властью, до того испугана, что сестра ее, кроткая до безгласия баба Катя, стала домовой осведомительницей под нажимом вербовки. Баба Надя всегда говорила, что она — дочь простого солдата. Это было осознано мною как ложь только после ее смерти при разглядывании ее семейного альбома. Она была недолго замужем за Касьяном Александровичем Чайковским, сподвижником Тухачевского. Он ей изменял, она стрелялась, выжила, они разошлись. Вскоре все более счастливые подруги и их спутники были арестованы и сгинули, оставив бабу Надю дрожать от страха и доказывать свою лояльность советской власти всю ее долгую жизнь. Была баба Надя настолько же громкой и истеричной, насколько баба Катя — тихой и безгласной.

Баба Катя умерла в 1951 г., а бабу Надю мы похоронили в 1974 г. после инсульта. Баба Надя всю жизнь томилась по материнству, и ей казалось, что стоит взять бразды моего воспитания в собственные руки, как я немедленно превращусь в идеального ребенка, которого ей не удалось родить. Я находилась на ее попечении и до и после смерти отца. Всякое мое непослушание, школьные неудачи вызывали громкие истерические сцены, резко участвовавшие во время дебатов об опекунстве. Обе претендентки на опекунскую должность, казалось, забыли обо мне, а я совершенно пропала.

После смерти отца у меня началась бессонница, которая будет мучить меня (как и отца) до смертного часа, и появились навязчивые ночные страхи. Никому не приходило в голову, что мне страшно спать одной в комнате после всего пережитого, я же не способна была никому пожаловаться в своем немом одиночестве. Днем я как-то перемогалась, а ночью начинался кошмар ожидания «грозной» бабы Нади с топором, которая придет и зарубит меня. Я спала на большой маминой кровати, на которой она и умерла. Чтобы избежать страшной смерти, я сворачивалась клубком под одеялом у дальнего угла кровати, стараясь, чтобы очертания тела не просматривались, а на подушку клала большого иг-

рушечного медведя, подаренного мне в пионерском лагере Академии наук СССР (папином лагере) за какие-то пионерские заслуги.

Не удивительно, что я выбрала в опекунши Валерию Николаевну и сбежала из комнаты и квартиры до того, как Мартин Лютер в лице преданной сотрудницы отца, старой девы, прибил свою буллу с проклятием на мою дверь. Со смертельно опасной кровати я переместилась на жесткий сундук с покатою крышкой в тоскливые (опекунша на работе), холодные (печку топить не разрешали) и голодные (бесхозяйственность и прижимистость) утра. Вставать и учить уроки не хочется, мысли ползают, как сонные мухи, по разным углам памяти и повседневности, временами задремываю после малосонной ночи. Нависает опасность очередного опоздания в школу, до которой надо довольно долго ехать на трамвае. Вскакиваю в последнюю минуту, все делаю кое-как и в который раз пишу фальшивую записку (чтобы избежать словесных объяснений) от имени опекунши, что я опоздала на уроки из-за посещения опекунского совета. Я сама себе отвратительна, чувство греховности, изменности, убожества моей жизни не переполняет, а, кажется, навеки потопляет меня: мне никогда не всплыть, никогда не подняться, никогда не стать достойной светлой памяти родителей. С тех пор мне временами снится один сон. Я в каком-то помещении без окон и дверей, похожем на коридор. Появляется и идет моя мама; да, это она, я узнаю ее, я уже не сомневаюсь, что это она. И я говорю, кричу, надрываюсь: «Мама, мама, мама!!!» — а она проходит рядом, совсем близко и не замечает меня.

Любовь к ушедшим родителям делается как бы основным содержанием моей внутренней жизни. У меня никого и ничего нет, я никому не рассказываю, как и чем живу, и только эти две звезды, недосыгаемые и бесконечно родные, светят во мраке моего одинокого существования. Тоска по матери толкает меня на редкие посещения ее-моей комнаты. Там на тумбочке стоят два дорогих портрета — еще со времени маминой жизни. Зарождается привычка тайно целовать их по утрам (у опекунши я прожила недолго) и обращаться к ним с просьбами о самом сокровенном. Тоска по отцу частично утоляется посещением его могилы (у мамы могилы нет, как и у Мити) и его дома. Доезжаю на троллейбусе № 8 до Арсентьевского переулка, захожу в знакомый подъезд, поднимаюсь на второй этаж и прикладываюсь лбом к знакомой двери, втягивая ноздрями знакомый и особенный запах подъезда. (Только много лет спустя практический опыт соединился с ощущением этого запаха, и я поняла, что в подъезде просто пахло

кошками.) Все мои нервы напряжены до предела от страха быть застигнутой за этим, как мне кажется, постыдным занятием. Стою так до возникновения первых звуков или пока страх не прогонит, а потом уезжаю на том же троллейбусе.

Потерянное со смертью отца чувство равновесия, относительной гармонии моей жизни, осознание ее низкосортности, невладение своей судьбой, множественные детские грехопадения, начавшись с конца 1948 г., довлеют надо мной до 1951 г., потом очень постепенно я начинаю распрямлять спину. Причиной, двигательной силой моего становления было сохранение семейной памяти, о чем так обреченно заботились и мать, и отец, повод же на расстоянии лет кажется трагикомическим или символичным. Жизнь в холоде, голоде и беспризорности сделала меня еще и жертвой советской пропаганды. Как и у многих в те времена, у меня ничего не было, кроме самой лучшей в мире Родины с самым лучшим в мире Сталиным. Из праведной пионерки я собиралась превратиться в истовую комсомолку, а затем и в истового коммуниста. Баба Надя, будучи беспартийной, всячески поддерживала во мне эти устремления, опекунша же, напротив, не только имела озорное мужество высказывать свое несогласие, но и вознамерилась с помощью моего крещения вернуть себе мужа, пропавшего без вести на фронте.

Мой возраст приближался к четырнадцати, я рвалась в комсомол. Где-то в феврале 1951 г. опекунша после очередного скандала и истерики встала передо мной на колени и попросила креститься для возвращения ее Толи. Я почему-то не смогла ей отказать, хотя считала это позором позоров, повесила на свою и без того большую совесть это криводушье, воспринимаемое мною как предательство дела Ленина — Сталина. Много позже мы поменялись ролями: я обратилась к Богу и каялась, что крещение приняла насильно, а бедная опекунша, утратив разум в старости, озорно говорила: «Да, может, и Бога никакого нет». (Прости, Господи, и помилуй бедную душу ее.) В комсомол я, конечно, вступила, за что мне два месяца не давали обедать, так что я некоторым подобием страданий, на самом деле не ощущаемых, заплатила за «советское грехопадение». Еще через полгода тетя Анечка попросила мою двоюродную сестру Таню, ехавшую в Москву, навестить меня. Та пришла ко мне, все увидела, и уже ближайšie зимние каникулы, несмотря на возражения опекунши, я провела в Ленинграде. И хотя тетя Анечка вернула мне мои земные корни, когда я уже справилась с собой и стала самоуправляемой, но, Бог мой, какую пустыню оросила и возделала она в моем сердце, по-

дарив мне право говорить «моя сестра», «мой брат», «моя тетя», «мой дядя». Кто этого не был лишен, тот не поймет...

На этом я кончаю связанное повествование о последовательных событиях своей жизни. Может показаться, что это можно было сделать гораздо раньше без ущерба для цели повествования. Возможно, такая точка зрения справедлива. Мне же кажется логичным сделать остановку именно в том месте, когда совершилось преодоление внешних губительных сил судьбы светом семейной памяти. Этот перелом совершился внутри меня и был не очевиден для окружающих. Еще множество ошибок в душе и бытовании будет совершено мною, но основной рубеж пройден на пороге четырнадцатилетия. Если бы это преодоление совершилось в душе брата Андрея, он был бы автором этих записок, а моя собственная жизнь либо слилась с жизнью брата, либо вообще захирела. К последнему толкали внешние силы судьбы — болезни и «идеологические» конфликты, вплоть до знакомства с КГБ, за которое я заплатила первым приступом стенокардии. Но Бог и новомученики российские не дали мне сгнить: кто-то должен был добраться до дела № 3207 — П и свидетельствовать миру о безвестных страдальцах... Далее в этой части я расскажу только о событиях, непосредственно связанных с 2 февраля 1993 г.

Незадолго до окончания мною школы брат Андрей прислал мне коротенькое письмо через соседку, я ему немедленно ответила, и мы начали встречаться. Свидания и письма были редкими, т. к. брат учился в Ленинграде: ни один из нравившихся ему институтов, кроме Института физкультуры им. Лесгафта, не принял в свои стены сына «врага народа». С матерью Андрей не ладил, поэтому с Лидой я так и не встретилась. Брат, как и я, к моменту встречи был достаточно закрытым человеком, поэтому настоящей близости между нами не возникло, хотя были прорывы и теснейшие соприкосновения душ.

Наступил 1956 г. Мне удалось проникнуть на закрытое собрание, где читали письмо с разоблачениями культа личности. Чувство жгучего стыда и вины перед дядей Патей впервые полоснуло сердце. Летом я отправилась в нищее романтическое путешествие по Волге под парусами. В городе Мышкине меня настигло письмо от бабы Нади до востребования. Я примостилась читать его в местной столовке. Новость, сообщенная в нем, ожгла меня, навсегда отпечатав в памяти убогий интерьер. Баба Надя писала, что Андрей приехал в Москву на Спартакиаду народов СССР, заходил к нам в квартиру и сообщил, что дядя Пятя реабилитирован посмертно, что он умер в лагере в 1942 г. от воспаления легких.

Одно желание — вернуться в Москву и увидеть брата — засело у меня в голове. Через несколько дней я его осуществила. Найти Андрея было, казалось, нереальной задачей. Я начала его розыски со своей подругой по институту около десяти часов утра в общежитии МИИТа, а кончила (успешно) около одиннадцати часов вечера в другом общежитии, на Студенческой. Он окончил институт как раз в этом году, был распределен во Фрунзе преподавать физику и приехал в Москву в составе киргизской делегации. Андрей подтвердил то, что уже сообщил через бабу Надю. Ошеломляющая эта новость, горестная и радостная, сразу сблизила нас, доверчивых дурачков, никогда мы не были так близки, как в тот вечер. Начали строить планы: хорошо бы Андрею кончить во Фрунзенском университете какой-нибудь интересный факультет, раз дядя Пята реабилитирован. Расстались на том, что Андрей мне напишет сразу по возвращении, т. к. к тому времени у него еще не было реального адреса. Расстались на тридцать три года...

Первые годы я не очень беспокоилась: Андрей всегда редко писал мне, реагируя, в основном, на мою инициативу. Потом начала беспокоиться, да что сделаешь: беднее меня трудно было сыскать. В 1960 г. на Иссык-Куль через Фрунзе поехали отдыхать друзья. Я их очень просила, но они не нашли Андрея. Я подумала — сгалтурили... После нищего студенчества наступило нищее замужество, потом рождение ребенка, аспирантура. Ни денег, ни времени на поездку во Фрунзе не было, да и был ли смысл: время исчезало, как вода в песке, и искать Андрея через поездку во Фрунзе оставалось все меньше оснований. Выходя замуж, я специально не меняла фамилии.

После 1956 г. я еще десять лет жила в прежней коммуналке, найти меня, если он был жив, благополучен и захотел это сделать, не составило бы никакого труда. В Москве забурлили новостройки, и жильцы в квартире начали стремительно меняться. Очень быстро мы оказались в окружении трех одиноких старушек с очень непостоянными характерами и убогой проститутки, которая водила партнеров прямо с бульвара и совместно с ними пользовалась туалетом и ванной. Надо было уезжать, что при нашей беспросветной бедности и бесправии можно было сделать только через обмен. Решили съезжаться с бабой Надей, и муж два года регулярно ходил в Банный переулок с картонкой на груди «2 на съезд», не получив ни одного серьезного предложения.

Повезло неожиданно, как никогда в жизни не везло: начали прокладывать Новый Арбат, расшевелили множество коммуналок, из которых одинокие старушки не всегда хотели уезжать в новые дальние квартиры («из города»). Как я

их понимала, как сочувствовала! Судьба в виде очень полной женщины средних лет (грехи неблагодарной юности — я даже не точно помню ее имя, кажется, Тамара Владимировна) из отдела распределения жилплощади Советского района сжалилась над нами, молодыми и нищими, и помогла заменить наш бесперспективный вариант. Внешняя радость соседствовала с внутренним отчаянием. Я казалась себе предательницей, я уезжала из комнаты, стены которой видели дядю Патю и его семью, моих родителей, из комнаты, где умерла моя мать. Столько было в ней пережито...

До сих пор я помню расположение отсвета уличной лампы и трещин на потолке в виде неправильной буквы «К», запечатленное памятью бессонных ночей... До сих пор, если я снюсь сама себе в интерьере, это всегда бывает только комната на Патриарших... Разбирая и пакуя наш скарб, я как бы снова пережила скорбную жизнь своей семьи, отделившись от окружающих в одинокую капсулу своего детства и сблизившись до предела (в который раз!) с навеки ушедшими. Когда наш жалкий скарб в открытом грузовике пересекал Москву, пролился короткий летний дождь и через Кунцевское шоссе в районе Поклонной горы перекинулась радуга. Мы въехали прямо под нее, и от души почему-то отлегло: мне показалось, что мама меня простила...

Временами мысли об Андрее допекали меня нестерпимо. События 1956 г. многое определили в моей жизни. Первое, о чем я договорилась с будущим мужем: никто из нас никогда не вступит в партию и, если будут дети, они никогда не будут воспитываться в «советском духе». Диссидентская литература была предметом моих вожделений. Я варилась в ней, жила и дышала ею, портила глаза чтением микроскопических букв в текстах, данных на одну ночь. Никакая подробность не казалась мне мелкой или недостойной внимания. Круг друзей жил теми же интересами, да и у многих из них «биографии» были похлеще моей. Поэтому место, время и обстоятельства действия дяди Патиной трагедии были изучены мной досконально задолго до того, как конкретная реальность его судьбы вписалась в эту историческую картину. Многие из нас, шестидесятников, стали такими скрупулезными историками «не за страх, а за совесть» и могли поспорить с любым профессионалом. Как я была поражена, услышав от любимой молодой сотрудницы, что она не смогла одолеть первых страниц «Архипелага ГУЛАГ». Вспомнилось, как я, не в силах оторваться от этой книги, читала ее в переполненной электричке, сидя рядом с ребенком. Любой профессионал из КГБ с одного взгляда мог опознать издание УМСА-press...

Чтение этой литературы через любые расстояния соединяло меня с братом. Стоило только разрешить себе зацепиться мыслью за его судьбу, как очередная ночь становилась бессонной. Мысли были горькими, его судьба не представлялась счастливой, как оно и вышло на самом деле. Помню, как вопрошала себя в ночи: «Если он жив и благополучен, ты ему не нужна, потому что ему легче легкого найти тебя. Тебе нужен такой брат? Да, нужен! А если он спился, опустился и т. д. Такой нужен? Да, нужен! А если он попал в тюрьму, концлагерь со всеми вытекающими... Такой нужен? Такой нужен больше всего, потому что я ему нужна...» Нужен-то нужен, да как его обрящешь? Я давала объявление по радио, как о родственнике, потерянном во время войны (других не разыскивали и строго предупреждали об этом): главное, чтобы прозвучали полностью его имя и мои координаты. Объявление прозвучало, но никто не откликнулся.

В 1976 г. по дороге в командировку в Болгарию встретила с женщиной, чей сын работал в уголовном розыске в г. Фрунзе. Женщина была на редкость симпатичной, я ей все рассказала и очень-очень просила. Она мне твердо пообещала, но никакой весточки не было получено. Были и другие, даже более весомые попытки — Андрей во Фрунзе не отыскался, а где искать еще, я не знала, да и что теперь об этом говорить...

Наступил ноябрь 1988 г. В клубе МЭЛЗа общество «Мемориал» устроило неделю памяти жертв ГУЛАГа. Я направилась туда с утра в первый же день, 19 ноября, заранее изготовив небольшую фотокomпозицию из нашего детского трио — Митя, Андрюша и я, двух фотографий дяди Пати и записки следующего содержания: «Павел Павлович Краснопольский посажен в 1937 г.; посмертно реабилитирован в 1956 г.; справка: умер в 1942 г. от воспаления легких. Уверена, что ложь — и дата, и причина смерти!!! Его сын (крайний справа) — Андрей Павлович Краснопольский (1933 — 1934? г. рождения, Москва) пропал сразу после реабилитации отца. Помогите найти брата!!!», подпись и телефон.

Душа размякла еще при входе, потому что пропустили без очереди, в которой я, постояв немного, уже начала трястись от холода. В маленькой комнате слева от входа вся стена была завешана листами с фамилиями, над которыми стояли три буквы — «ВМН». Мне была хорошо знакома эта аббревиатура, но, несмотря на «уверена, что ложь», я даже не попыталась разыскать имя дяди в этих списках. Моя литературная «искушенность» в преступлениях КГБ легко допускала ложь в дате и причине смерти, но подсознательно казалось невозможным искажение меры распра-

вы. Теперь это кажется смешным до глупости — какая, в сущности, разница для злодеев? В каждом человеке в каждый момент жизни живет подсознательная граница допустимого зла, являющаяся некоей средней величиной от суммы личного опыта грехопадений и познания опыта других представителей рода человеческого. Слагаемое личного опыта первенствует в этой сумме и сопротивляется, иногда подсознательно, иногда явно и мучительно, житейскому опыту, почерпнутому извне, хотя хорошо известно, что в грехопадении, как и в святости, нет предела и даже предел земной жизни — не предел. Найдя в конце концов брата, я узнала, что ему с детства была знакома формула: «Десять лет без права переписки», не оставлявшая сомнения в применении к дяде Пате ВМН. Но брата еще предстояло найти, и я отправилась по этажам клуба, ища способа реализации своего замысла. Неожиданно легко нашлась стенка, где могла быть помещена моя фотокомпозиция, но я не захватила ничего для ее прикрепления и обратилась с этой просьбой к одному из организаторов. Он охотно пообещал, но исчез. Прождав его довольно долго, я пошла в оргкомитет и объяснила уже двум людям свою нехитрую просьбу. В ответ последовал удар-скуловорот: отведя глаза, мне объяснили, что повесить ничего не удастся, пока я не принесу справку о реабилитации, из которой можно будет установить, что мой дядя сам не служил в КГБ. На этом стояли твердо, невзирая на мой лепет, что в нашей семье не то что работников КГБ, но и члена партии ни одного не было и брат был потерян вместе со справкой о реабилитации. Не берусь судить, может, они были и правы, эти симпатичные деловые ребята... Но удар был столь неожиданным, что я не совладала с собой, лицо покрылось смесью слез и соплей, и я не знала, куда спрятать свою непристойную голову в этом оживленном многолюдье. Многолетняя привычка к преодолению трудностей не позволила бежать и отступить. Отсидевшись в темном кинозале, где шел кинофильм о знаменитом узнике КГБ — маршале Рокоссовском (за которого я, дитя войны, когда-то «болела»), я направилась снова в оргкомитет и узнала порядок получения справки о реабилитации.

В ответ на запрос, посланный в Комиссию Политбюро по реабилитации, получила ответ следующего содержания: «Ваше письмо о реабилитации дяди, адресованное Комиссии Политбюро ЦК КПСС, рассмотрено. Краснопольский Павел Павлович, 1899 года рождения, уроженец Смоленской области, русский, беспартийный, до ареста работал преподавателем английского языка Академии внешней торговли. Установлено, что он был арестован 7 октября 1937 г. за участие в

контрреволюционной организации и по постановлению комиссии НКВД и прокурора СССР от 14 января 1938 г. необоснованно привлечен к уголовной ответственности. Определением Военной коллегии Верховного суда СССР 13 июня 1956 года это постановление отменено, а уголовное дело в отношении Краснопольского П. П. прекращено за отсутствием состава преступления. Он посмертно реабилитирован. Справка о реабилитации Вам будет выслана Верховным судом СССР».

Почти одновременно была получена и сама справка: «Дело по обвинению Краснопольского Павла Павловича, 1899 года рождения, до ареста 7 октября 1937 года преподаватель английского языка Академии внешней торговли, пересмотрено Военной коллегией Верховного суда СССР 13 июня 1956 года. Постановление Комиссии НКВД СССР и прокурора СССР от 14 января 1938 года в отношении Краснопольского П. П. отменено, и дело за отсутствием состава преступления прекращено. Краснопольский П. П. по данному делу реабилитирован посмертно». Получение этих безликих (и лживых — П. П. Краснопольский 14 января 1938 г., как оказалось, был не к уголовной ответственности необоснованно привлечен, а к расстрелу приговорен!) документов, как ни странно, явилось для меня вехой: появились адреса и фамилии, кто-то держал в руках это дело и без труда мог и может ознакомиться с этой тайной гибели нашей семьи. Вперед! Я немедленно написала письмо, требующее подробностей.

Привожу отрывок из этого письма как улику против собственной гордыни: «...В деле моего дяди содержатся автобиографические сведения, и не только о нем, но и о членах его семьи, которые, безусловно, были собраны для потенциальной расправы с «ЧС КРД». Эти сведения для лиц, их охраняющих, — ненужный хлам, для меня же они — драгоценны и являются единственной возможностью обрести свои «корни». Если невозможно ознакомить меня с делом или его частью, прошу Вас ответить на следующие вопросы прямо в тексте этого письма:

1. Точная дата и место рождения П. П. Краснопольского.
2. Точная дата и место рождения его сестер, Веры и Ольги.
3. Автобиографические сведения о родителях П. П. Краснопольского:

Дата и место рождения отца, чем занимался.

Дата и место смерти отца.

Дата и место рождения матери.

Дата и место смерти матери.

4. Точная дата и место рождения сыновей П. П. Краснопольского, Мити и Андрюши.

5. Какое образование и где получил П. П. Краснопольский.

6. Где работал П. П. Краснопольский после получения образования.

7. Точная дата и место расстрела.

8. Известно ли приблизительное место, куда выбрасывали трупы людей, расстрелянных в том же месте и в то же время...»

Зная совковый бюрократизм по личному опыту, я наивно предполагала, что осуждение человека на концлагерь (как выяснилось, на расстрел!) сопровождалось заполнением более (или хотя бы таких же) детальных анкет, как отправка в соцстрану на трехдневный симпозиум. Но даже полной даты рождения отправленного «в расход» человека это дело не содержало, и ни на один (!) из поставленных вопросов я не получила точного ответа. Воспоминание об этом письме и сейчас терзает мою совесть: гибель дяди Пати — это «дано», имея которое, я (!!!) желаю знать: 1), 2), 3) и т. д. Ответ несколько задержался, вот он: «На Ваш запрос сообщаю: Краснопольский Павел Павлович, 1899 года рождения (более точной датой не располагаем), уроженец гор. Красног Смоленской области, до ареста — преподаватель английского языка Академии внешней торговли, был необоснованно осужден 14 января 1938 года постановлением Комиссии НКВД и прокурора СССР к расстрелу. Вероятнее всего, что это решение было приведено в исполнение 14 января 1938 года в г. Москве. По вопросу о возможных местах захоронения в г. Москве осужденных к расстрелу в то время рекомендую обратиться к статье А. Мильчакова «Эхо тридцатых» (журнал «Знание народу» № 2 за 1989 г.). Большими сведениями, к сожалению, не располагаем. Прекращенное дело Краснопольского П. П. хранится в Центральном архиве КГБ, куда Вы также можете обратиться с запросом». К моменту получения этого письма, где впервые прозвучало слово «расстрел», я уже знала про «десять лет без права переписки»...

В начале апреля я заставила себя сделать то, что нужно было сделать сто лет назад. Боясь не выдержать объяснений и ожиданий, я раньше просила нескольких людей сделать это вместо меня, но у них не нашлось времени, и они правы: каждый человек сам должен решать личные проблемы. Подвигнутая своей сотрудницей (вечная признательность Марине Бялик!), после бессонной ночи, с сердцебиением и на ватных ногах, я оставила в справочном бюро наудачу скудные и неопределенные сведения о брате и получила 20 минут на ожидание. Я провела их в полном забвении,

обрывках молитв, отмерив ногами бессмысленное центробежное расстояние, опомнилась, вернулась и... получила адрес за какие-то копейки.

Потом дрожащей рукой писала письмо, что-то вроде: «Глубокоуважаемый Андрей Павлович! Ксения Дмитриевна умоляет Вас позвонить в кратчайшее время...» и телефон. Господи! Дальше предстояло жить в ожидании. Он вскоре позвонил и обещал прийти в субботу — я смутно сообразила, что это день моего рождения и гости приглашены некстати, но было трудно говорить, и я боялась спугнуть и дожидаясь до субботы. Он вошел в дом, высокий, постаревший, внешне легко узнаваемый, но незнакомый внутри после тридцати трех лет разлуки. Принес мясные консервы в подарок.

Начался рассказ, и многолетнее ощущение беды реализовалось в конкретную судьбу: неудачная женитьба, тюрьма еще в Киргизии по политическим мотивам, работа на Севере, маниакально-депрессивный психоз, «черная меланхолия» и бесконечные психушки. Живет с дочерью, которую давно бросила мать и которая теперь разошлась с мужем, есть маленький внук. И бесконечные возвраты в прошлое на разную глубину, уточнение событий, вопросы, которые некому было задать и на которые не от кого было получить ответы целых тридцать три года, за которые прошли жизни его и моя... Тогда он подарил мне «Копию формулярного списка» и «Удостоверение» деда Павла Павловича. И еще фотографии: мамина, гимназическая, не отосланная родственникам в Англию, с неумелым английским текстом на обороте. Фотография была знакома, но письмо проняло до микиток: его писала девочка, не ведающая своей страшной судьбы... Другая — групповой семейный портрет, в центре которого — дядя Пятя (значит, мама снимала) держит крохотного младенца — меня — на своих руках.

Знаменательный снимок: количество лет, которое я живу и еще проживу на свете, всегда будет равняться количеству лет, которое он не живет, — и так до моей смерти. Тогда он бережно держал меня в своих огромных руках, теперь мне надлежит порадеть о его безмолвной судьбе. В тот день я еще этого не понимала... Пришли гости, сели за стол, брат очень много пил, был не ровен с гостями, остался ночевать. На следующее утро я повела его в музей — находиться в доме было уже невозможно. Столько уже было пережито за неполные сутки, что нервы не выдерживали, воздуха не хватало. Мы посетили выставку Нестерова на Крымской набережной, после чего Андрей предложил мне показать квартиру на Ордынке, где прошло его детство, где взяли дядю Пятю. Господи! Неужели это возможно?! С детства я слыша-

ла: «Ваша квартира была где-то на Ордынке», и считала навсегда утерянным этот адрес.

И вот за четверть часа пешей прогулки я пересекаю расстояние в пятьдесят с лишним лет. Андрей уверенно ведет меня с черного хода (он тут был не так давно), соседи неохотно, но пускают («Устроили прямо музей какой-то»). Я вижу эту комнату, где летели пух и перья на глазах двух мальчиков в ночь с 7 на 8 октября 1937 г. Теперь этот дом на углу Ордынки и Черниговского переулка навеки мой... Весь путь туда и обратно Андрей был очень возбужден, делал стойку на каждого милиционера: смотри, менты, — я в первый раз услышала это жаргонное слово. Остался ночевать. «Как мне не хочется от вас уходить!» Наутро мы расстались: я — на работу, он — домой. Я попросила его показать знакомому врачу-психиатру, незабвенной Люсе Пекуновой. Он неожиданно покорно согласился, и этот визит состоялся в конце мая.

Вот Люсин приговор: «Оставь брата в покое. У него своя жизнь, у тебя — своя, они уже не соединимы». Мы виделись не часто. Как правило, после моей письменной просьбы он заезжал к нам из своей Долгопрудной, телефона у него не было. В середине того же 1989 г. приехал совсем другой, тихий и раздавленный, отдал ранее занятые деньги, мучился чувством несуществующей вины. Потом пропал. Я написала его дочери с просьбой позвонить мне и узнала, что Андрей — в психушке по месту жительства с 16 сентября. Обратилась к Люсе, не ожидавшей такого поворота дел. Она сказала задумчиво: «В гипомании они все такие уплотненные...» Больше я уже не видела его ни в гипо-, ни в гипермании, только депрессия, безразличие ко всему и нежелание жить вне стен психушки. С тех пор я обсуждала болезнь Андрея со многими лечившими его врачами. Он страдал депрессией около тридцати лет, лечился где придется, был насквозь протравлен лошадиными дозами антидепрессантов и снотворных. Люся настоятельно советовала сменить больницу. Сама она уже помочь не могла, умирала, и с ее смертью Москва много потеряла — стало существенно меньше доброты...

Брат не хотел менять больницу и водил меня за нос, что ему станет лучше то к весне, то к осени. Весной 1990 г. я вывезла его на несколько дней на дачу в надежде пробудить желание к воле. Он снес это, но поторопился вернуться на больничную койку. Осенью того же года я перевела его в клинику Института психиатрии, где он пролежал до закрытия клиники на летний перерыв. Контакт с врачом у него не было. Электросудорожная терапия была противопоказана ему по состоянию сердца (да и я не была готова!). Ему,

правда, устроили лекарственный шок — без эффекта. Выпившись из клиники, он через короткое время снова залег в больницу по месту жительства — переделанный телефонный узел, где врачи меняются по нескольку раз в год, почти нет лекарств, скученность, тяжелый дух безысходности. Там он лежит по сей день...

Разные проекты спасения брата копошились в моей голове: женитьба, вступление в Дворянский союз, переселение в монастырь. Все было им отвергнуто. Мои приходы его не радуют, он сносит их, как жужжание назойливой мухи... Господи! Что же я наделала, почему я не нашла его раньше тем простым способом, какой применила в 1989 г.? Получилось, что я просто сэкономила свое спокойствие лишние годы. Но это было не так! Я копошусь в своей душе бессонными ночами и требую от себя предельной честности. Две доминанты тяготели надо мной во время нашей долгой разлуки: уверенность, что он сгинул в Киргизии или какой-то другой далекой стороне, и легкость, с которой он, старший брат, мог отыскать меня, если судьба его сложилась благополучно. Если я и сэкономила себя, то только в том смысле, что боялась узнать еще об одной безымянной родной могиле в какой-то географической точке СССР. Когда он отыскивал меня, он учился уже в Ленинграде, и я никогда не знала его подмосковного адреса. Можно перечислять еще много других аргументов, списать все на судьбу. Но после нашей разлуки в 1956 г. судьба оказалась ко мне более благосклонной, чем к нему. И некуда мне деться от чувства вины, и никакая исповедь не помогает и не поможет, пока он в психушке, а я — на воле.

Осенью одна моя старинная приятельница добралась до дела своего деда, правда, очень знаменитого, фигурировавшего в процессе Бухарина третьим по счету. Разузнав у нее все хорошенько, я пошла по ее стопам, послав запрос в нужное место. Ответа не было почти два месяца. Наконец на исходе года позвонил милый женский голос, извинился за длительную задержку и объяснил, что дело долго не могли найти, оно оказалось в Иванове, но теперь запрос о нем послан и в скором времени ожидается его прибытие. Какие страсти забушевали в моей душе при упоминании Иванова — не могу передать. Узнав про «десять лет без права переписки» и сопоставив срок ареста со сроком предполагаемого убийства, я решила, что рассказ отца 1948 г. был его предсмертной выдумкой с целью сохранить в моей душе доброе отношение к дяде в эпоху преклонения перед подвигом Павлика Морозова. Поскольку отец работал в то время в Иванове, то и поместил место действия в Иваново... И вдруг — действительно Иваново! Начался последний акт

ожидания. 1 февраля 1993 г. я провела неожиданно весело: директору нашего института дали член-корра. Это был действительно веселый праздник: в кои-то веки достойному человеку присудили достойную награду. От души выпили, от души повеселились... Придя домой, узнала о звонке с Лубянки. Позвонила и получила приглашение на завтра. Страх еще не было. Было почти праздничное ощущение совпадения двух очень разных знаменательных событий: вот, все-таки дожила... С утра у меня был назначен деловой визит в Высший экономический совет. Уходя оттуда, я вдруг не только подумала, но и сказала совершенно чужим людям: «Судьбе было угодно, чтобы я запомнила этот визит на всю жизнь: я иду на Лубянку...» Я уже очень нервничала, и от страха заметно дрожало внутри...

После 2 февраля 1993 г.

Наступила страшная ночь. Всю свою жизнь я повибрасывала из всех углов памяти и пропустила ее между пальцами. Стыд терзал меня. Что я думала об этом деле раньше? Прежде всего, я вообще мало о нем думала. Это действительно было для меня «дано», «условие задачи» семейной трагедии. Больше всего я представляла себе дядины страдания в лагере (которого не оказалось), как он терпел голод и холод, как над ним, высоким и видным, измывались вертухаи, старосты барачников, десятники. Думать о нем в тюрьме после ареста я не любила: эти мысли неизбежно спотыкались об «признал, не признал» и «выдал, не выдал». И заранее я, благополучная сволочь, говорила себе, что он мог признать вину и назвать требуемое имя или имена, так делали почти все, и они не судимы. Зная от других, что дядя был тихим и грустным человеком, я считала, что его «замели» для счета, для выполнения плана, при очередной «чистке» — слишком много было на нем родимых пятен: из дворян, кончил Царскосельский лицей, мать — англичанка, преподавал английский язык во внешнеторговой организации, будучи беспартийным...

Жалка оказалась роль просвещенного потомства, стремящегося открыть дверь в кровавую камеру первобытных пыток их ближайших предков. Изуверство судьбы: кто станет спрашивать не сидевших об их прошлом — ну, заблуждались, ну, верили, как все. Их сомнения или мало-мальски гражданские поступки обсуждаются за семейным застольем, входят в семейные предания, известные внукам. И они не судимы: что может быть естественнее, чем право человека на жизнь и инстинкт самосохранения... Но если твое имя выбрали у кого-то (возможно, вместе с зубами) на допросе или

твоя физиономия не понравилась стукачу или понадобилась для его карьеры или улучшения жилищных условий, ситуация меняется. Чаще всего некому даже узнать о твоей судьбе: близкие или убиты, или вымерли, или запуганы, или раздавлены жизнью. И с какой бы любовью, даже преклонением, не говоря о всепрощении, ни относились не сидевшие к прошедшим через это пекло, все равно их делят на признавших и не признавших, выдавших и не выдавших.

А он не признал и не выдал... Ему — допросы и пытки, а тебе — гордость за то, что он не признал и не выдал... Да, он не признал и не выдал, а теперь посмотрим, что ты можешь предъявить на его суд. Вспомни, ты была нервным и раздражительным ребенком и могла выболтать все что угодно. Но ты, пионерка с комсомолкой, никогда не проболталась, что твоего дядю посадили в 1937 г., и так до 1956 г. Помнишь, тебе и в 1956 г. было стыдно за это, когда ты пробралась на чтение закрытого письма... И если честно, ты не очень-то торопилась добраться до этого дела. Конечно, тебе было очень некогда, но мертвые говорят о себе так же неслышно, как голос совести, их надо уметь и торопиться слышать, а то ведь могла и не успеть с твоим хлипким здоровьем. И ты всегда немного побаивалась заглянуть в это дело, побаивалась узнать что-то тебе неприятное... А с другой стороны, рвалась узнать, что же все-таки было, и пополнить с помощью дела свои знания о семейной истории... Все вышло наоборот: чего боялась, то вознеслось на недостижимую для тебя высоту, на что надеялась — того не обрела и обрести уже больше неоткуда... А брат Андрюша? Его отец подарил жизнь твоей матери и тебе, он подарил тебе пять лет жизни с матерью и «чистую» биографию. Ты выжила, выучилась, встала на ноги и сохранила себя для встречи с дорогими умершими. Но ты не поторопилась найти и спасти брата для встречи с ними, и потому тебе все равно не дано поднять на них глаза с чистой совестью... Допекали разные мелочи. Еще при чтении дела меня потрясло, вернее, сотрясло совпадение дат смерти мамы и дяди Пати с разницей в пять лет. Как раз 20 января 1993 г. исполнилось пятьдесят лет со дня смерти мамы, и я заказала панихиду в храме Богоявления и попросила всех близких прийти на нее, и сама пела с певчими. Но ведь мне было известно из ответа Никонова, что дядя Пата был убит пятьдесят пять лет тому назад примерно в эти же дни, но не вспомнила приписать его имя в заказную панихиду. Конечно, с тех пор как хожу в храм, я поминаю его «за упокой» среди первых множество раз в году и на каждой утренней и вечерней молитве, но ни разу не заказала панихиду...

Утром я впервые поняла, что такое депрессия. Пыталась много раз оторвать голову от подушки и — не могла, все покрылось серым налетом, все казалось бесцветным и отвратительным. Меня ждала аспирантка, надо было ехать к ней, делать доклад в чужом институте по не известному мне адресу, я опоздала на место встречи на сорок пять минут... Потом я начала метаться. Заказала заупокойный молебен в храме и в монастыре, исповедовалась священникам и монаху — облегчения не было и не могло быть. Они правы, за дядю Патю надо радоваться, он — новомученик российский, он умер с недостижимой для смертных чистотой совести. Но брат, брат — я не помогла ему в срок, а теперь — бессильна... Меня мучила мысль о необходимости ознакомить брата с судьбой его отца. Получила заверения врачей, что чтение дела не может ухудшить состояние брата, но, напротив, может сыграть роль шоковой терапии, получила я и согласие Андрея. Мой рассказ о главной тайне нашей судьбы, перемежающийся слезами и покаянием, он выслушал, по обыкновению, понуро склонив голову, но съездить на Лубянку и прочитать дело согласился. Не прошло и недели после 2 февраля, как я позвонила моему словоохотливому собеседнику, избравшему в качестве жизненного поприща служение в КГБ. Оказалось, дело уже снова отправлено в Иваново, и мне надо повторно самой его запрашивать. Запросила.

В ожидании ответа занялась давно задуманным делом. В 1988 г. на кладбище при крематории у Донского монастыря обозначили общие могилы, куда сбрасывали сожженный прах заключенных, но не только их. В одной из могил (я это слышала от Андрея и соседей) должен был покоиться прах моей мамы и Мити. Я знала, где расположена эта шестиугольная могила с облезлым столбиком в центре и оскорбительной надписью:

Общая могила № 2

Захоронение невостребованных
прахов

С 1943 г. — 1944 г. включительно

Я давно решила поставить там всем троим маленькие крестики с фотографиями и надписями (как это сделали некоторые на общей могиле № 1), но мешкала из-за занятости и незнания дяди Патиной судьбы. 11 февраля я поехала в контору крематория, чтобы заказать три фотографии на фарфоре. Принесенные мной фотографии дяди Пати забра-

ковали, предложив заказать художнику портрет. Разговор тек мирно и по-деловому. Вдруг мою собеседницу осенило, и мгновенно из нормального человеческого лица просунулась совковая административная морда: «Это вы куда собираетесь свои крестики ставить?» — «На общую могилу». И понеслось: «Ишь, чего выдумала! Где раньше была? Много вас таких ходит... Вы думаете, их в гробу хоронили... Да ведром и лопатой... И если каждый захочет... Запрещено постановлением Моссовета... (!) Мы их все равно выкинем — и ваши, и других...» и т. д. Я все-таки немножко заревела, скорее от неожиданности. Но тут же подоспело и утешение. Пока я, хлюпая носом, знакомясь с «Книгой памяти», содержащей перечень имен жертв КГБ, точно схороненных в общих могилах крематория, из кабинета выплыла начальница и поинтересовалась причиной оттремевшего крика. На мои слова «представьте себе, что ваша мать так похоронена» она возразила, что и представить себе такого кошмара не может, но что «Моссовет запрещает, вот, видите, правила на стене», и показала на шесть довольно длинных столбцов, набранных мелким шрифтом. Я высказала немедленное желание идти в Моссовет и получить там разрешение. Моя собеседница задумалась и предложила, если я пойду в Моссовет, выполнить и другую миссию.

Оказывается, кладбище и крематорий должны быть переданы Донскому монастырю (душа моя возликовала!), это дело практически решенное, но монастырь настаивает на закрытии крематория, а многие граждане протестуют. Не могу ли я выступить ходатаем за их интересы? Нет, я не могла. Я без содрогания не могла проходить мимо храма, превращенного в пекло. (Вспомнилось, как показывала польской коллеге Донской монастырь, включая общую могилу № 2 и храм, превращенный в крематорий. Ее глаза, казалось, вылезут из орбит, а губы безостановочно шептали: «Матка Боска, Матка Боска...») А у нас многие граждане протестуют.) Мой отказ был выслушан спокойно и дан совет ждать до 20 февраля, когда все и решится. Я отправилась к отцу-настоятелю в ближайшее воскресенье и высказала свою просьбу вышедшему на мой звонок сокеелейнику или служающему монаху. Я еще много раз звонила в дверь отца-настоятеля и излагала свою просьбу, пока меня не осенило.

На Радуницу, когда в новом соборе оплакивали зарезанных новомучеников, монахов Оптиной пустыни, я передала письмо с изложением своей просьбы архимандриту. На следующий день мне позвонила женщина и объяснила, как туго идет передача кладбища монастырю, и единственное, чего удалось добиться, — прекращения кремирования.

Тогда же, в феврале, начала наводить справки о возможном месте захоронения. Версия Бутовского захоронения отпала быстро. Через общество «Возвращение» связалась с женщиной, ведающей Бутовским захоронением, дочерью расстрелянного и захороненного там человека. Она спросила только, кто рассматривал дело и выносил приговор. Узнав, что Военная коллегия Верховного суда СССР, уверила, что останки дяди Пати покоятся в другом месте, т. к. в Бутовском захоронении покоятся останки тех, кого осуждали на расстрел тройки НКВД. В ее картотеке имени дяди Пати не оказалось, и можно не сомневаться, что она права — такие работают не за страх и не за деньги. От нее же узнала, что Бутовское захоронение жертв КГБ, самое массовое в окрестностях Москвы, находится в окружении дач ведомства своих убийц и надежд избавиться от этого надругательства практически нет. По совету своего «куратора» послала запрос о месте расстрела и захоронения в УКГБ по Ивановской области и Центральный архив Министерства безопасности. Дальше оставалось только ждать.

За этими судорожными телодвижениями происходила мучительная переоценка всей прожитой жизни. Душа моя ушла в капсулу одиночества и не участвовала, сосредоточившись на общении с прошлым. Так было много раз: неотступные мысли о маме и других близких помогали восстанавливать утраченное равновесие. Всю свою жизнь я чувствовала трепетание материнской души над своей головой, и чем мне хуже, тем неистовее... Она дала мне неизмеримо больше, чем многие живые матери своим детям. Одной бессонной февральской ночью черный туман начал рассеиваться. Все так просто: не я выжила, преодолела, выучилась и дожила, но моя судьба была вымолена их страданиями. И я потому еще выжила и дожила, что зло — наказуемо. Должен был кто-то узнать о подвиге, совершенном на дне пекла, узнать имена безвестно сгинувших страдальцев и свидетельствовать о злодеянии. Но почему я, когда было два родных сына? Мысль о Мите всегда вызывала чувство вины и боли, я всегда понимала, что в четырнадцать умирать тяжелее, чем в пять. Может быть, дядя Пятя взял его к себе потому, что Митя был раним и не мог вынести той страшной жизни, которая была уготована Андрюше? Бог выше меры креста не дает...

Андрей был жизнелюбивым отроком. Он рассказывал мне, как они остались вдвоем с матерью в нашей коммуналке без средств к существованию. Он ходил в ближайшую школу № 137, где школьникам давали каждый день вареную морковь. Ее никто уже не мог не то что есть, но видеть, и все отдавали Андрею, чтобы не выбрасывать. Когда их из-

гнали из коммуналки, они переселились в барак под Москвой, и Лида стала работать уборщицей. Там какая-то несчастная бдительная стукачка стала зариться на их комнату и расспрашивать про их сомнительное прошлое, а потом и грозить. Андрей подстерег ее однажды с топором и пригрозил убить, если она не отстанет от матери, и та струсила, стала заискивать: «Пионер, а пионер...» Несколько раз они угорали почти до смерти, и всякий раз Андрей своей волей пробуждался в срок и поднимал тревогу. Такой опыт многое определяет в человеке: чем яростнее живешь вовне, тем труднее слышать голос любимой крови... Мне просто повезло, что от природы я была награждена органом внутреннего слуха к беззвучным голосам умерших, и дар этот мне был дан неспроста. У меня почти не было шанса родиться, и почти не было шанса выжить, и почти не было шанса не сбиться с пути. И если все это произошло, жизнь моя мне не принадлежит, я — человек без биографии, я — человек-идея. Когда меня манила бездна грехов юности и над жизнью нависала угроза, не одна, а несколько душ трепетали над моей головой, просто я их воспринимала как одно целое. Теперь пора отдавать долги тем, кто вымолил тебе у Бога непостыдную судьбу. Надо свидетельствовать... Получив этот приказ, я пришла во второй раз на Лубянку другим человеком. Я стала солдатом, присягнувшим на верность, готовым, если понадобится... И равновесие было восстановлено...

До повторного вызова на Лубянку пришло странное письмо. На месте адреса отправителя стоял штамп:

Чертановский отдел загса г. Москвы

В письме на бланке загса было напечатано: «Чертановский отдел загса г. Москвы сообщает, что новое свидетельство о смерти Краснопольского Павла Павловича направлено в Мещанский отдел загса (адрес, телефон), где вы можете его получить, имея при себе паспорт». Далее — режим работы, подпись. Понимаю, что «куратор» решил подправить историю. Из уважения к его трудам посещаю загс и получаю новое «Свидетельство о смерти» следующего содержания: «Краснопольский Павел Павлович умер двадцатого января тысяча девятьсот тридцать восьмого года в возрасте 40 лет, о чем в книге регистрации актов о смерти 1956 г. марта месяца 23 числа произведена запись за № 38. Причина смерти — расстрел. Место смерти — г. Москва». Далее — печати, подпись, число.

Боже правый! Стучу в захлопнувшееся окошко: «Вы мне выдали документ, которого я не просила, но в нем ошибка: он был расстрелян в возрасте тридцати восьми лет, а не сорока!» Как и следовало ожидать, в ответ раздраженно рявка-

ет: «А я при чем? Как мне сказали, так и написала!» Что же это? Ведь у него (не у меня) дело под рукой! Ленъ было заглянуть или сосчитать? Видно, уж до такой степени наплевать, что, как ни притворяйся, все равно вылезет наружу.

На днях нынешний «демократический» шеф КГБ Степашин был интервьюирован Киселевым в «Итогах» и сообщил тем, «кому, может быть, неприятно видеть это здание» (б. страховое общество «Россия»), что там будет располагаться Управление погранвойск вместо КГБ. И надо было видеть его лицо при этом — легко было подумать, что он говорит о психопатах и истеричках. Счастливые немцы! Их Вилли Брандт на колени встал в Варшавском гетто. Похоже, нашего Вилли Брандта успели репрессировать за семьдесят с лишним лет их «хозяйствования». Кем надо быть, какое получить воспитание и образование, чтобы иметь силы ходить на работу в этот дом. Какие надо иметь глаза и уши, чтобы не видеть пятен крови на полах и стенах и не слышать звериного вопля терзаемых жертв: «Покайтесь!!!» Пока не поздно, распахнем окна, раскроем двери, повесим доску: «Дом трагедии России», приведем сюда всех детей страны и скажем: «Здесь корень наших бед, учитесь, как нельзя...» На Лубянке по-прежнему «трудятся» не раскаявшиеся, ничего не осознавшие люди и куют гибель полумертвой стране, не давая ей распрямить спину.

23 марта, но не 1956 г., а 1993 г. мы получили повторное приглашение на Лубянку. Предварительно сговорившись с Андреем, рано встала и поехала за ним в его загородную психушку, потом — вместе с ним — на Лубянку... Первый раз меня принимали, так сказать, «с уважением» в большой приемной переделанного особняка XIX в., за пределами Комитета по делам реабилитации. «Куратор» объяснил, что в приемной встретит бюст «железного Фели». И действительно: он стоял на «недосягаемой», бездарной для обозрения высоте, так что ожидающему посетителю доставался оскал его верхней челюсти в полуулыбке. И пока я ожидала своей очереди, справа через проходную безостановочно двигался взад и вперед поток сотрудников этого замечательного заведения, напоминая центральную станцию метро в час пик...

На сей раз мы шли на общих основаниях и оказались в Комитете по делам реабилитации, состоящем из двух крошечных комнат общей площадью около пятнадцати квадратных метров, которые были отделены от входной двери крошечной прихожей в два шага длиной. На этой площади размещено пять письменных столов, что соответствует числу «рабочих мест». При тех квадратных километрах московской земли и московской жилплощади, которые принадлежат КГБ, такое помещение комитета однозначно говорит о том,

кто остался хозяином положения, а кто — в положении униженного и оскорбленного. Явственно ощущалось, что могучее колено КГБ неусыпно нацелено на эту ненавистную ему каморку и ждет любого повода, чтобы выбить это чужеродное чажлое тельце из своих недр наружу, соединив заднюю стенку с передней. Нас с братом разместили под портретом железного Фели, написанным в романтическом стиле — на черном фоне с полыхающими зарницами. Но прежде чем мы открыли дело, с нас взяли еще и подписку, что мы не используем информацию, к которой получили доступ, во вред помянутым в деле лицам. В первый раз этого не требовали. Люди трудятся, изобретают...

Все, что говорилось даже шепотом в любом углу этого «царского» помещения, невольно становилось достоянием всех присутствующих. Рядом женщина, потерявшая всю семью и сама сосланная как ЧС, рассказывала своему «куратору» о невозможности получить полагающиеся ей по закону льготы и заодно о том, как в метро какой-то юный мерзавец на глазах у всех вырезал кусок ее плаща. Чуть подалее двое зачитывали на диктофон дело своего пострадавшего и проверяли четкость записи по кускам. За стеной забежавшая поболтать сотрудница КГБ жаловалась вполголоса главному надзирающему на неуважение сограждан к месту ее работы: «Чуть что — кагэбэшница!» Люди входили, выходили, разговаривали друг с другом в полный голос, обменивались репликами. Вдруг ворвался в это тесное пространство невидимый за стеной старческий женский голос и громко стал требовать справку о том, что она работала во время войны. Она была дочерью репрессированных и погибших с Украины, ее угнали немцы во время оккупации. «Я из Австрии получила справку о том, что работала в Маутхаузене, а райсобес не признает ее и требует справку с Лубянки. Я три месяца таскаюсь по инстанциям, у меня сил нет!» Ей стали жестко и зло отказывать. «Я голодовку объявлю, я умею терпеть!» — кричала она. Ей было велено уходить, голос ее переместился за входную дверь и наконец стих. Начался короткий обмен репликами между двумя кагэбэшниками, недовольными своей собачьей работой и надоедливостью полоумных старух...

«Получив задание» свидетельствовать, я не разрешаю себе опустить ни одной детали, касающейся общения с органами, и не потому, что хочу вызвать к себе сочувствие. Я там не претерпела больше, чем в жэке, министерстве или прачечной. Но считаю, что современники должны знать о сегодняшней судьбе тех выживших страдальцев, чьей кровью удобряли землю, чьим рабским трудом создавали гиганты пятилеток, чьи семьи были выморожены голодом и жесто-

костью в детских домах, подвалах, бараках, землянках и психушках. И если нам это безразлично, мы — конченный народ, мы недостойны памяти тех затерзанных миллионов и тех, кто еще жив из их числа. На Лубянке, не умолкая, гудит колокол беды нашего Отечества и призывает: «Покайтесь, ибо не преодолееете...»

Я пришла сюда во второй раз с твердым намерением работать и с твердым убеждением, что совладаю с собой. Я пыталась писать и в первый раз, отодвигая встречу с судьбой, но дошла только до первого допроса. Во второй раз я не имела права себе этого позволить, но как же было тяжело. Снова налились свинцом руки, переворачивая обложку папки. Руки тряслись, буквы прыгали, и то, что окружало вокруг, раздирало душу своей оскорбительностью по отношению к памяти жертв. Все, что сообщено в первой части записок, еще предстояло записать или законспектировать. Время шло, а дело двигалось страшно медленно...

Сквозь желтые листы дешевой бумаги с полустертой машинописью горели налитые кровью глаза гигантского паука, протягивающего лапу к очередной жертве, выдавливающего из ее полузадушенной глотки очередное имя или имена и высасывающего ее нутро. Он не может жить без человечины, без убоины, и вся страна превращена в человекобойню, и человеческое мясо не в цене, оно — как дохлая собака — бесценно.

С огромной любовью выписываю имена всех ивановских страстотерпцев, рожденных в определенный день и час, получивших образование, трудившихся на разных поприщах и уничтоженных просто так, по прихоти ублюдков, запустивших маховик, который не должен был крутиться вхолостую. Сколько закономерного и случайного сплелось в их судьбах: родились и сформировались до революции, получили образование, т. е. жили «на виду», в провинции, были знакомы с доносителем, на которого тоже, наверное, кто-то донес доблестным чекистам. Всего в деле кроме дяди Пати и доносителя поименовано двадцать человек, если не считать успевшего умереть своей смертью «счастливчика» Льва Федоровича Федера:

1. Владимиров Евгений Николаевич, юрисконсульт меланжевого комбината;
2. Огородников Евгений Александрович, юрисконсульт «Заготльна»;
3. Скворцов Владимир Львович, врач 1-й городской больницы;
4. Михайлов Николай Николаевич, юрисконсульт Госбанка;

5. Никифоров Николай Евгеньевич, зам. главного арбитра Народного комиссариата легкой промышленности СССР;
6. Лебедев Алексей Алексеевич, юрисконсульт фабрики им. КИМа;
7. Феддер Лев Львович, репортер газеты «За индустриализацию»;
8. Эрдели Петр Александрович, юрисконсульт Сосновской фабрики;
9. Куни Виктор Эмильевич¹;
10. Янцен Анатолий Анатольевич, юрисконсульт ОБЛЗУ;
11. Любимов, врач;
12. Циперкус, врач;
13. Гродзовский Александр Александрович, юрисконсульт выходной базы;
14. Ремизов Александр Васильевич;
15. Колесников Александр Алексеевич, бывший фабрикант, технорук трикотажной фабрики;
16. Колесников Владимир Александрович, экономист, работал в Москве;
17. Гурьев Сергей Владимирович, инженер НКПС;
18. Карташев Дмитрий Иванович, юрисконсульт «Союзхлопкосырья»;
19. Гапонов Андрей Иванович, юрисконсульт Главного управления хлопчатобумажной промышленности Московской области;
20. Карнаухов Василий Васильевич, юрисконсульт «Союзхлопкосырья».

Первое, о чем я спрашиваю Андрея, — подлинность подписей дяди Патиной руки, он уверенно говорит, что подписи подлинные. Пока мы вымученно продвигаемся по страницам (Андрей — читая, а я — записывая), время переваливает далеко за полдень. Мы ничего не ели с утра и не пользовались туалетом. Наш новый «куратор» временами нас навещает, я спрашиваю его, где туалет. Он вздыхает и говорит, что это их и наша беда и неудобство. Они, правда, могут выйти из этой двери, войти в следующую, пройти через проходную, и там есть... но для посетителей ближайший туалет — в «Детском мире». Немногочисленным жертвам, оставшимся в живых, в основном, старухам, для путешествия в «Детский мир», стояния там в очереди и возвращения назад в комитет понадобится не менее часа. Собираясь в это замечательное заведение, они, бедные, для экономии сил должны ничего не есть и не пить.

¹ Отсутствие имен, отчеств или мест работы в этом списке означает, что я их не нашла.

Заканчивая работу и страдая от ее несовершенства, очередной раз задаю «куратору» вопрос о возможном месте расстрела и захоронения. Он считает, что скорее в Иванове, чем в Москве, но, с другой стороны, «вам же выдано свидетельство о смерти, где написано «Москва». Ну, напишите еще раз Ерастову в Иваново». На лице — смертная скука...

Мы молча шли, почти бежали по мертвому городу, покрытому густой серой паутиной. В первый раз я осознала, что все дома округ Лубянки выселены, выморочены и заняты КГБ. Под этими мертвыми домами выстроены другие мертвые дома и туннели, где ядовитый паук раскладывает свои шупальца, откладывает свои яйца. Мне было плохо, очень плохо. Естественная нужда соединилась с тошнотой, подступившей к самому корню языка. Я боялась оскандалиться, как в детстве, и дико хотелось где-то вырваться и отогреться. Пройдя кусок Лубянки, свернули в Малый Кисельный и побежали под горку к Неглинной. Слева вылезло одно из последних архитектурных уродств Москвы, возникших по прихоти КГБ, — кишкообразное здание на самой вершине Неглинного холма со взлетно-посадочной полосой для вертолетов на крыше — для высадки Антихриста... Спасение пришло справа — в материнских коленях Рождественского монастыря, приютившего в своих полуразрушенных стенах много чужеродных зданий, в том числе платную зуболечебницу...

Ночь с 23 на 24 марта была почти такой же черной, как со 2 на 3 февраля. Смятение сменилось отчаянием. До этого дня мне все было как-то недосуг осознать, что ничего, в сущности, в стране не переменялось после августа 1991 г. Да, нам нехотя выдают дела, но это потому, что им безразлично, как прошлогоднюю кость собаке, чтобы заткнулась и не брехала... Пока мы дожевываем старые трагедии, которых не изжить до самой смерти, они по-хозяйски переезжают из богатого, но набившего оскомину идеологического гнезда в новое, просто царское, капиталистическое. И не то чтобы грабят, а просто берут, потому что все — их и им все позволено. И на эти несчастные дела можно взглянуть по-новому — доступ к ним можно продавать за доллары, информация дорого стоит... А что это как второе распятие, торговля кровью и родиной — для них слова незнакомого иностранного языка.

И вспомнила, как соседка из дома напротив, простая русская женщина с четырехклассным образованием, по которой ощутимо проехала война, воспитывала своего Юрку, чтобы он не смел смотреть в сторону КГБ: хотя выгодно, но грех и мерзость... И вспомнила, как другая соседка, из соседнего дома, тоже простая русская женщина, выросшая в

послевоенном детдоме, из кожи вон лезла, чтобы запихать своего Вовку в КГБ за «хорошей» жизнью. И вспомнила, как однажды вечером в будний день сидела на лавочке у входа в храм Богоявления, что за ГУМом. И вдруг на моих глазах начался исход кагэбэшников с работы: полчища прекрасно одетых бравых молодцов в штатском и дамы (в меньшем числе) — ягодка к яголке. Невероятно, чтобы вся эта масса людей могла поместиться в маленьком плоском здании братских келий — наверху, лезли из-под земли.

А женщины из храма, сидевшие рядом со мной, рассказывали, что отец Геннадий не может очистить это здание, принадлежавшее искони монастырю и им построенное, для православной гимназии. Отреставрированное же здание настоятельского корпуса за одну ночь было отгорожено от храма железной решеткой в два человеческих роста, как только было принято решение о передаче храма Церкви. Вернуть этот корпус Церкви — нечего и мечтать: говорят, оно так нашпиговано аппаратурой, что ее можно вытащить только через крышу...

И вспомнила всех родных и близких, по которым проехало кровавое кагэбэшное колесо... Мою бабушку, Александру Дмитриевну Ласточкину, которую выслали в 1935 г. в Воронеж из Ленинграда: замученный невыполнением плана «по врагам народа» дворник вспомнил в последнюю минуту, что в квартире 48 живет бывшая генеральша. Дед мой, тот самый генерал, был сыном бедного священника Нижегородской губернии и пешком пришел в Санкт-Петербург, чтобы учиться в университете. Он получил экономическое образование и был главным экономистом фронта в первую мировую войну, действительный статский советник. Ему «повезло» умереть собственной смертью в 1925 г. от семейной грудной жабы. Мой отец имел мужество выхлопотать перевод бабушки из Воронежа в Иваново, где он работал. Иваново — город нашей семейной судьбы...

Бабушка, отбыв срок, вернулась в Ленинград перед самой войной и отказалась эвакуироваться: «По своей воле никуда больше не поеду», чем обрекла на голодную смерть и себя, и дочь Ольгу (подругу детства моей матери) с мужем. Две их дочери случайно пережили зиму 1941 г., были эвакуированы по «Дороге жизни» и достались тете Анечке. Муж тети Анечки, Всеволод Васильевич Успенский, тоже был посажен в 1938 г., просидел год в подвалах Большого дома на Литейном, но попал в число счастливых, освобожденных в связи с разоблачением Ежова. Его освобождение было результатом страшной лотереи, т. к., по его словам, выпускали по спискам — десять человек на волю, а десять — на расстрел. Друг отца и всей его семьи, Николай Михайлович Воскре-

сенский, тоже биолог, был арестован в 1930 г. и провел восемь с половиной лет на Беломоро-Балтийском канале. А незабвенная теть Танечка, Татьяна Дмитриевна Гончарова, урожденная Бубнова, принадлежавшая к высшей военно-морской знати Петербурга и присутствовавшая при отречении царя в ставке! Ее мужа, Владимира Георгиевича Гончарова, сажали четыре раза, и она четырежды (!!!) — что перед нею подвиги декабристов — находила и спасала его. Самым страшным был последний арест накануне войны. Она с большим трудом нашла его следы, используя «высокие» связи, и в декабре 1942 г. бросила свою уютную квартиру, где она спасала от голода компанию приятельниц, организовав на дому знаменитый цех и получив для всех литерные карточки. Последним рейсом, прихватив девять «тючков» с дороги для Володички вещами, она отплыла по замерзающему Енисею из Красноярска на Подкаменную Тунгуску, куда он был выслан после тюрьмы. Она нашла его умирающим, потерявшим человеческий облик, и потратила шесть месяцев, чтобы вернуть ему способность писать и расположить население глухой деревушки к ссыльному «врагу народа». Теть Танечка не знала страха перед кагэбэшниками и всегда утверждала, что, если им хорошо заплатить, все возможно. Родного брата Владимира Георгиевича, Леонида Георгиевича Гончарова, спасти не удалось: прослужив верой и правдой родному Отечеству в военно-морских силах и в первую, и во вторую мировую войну, он был арестован в 1948 г. в Ленинграде за отказ вступить в партию и расстрелян. Надо остановиться: эту тему исчерпать не удастся... Я не кончила еще перечислять кровных и некровных родственников, а список друзей и знакомых раза в три больше...

Количество функционеров КГБ, людей, продавших душу за тридцать сребреников, настолько возросло, что качество народа ощутимо упало. Каждый человек, встав на нетвердые еще ножки и начав спускаться по лестнице греха, проходит стандартные, давно описанные в литературе ступени. Вполне индивидуальна только глубина, на которую спускается каждый, и зависит она от многих факторов, которые не место и не время обсуждать в этом труде малого формата, написанном с заданной целью. На этой лестнице есть незримая граница, переход которой летален для души человека, делая ее нечувствительной к восходящим токам внутреннего и внешнего порядка. В жизни государств и народов наступают иногда эпохи массового преодоления этой границы, и под водительством сатаны начинает разыгрываться страшный матч: команда убийц против команды обреченных. Вляпавшись в команду убийц из самых разных побуждений, большинство игроков, я думаю, были бы не прочь вылететь из

команды при гарантии их личной безопасности. Грязный, убийственный для души и тела «труд», презрение мужественных, воспаривших над своим рабским страданием одиночек — ведь это не могло их не допекать в определенные минуты жизни. «Призвание» к такой деятельности, уверена, могли чувствовать единицы, а их были бессчетные тысячи.

Команда убийц против команды обреченных... Обреченные со сродниками стинули, убийцы размножились и благоденствуют уже во втором и третьем поколениях. Мудрая разрушительная сила Антихриста перстами КГБ набросила удавку на хрипящее горло России и равномерно, безостановочно стягивает ее все туже... Дважды Россия смогла вылечиться от такой душевной болезни, пройдя дорогой покаяния и очищения — во времена татарского ига и в Смутное время. Сумеет ли очиститься в третий раз?

Господи Иисусе Христе, Пресвятая Матерь Богородица, покровом своим, светлым и пречистым, яко ризами, покрыте и защитите страну мою поруганную, народ ее униженный, семьи больных моих страждущие, сотрудников и друзей моих бедных и семью мою, на грани раздражения стоящую, спасите и сохраните, благословите и помилуйте, и не дайте пасть в бездну сатанинскую, но даруйте свет для возрождения и любви...

Остается досказать немногое. Я послала еще раз запросы в Центральный архив КГБ и в Иваново. Из Центрального архива дважды с разницей в несколько недель получила совершенно идентичные послания: «...документальными материалами о смерти и месте захоронения Вашего родственника не располагаем». Из Иванова же пришел пространный ответ: «В архиве Управления МБ РФ по Ивановской области сведений о том, где и в какое время был приведен приговор в исполнение в отношении Вашего отца Краснопольского Павла Павловича не имеется. Вместе с тем документы, относящиеся к 1956 году, по поводу регистрации смерти Краснопольского П. П. (стр. 86 — 88 арх. уголовного дела № 3207 — П) были составлены в УКГБ по Московской области и Московским РОМ. Поэтому, когда встал вопрос об оформлении истинного свидетельства о смерти Краснопольского П. П., нами было направлено извещение в УМБ РФ по г. Москве и области и на основании его Чертановским отделом загса были внесены изменения о времени, причине и месте его смерти. Другой информации не имеется». Я не стала объяснять дорогому начальнику подразделения управления, что документы в 1956 г., «когда встал вопрос», потому были составлены в УКГБ по Московской области, что вдова расстрелянного проживала в Московской области (что он сам мог выяснить, прочитав «дело»), и что это не является осно-

ванием для внесения в официальный документ непроверенных данных. Бесплезно... Многое удалось узнать с 1988 по 1993 гг., но количество этой информации несоразмерно с тем количеством вопросов, которые она порождает. Ответы на них хранятся в МБ РФ, Управлении по Ивановской области, в делах жертв, проходивших по вымышленному делу о Русской фашистской партии...

* * *

Конец. Должна сообщить, что все, здесь написанное, писалось в большой спешке и урывками с июля 1993 г. по февраль 1994 г. Это действительно так, но содержание текста в большей части является содержанием моей жизни, и можно сказать, что я писала этот текст с тех пор, как стала самостоятельно осмыслять историю — страны и семьи. Многое из того, что было осмыслено и сформулировано за мою сознательную жизнь, вошло в эти записки, включая и «литературцину», которой, к сожалению, оказалось слишком много и которая, по-видимому, присуща моему способу мыслить. Решение написать пришло в начале марта 1993 г., вернув мне силы жить. Сначала хотела найти журналиста-профессионала и, можно сказать, нашла. Но после второго посещения Лубянки поняла, что прикосновение чужих, пусть самых доброжелательных, рук к семейной трагедии вызовет у меня физическую боль, да и разговаривать на эту тему я просто ни с кем не смогу, валентностей не осталось. Вот и написала сама. Имея профессиональную необходимость и привычку писать, думала справиться с этим за неделю, но первоначальный замысел чудовищно изменился, материал вышел из-под контроля и стал диктовать свои права. И вот лежит передо мной это пухлое детище, вызывая чувство полного отчуждения и понимания его несовершенства. Исходно оно писалось с единственной целью — свидетельствования. Но я не преодолела себя, не смогла удержаться в этих рамках, присовокупив к свидетельству и исповедь, и покаяние. В этих записках слишком много меня, и это свидетельствует против меня, и я не ишу снисхождения. Исповедь исключает литературные правки, прихорашивание убавляет правду, в том числе и об авторе. Насколько плох автор, настолько плохи и эти записки. Это — их первая и последняя редакция...

И еще. Эти записки я пишу за двоих, оставшихся в живых. Но второй изнемог в пути, и эти записки — последнее ядро в моем арсенале и последняя надежда, слабая надежда, почти отсутствие надежды — возродить его дух для грядущей встречи с отцом...

ТРОЙКА ПОСТАНОВИЛА: РАССТРЕЛЯТЬ*

Был бы человек — статья найдется.

Лагерный фольклор

В последние годы увидели свет сборники документов и материалов о массовых незаконных репрессиях советского государства против своих граждан**. Как в центральных, так и в местных архивах отложились важные свидетельства, создающие документальную базу для будущих исследователей. Не вызывают сомнений важность и необходимость продолжения подобных публикаций.

В настоящем номере журнала мы продолжаем печатать отрывки из архивно-следственных дел 1937—1938 гг., хранящихся в архиве Московского УМБ РФ.

Данная публикация отличается от предыдущей по составу отобранных дел. В первой были представлены дела людей разных социальных категорий (крестьяне, священник, инженер, рабочий, учитель, буржуазный политический деятель). Здесь материалы разделены на две части: дела, отражающие репрессии по национальному признаку (против латышей), и дела, иллюстрирующие известный факт о фальсификации следственных материалов, о полном забвении работниками НКВД понятия законности.

* Начало см.: «Воля», № 2 — 3, 1994.

** Неуслышанные голоса. Документы Смоленского архива. Смоленск. 1987. Возвращенные имена. Т. 1 — 2. М., 1989. Возвращение памяти. Новосибирск. 1991. Сопrotивление в ГУЛАГе. М., 1992. ГУЛАГ в Карелии. Сборник документов и материалов. Петрозаводск. 1992. Черные дни русского православия. Тюмень. 1992. Так это было. Т. 1 — 3. М., 1993. Не предать забвению. Книга памяти... Ярославль. 1993.

I

Первая большая миграция латышей в Россию была обусловлена эвакуацией промышленности Прибалтики в связи с событиями первой мировой войны. В Москве обосновались несколько тысяч рабочих и служащих из Риги и других городов Латвии. После окончания гражданской войны в Москве оказались многие бывшие «латышские стрелки» — бойцы и командиры воинских частей, сражавшихся в рядах Красной Армии. Ставшие москвичами латыши объединились в своих двух клубах, в культурно-просветительском и хозяйственно-издательском обществе «Прометей», у них возникли своя латышская библиотека, свой театр и «Бюро латышских стрелков». К концу 30-х годов в Москве насчитывалось более 10 000 латышей.

Когда в 1937 году начались массовые репрессии, НКВД не составило большого труда произвести аресты латышей — их фамилии имелись в списках членов латышских обществ, читателей библиотеки, в штате театра.

Всем арестованным латышам предъявлялись стандартные обвинения — следователи руководствовались указаниями наркома Ежова «о раскрытии антисоветского подполья среди латышей». Арестованный в начале 1939 г. начальник Московского УНКВД А. П. Радзивилловский, давая показания против Ежова, сказал: «...я спросил Ежова, как практически реализовать его директиву о раскрытии антисоветского подполья среди латышей, он мне ответил, что стесняться отсутствием конкретных материалов нечего, а следует наметить несколько латышей из членов ВКП(б) и выбить из них необходимые показания...» Зам. наркома НКВД М. П. Фриновский рекомендовал «в тех случаях, если не удастся получить признания от арестованных, приговаривать их к расстрелу даже на основе косвенных свидетельских показаний или просто непроверенных агентурных материалов» (дело... П — 26321).

ДЕЛО № Р — 10959

СПРАВКА НА АРЕСТ

3 отд. УГБ УНКВД МО арестовывается бывш. зам. председателя латышского культурного общества и издательства «Прометей» БЕРНОВСКИЙ Фриц Иванович, 1889 г. рождения, уроженец Тукумшинского уезда Курляндской губ.

(Латвия), подданный Латвии, прибыл в СССР в 1927 г. по обмену политзаключенных...

Установлено, что Берновский Ф. И., работая в должности зам. председателя культурного общества «Прометей», имел связь с ныне арестованным за шпионаж Данишевским. Кроме того, занимался насаждением в издательстве «Прометей» классово чуждых элементов и троцкистов, за что 2/ХІ-37 г. исключен из членов ВКП(б)*.

На основании изложенного Берновский Ф. И. подлежит аресту.

Нач. 3 отд. УГБ УНКВД МО
капитан ГБ (Сорокин)

Нач. 8 отд. 3 отд. УГБ УНКВД МО
сержант ГБ (Каверзнев)

ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА БЕРНОВСКОГО Ф. И. от 16.ХІІ.1937 г.

Вопрос. Вы арестованы как активный участник подрывной а/с деятельности... есть достаточное количество материалов, полностью доказывающих вашу вину. Поэтому всякое заpiresательство бесцельно.

Ответ. Я признаю свое участие в активной а/с работе... В 1931 г. Данишевский К. К., бывш. председатель общества «Прометей»... зная о моих националистических и а/с убеждениях, сообщил мне, что в СССР среди латышей существует а/с организация, и предложил мне принять активное участие в а/с работе... используя общество «Прометей», его местные отделения и связи с латышскими колхозами и с латышами, работающими на промышленных предприятиях... Задача а/с ячеек в колхозах заключалась в том, чтобы привлекать в а/с организацию новых лиц, уничтожать скот, организовывать поджоги зерна и складов и готовить людей... которые были бы способны во время войны организовать повстанческое движение в тылу Красной Армии, взрывать ж.-д. мосты и совершать поджоги... Я лично работы по созданию диверсионных и повстанческих ячеек не вел... Моя роль заключалась в том, что я, занимая руководящее положение в обществе «Прометей», об этой работе знал и ее покрывал...

Вопрос. ...Мы предлагаем вам говорить прежде всего о своей практической а/с деятельности...

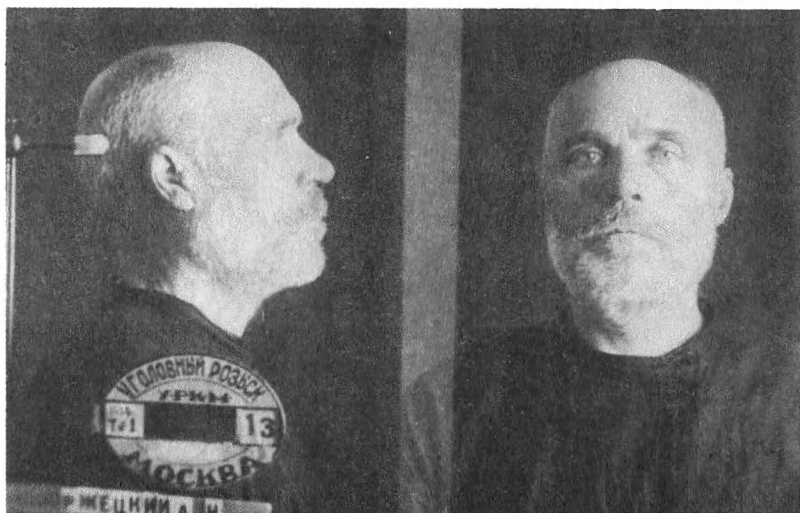
* За 27 дней до ареста. Был членом ВКП(б) с 1909 года. — Прим. Г.В.

Вейдеман Карл Янович



Венге Джон Яковлевич

Ахо Лаури Иванович



Ржецкий Александр Николаевич

Архипова Едokia Сергеевна



Архипов Василий Максимович

Жильцова Ольга Егоровна



Аликин Александр Алексеевич

Ответ. ...Я должен был прежде всего использовать а/с националистические настроения работников общества («Прометей») и склонять их к участию в активной а/с работе...*

Вопрос. Какое положение вы занимали в организации и какую роль в ее практической а/с деятельности вы играли?

Ответ. Я принадлежал к руководящему активу организации в Москве и, пользуясь своим положением в обществе «Прометей», которое являлось главным и основным прикрытием развертывания а/с работы, проводил вербовочную деятельность как на периферии, так и в Москве, участвуя в создании диверсионных ячеек, и фактически руководил всей основной работой по формированию диверсионно-повстанческих ячеек в латышских колхозах... однако я не могу с уверенностью сказать, что мне в полной мере и достаточно конкретно известен весь объем работы, проведенный нашей а/с организацией... т. к. в задачи руководства... входило не столько подробное ознакомление с дислокацией и составом ячеек, сколько подбор основных активных кадров, которые должны были непосредственно создавать эти ячейки.

...Через меня осуществлялось в значительной мере непосредственное финансирование а/с работы в низовых ячейках латышей... путем использования денежных средств общества «Прометей» и «Бюро латышских стрелков»... Деньги официально отпускались, главным образом, латышским колхозам... и проводились по отчетам как израсходованные на покупку кормов, постройку сараев, ремонт квартир (речь шла о сумме 500 000 руб. — *Прим. Г. В.*). «Бюро латышских стрелков», как мне известно, израсходовало... 60 — 65 тыс. руб. под видом расходов на устройство ежегодных вечеров бывш. латышских стрелков...

Наиболее крупные ответвления нашей а/с организации существовали в Ленинграде, Харькове, Сибири, Башкирии и в Западной области... А/с организация располагает кадрами в Красной Армии и среди бывш. латышских стрелков... Диверсионные и повстанческие ячейки формировались через различные каналы, важнейшими из которых являлись:

1. Инструкторский аппарат общества «Прометей», связанный с латышскими культурно-просветительскими организациями на местах.

2. Латышские клубы, прежде всего в Москве, Ленинграде, Смоленске, а также в других городах.

* По решению редколлегии журнала решено, как правило, не называть имен людей, на которых давались вынужденные показания. — *Прим. Г. В.*

3. Латышская секция Союза советских писателей, члены которой также часто выезжали на места и имели значительные связи среди латышских националистических а/с элементов...

Общесоюзный центр а/с организации был непосредственно связан с латышским генштабом и правительственными кругами Латвии... связь осуществлялась через членов а/с организации — дипкурьеров НКВД...

Вопрос. ...на каких предприятиях в Москве были созданы диверсионные группы?

Ответ. ...на 1-м ГПЗ им. Кагановича, на 3-де им. Сталина, на 3-де «Каучук»... (Следствию этих показаний мало. — *Прим. Г.В.*) ...задача заключалась в том, чтобы наиболее преданный актив организации отобрать для того, чтобы в нужный момент... провести ряд терактов. ...о том, что было проделано другими участниками а/с организации по созданию террористических кадров, мне не известно, ибо эта работа производилась чрезвычайно конспиративно...

Вопрос. ...неужели вы хотите нас уверить в том, что руководители а/с латышской организации рассчитывали силами этой организации свергнуть советскую власть?

Ответ. Конечно, нет... наша организация была связана с подпольной организацией правых, которая готовит государственный переворот. Задачи латышской а/с организации заключаются в том, чтобы созданные нами террористические, диверсионные и повстанческие группы поддержали при попытке гос. переворота правых.

Допрос прерывается.

Допросили:

помнач. 3 отд. ГУГБ НКВД — капитан ГБ

Волынский

нач. 6 отд. 3 отдела ГУГБ — капитан ГБ

Бриль

(Впечатано. — *Прим. Г.В.*):

п/оперуполном. 6 отд. 3 отдела ГУГБ

Якобсон

(В деле № Р — 10959 имеются копии протоколов допросов других обвиняемых — латышей).

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА обвиняемого ОЗОЛИНА Карла Бренцовича от 1.XII.37 г.

Вопрос. В каких латышских организациях, помимо общества «Прометей», проводилась националистическая и шпионская работа?

Ответ. С 1935 г. для успешного разворота националистической работы и сколачивания диверсионных групп в Москве латышская контрреволюционная организация широко использовала латышский сектор КУНЗа до его закрытия*, латышский театр «Скатувэ»** и центральный латышский клуб***, в кружки которого было привлечено значительное количество латышей — рабочих военных и промышленных предприятий...

...в Москве латышская контрреволюционная организация наряду с привлечением латышских националистов в контрреволюционных шпионских целях использовала также отдельных лиц из латышского землячества, общества старых большевиков, антисоветски настроенные группы латышских литераторов, а также бывших латышских партийных работников, порвавших с партией, исключенных из ВКП(б) и троцкистов.

Вопрос. Вам известны предприятия, на которых созданы диверсионные ячейки?

Ответ. В своей практической контрреволюционной работе я к этому вопросу отношения не имел и поэтому точно ответить затрудняюсь...

ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА обвиняемого ЛАЦИСА-СУДРАНСА Мартына Ивановича от 2.XII.37 г.

Ответ. ...работой по организации националистической пропаганды руководили я, Лацис, Берновский... вся практическая работа по подготовке и организации намечавшихся терактов над членами правительства и Политбюро ЦК ВКП(б) была поручена членам союзного центра...

Вопрос. Каково количество привлеченных к работе?

Ответ. ...это можно установить более или менее точно по спискам, имеющимся в обществе «Прометей» и в латышском клубе, где велся учет т. наз. латышей активистов и юридических членов клуба и общества «Прометей»... своей

* Коммунистический университет нацменьшинств Запада им. Ю. Ю. Мархлевского был открыт в 1921 году и закрыт в 1936 году.

** Латышский театр-студия был основан в Москве в 1919 году. В 1932 году преобразован в Государственный театр.

*** Был организован после Февральской революции. В начале 20-х годов развернул активную работу (считался самым многочисленным и деятельным среди национальных клубов Москвы), размещался на углу Б. Дмитровки и Страстной пл. (в одном доме с «Прометеем»). См.: Клубы Москвы и губернии. М., 1926 г.

работой об-во «Прометей» и латышский клуб охватывали в 1937 году до 10 000 латышей. Количество привлеченных для диверсионной работы по Москве должно быть близко к 300 — 400 чел.

Моя к/р деятельность шла по линии Союза латышских писателей, где были объединены латышские писатели-националисты...

...участниками к/р организации были... кроме «Прометей» и клуба-редакции газеты «Коммунара Циня» журнал «Пелтне», Коммунистический университет национальных меньшинств, латышская секция Коминтерна.

Вопрос. ...откуда получали деньги?

Ответ. Наша к/р организация... расходовала до 2 миллионов руб. в год, средства эти добывались от работы хозяйственных предприятий общества «Прометей», которые вырабатывали вечные перья и счетные логарифмические линейки... деньги получали от акц. обществ «Лесопродукт» и «Продукт»...

Допросили: Нач. 3 отд.

ГУГБ УНКВД МО капитан ГБ
П/нач. 3 отд. ст. лейтенант ГБ

Сорокин
Ракитин

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА обвиняемого ЦЕЛЬМСА Арвида Яковлевича от 5.XII.37 г.

...В обществе «Прометей» и «Бюро латышских стрелков» велась работа по истории латышских стрелков... При обществе «Прометей» существовало два «Бюро латышских стрелков» — центральное и московское... Официально в функции Бюро входило собиание материалов по изучению истории частей латышских стрелков в гражданской войне, фактически здесь была сосредоточена вся разведывательная работа нашей к/р организации... членами которой являлась группа бывших студентов КУНМЗа, работавших в «Прометее».

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА обвиняемого КЛЕВЕРА Адольфа Ивановича от 5.XII.37 г. (бывший председатель Фрунзенского райсовета)

...В начале 1936 г. во время прохождения сессии ВЦИКа я с Дризула (секретарь Фрунзенского райкома ВКП(б). — *Прим. Г. В.*) получили извещение, что нам будут предоставлены пригласительные билеты на сессию в Кремль (решили

осуществить теракт против Сталина. — Прим. Г. В.), но были предупреждены, что в Кремль с оружием являться запрещается, в силу чего наш план выполнить не удалось... Мы очень сожалели об этом, но... брать с собой оружие не решались, т. к. боялись, что при проверке можем быть задержаны и провалить организацию...

**ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА
обвиняемого ЗАНДРЕЙТЕРА Эдуарда Яновича
от 18.XII.37 г.**

**(бывший председатель ревизионной комиссии
акционерного об-ва «Лесопродукт»)**

Вопрос. Для какой цели вы были направлены Берновским для работы в Центральный архив Красной Армии?

Ответ. ...в Центральном архиве Красной Армии и Военно-историческом архиве имеется ряд ценных документов о гражданской войне в РСФСР и Латвии, которые необходимо изъять, а с некоторых снять копии... изъять все документы, освещающие деятельность Ленина, Сталина, Ворошилова в организации Красной Армии в гражданскую войну, а также материалы о военной работе Троцкого, Вацетиса и других латышских командиров в Красной Армии и Латвии за 1918—21 гг., изъятие подлинных документов, относящихся к дооктябрьскому периоду и гражданской войне в СССР, необходимых латвийским разведывательным органам и заграничному троцкистскому центру для освещения роли Троцкого в Красной Армии и гражданской войне и создания ему авторитета за границей. Для выполнения этих заданий в ряде архивов троцкистами и членами нашей организации велась работа по изъятию и копированию документов, которые должны были быть использованы против Сталина, Ворошилова и других руководителей партии.

...Работа по изъятию этих документов требовала больших усилий, так как необходимо было предусмотреть большое количество материалов по истории гражданской войны.

Эта работа проводилась группой членов нашей организации, специально устроившихся для выполнения этих заданий в Центральный архив Красной Армии и Военно-исторический архив.

Перечень изъятых документов:

1. Подлинник телеграфных распоряжений Ленина, адресованных Председателю Советского правительства Латвии Стучка о продвижении латышских частей...

2. Секретная переписка между Троцким и членом Реввоенсовета латышских стрелков Данишевским...

3. Записка главнокомандующего латвийской армии Славена, адресованная в Реввоенсовет Троцкому и Вацетису об исполнении их приказов по вопросу продвижения латышских советских войск с Митавского и Шлокского фронтов в сторону Риги и Двинска.

Я лично занимался копированием ряда документов о деятельности латышских стрелков в Латвии и СССР:

1. Списки комсостава латышских стрелковых частей с указанием их местонахождения, характеристик и прошлых боевых заслуг.

2. Оперативные секретные приказы и сводки о действиях латышских частей...

3. Разведсводки о действиях немецких и эстонских войсковых частей...

4. Материалы о боевом составе латышской Красной Армии с указанием количества дивизий, полков, бригад, их вооружений и командиров.

5. Списки командиров латышских стрелков, осужденных в Советской Латвии и СССР за измену, шпионаж, контрреволюцию и служебно-должностные преступления...

УТВЕРЖДАЮ

ВР/нач. 3 отд. ГУГБ
НКВД СССР
комиссар ГБ 3 ранга
(Минаев)

УТВЕРЖДАЮ

Прокурор Союза СССР
(Вышинский)

Январь 1938 г.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по следственному делу № 7109 по
обвинению гр-на Берновского Ф. И.
в преступлении, предусмотренном
ст. 58-8, 11 п. 1а УК РСФСР

29 ноября 1937 года 3 отделом ГУГБ НКВД СССР арестован и привлечен к ответственности по обвинению в контрреволюционной националистической диверсионно-террористической деятельности Берновский Ф. И., 1889 г. р., бывший член ВКП(б), исключен из рядов партии 2/IX-37 г., до ареста работал зам. председателя правления общества «Прометей» в г. Москве.

Следствием установлено, что Берновский Ф. И., будучи зам. председателя общества «Прометей», являлся активным участником и организатором контрреволюционной — националистической — повстанческо-диверсионной — террористической организации, в которую был привлечен в 1931 г. бывшим председателем общества «Прометей» Данишевским К. К.

По заданию Данишевского Берновский создал среди латышского населения, проживающего в СССР, контрреволюционные националистические ячейки в колхозах и на промышленных предприятиях. Основной задачей являлось: вовлекать новых членов в организацию, уничтожать скот, организовывать поджоги зерна и складов в колхозах. На предприятиях — выводить из строя и портить дорогостоящее оборудование, устраивать аварии, главным образом, обеспечивающие промышленные предприятия электроэнергией.

Наряду с этим по заданию Данишевского им были созданы повстанческие и террористические группы в колхозах и крупных предприятиях г. Москвы, Ленинграда и др. на случай государственного переворота, который готовили правые. Повстанческие группы должны были организовать восстание в тылу Красной Армии, взрывать мосты и совершать поджоги. Террористические группы должны были совершать теракты по указанию руководства организации...

На основании изложенного: Берновский Ф. И., 1899 г. р., уроженец Тукумшинского уезда, Курляндской губ. (Латвия), латыш, гр-н СССР, бывший член ВКП(б), исключен 2/XI-37 г., бывший зам. председателя правления общества «Прометей»

обвиняется в том, что:

а) В 1931 г. был завербован Данишевским в контрреволюционную националистическую, диверсионно-террористическую повстанческую организацию, являясь одним из активнейших ее членов.

б) По заданию Данишевского создал ряд диверсионно-националистических ячеек в колхозах и промышленных предприятиях, которые ставили перед собой задачу уничтожения колхозного имущества, портить и выводить из строя дорогостоящее оборудование на предприятиях.

в) Наряду с этим им были созданы повстанческие и террористические группы в колхозах и предприятиях на случай государственного переворота, который готовили правые, т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. 58 п. 1а УК РСФСР 58-8 и II УК.

Вследствие изложенного, Берновский Ф. И. подлежит преданию суду Военной коллегии Верховного суда СССР, с применением закона от 1 декабря 1934 г.

Виновным себя признал.

Справка: Берновский Ф. И. содержится в Бутырской тюрьме НКВД.

Пом. оп. уп. 6 отделения 3 отд. (Якобсон)

«Согласен»

Нач. 6 отделения 3 отд. ГУГБ НКВД капитан ГБ (Бриль)

**ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА ССР
18.III.38 г. г. Москва**

Председатель Армвоенюрист т. Ульрих
члены: Бригвоенюристы тт. Зарянов и Ждан
секретарь Воен. юрист I ранга т. Батлер
Участвует Зам. прокурора СССР т. Рогинский

Слушали: дело с обвинительным заключением ГУГБ НКВД СССР, утвержденным Зам. прокурора СССР т. Рогинским о предании суду Военной коллегии Верховного суда СССР Берновского по ст. 58-1а, 58-8 УК РСФСР с применением Постановления ЦИК СССР от 1 декабря 34 г.

- Определили:
1. С обвинительным заключением согласиться и дело принять к своему производству.
 2. Предать суду Берновского.
 3. Дело заслушать в закрытом судебном заседании, без участия обвинения и защиты и без вызова свидетелей в порядке Постановления ЦИК СССР от 1.XII.34

Председатель Ульрих

**ПРОТОКОЛ ЗАКРЫТОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ
ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА ССР
19.III.38 г.**

Заседание открыто в 17 ч. 15 мин. (в том же составе, что и на подготовительном заседании. — *Прим. Г.В.*).

...виновным себя признает полностью, полностью подтверждает свои показания, данные на предварительном следствии, и заявляет, что дополнить их ему нечем.

Оглашается приговор.

В 17 ч. 30 мин. заседание закрыто. (Оно продолжалось 15 минут!— *Прим. Г.В.*)

ПРИГОВОР:

в закрытом судебном заседании в г. Москве, 19 марта 1938 г. по обвинению Берновского Ф. И., 1889 г. рожд., бывш. зам. председателя правления общества «Прометей» в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 58-1а, 58-8 УК РСФСР

приговорила:

Берновского Фрица Ивановича подвергнуть высшей мере уголовного наказания — расстрелу с конфискацией всего, лично ему принадлежащего имущества. На основании Постановления ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. настоящий приговор подлежит немедленному исполнению.

СПРАВКА

Приговор о расстреле Берновского Ф. И. приведен в исполнение в Москве 19.III.1938 г. Акт о приведении приговора в исполнение хранится в Особом архиве 1-го спецотдела НКВД СССР, том № 3, лист 117.

Нач. 12 отд. 1 спецотдела НКВД СССР
лейтенант ГБ

(Шевелев)

МАТЕРИАЛЫ К РЕАБИЛИТАЦИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЛАВНОГО ВОЕННОГО ПРОКУРОРА ПО ДЕЛУ БЕРНОВСКОГО Ф. И.

Установлено:

По приговору Берновский признан виновным в том, что он с 1931 г. является участником латышской контрреволюционной организации, в которую был включен бывшим председателем общества «Прометей» Данишевским, создал в колхозах и промышленных предприятиях ряда областей контрреволюционные ячейки для повстанческой, диверсионной и террористической деятельности.

Главный военный прокурор в заключение ставит вопрос об отмене приговора в отношении Берновского и прекращении о нем дела производством по следующим основаниям.

На предварительном следствии Берновский показал, что в контрреволюционную организацию он был вовлечен в 1931 г. Данишевским и по а/с работе имел связь с Рудзутаком, Эйдеманом, Кнориным, которых он относит к числу участников руководящего центра этой организации.

Проверкой установлено, что Данишевский на следствии не говорил о вербовке Берновского в антисоветскую организацию, Рудзукат и Кнорин реабилитированы, а Эйдеман о причастности Берновского к антисоветской организации показаний не давал.

Показания Берновского о том, что при его участии были созданы диверсионно-повстанческие группы в латышских колхозах и на промышленных предприятиях, вымышлены.

Не соответствует действительности и заявление Берновского о привлечении в число членов антисоветской организации нескольких человек...

Приобщенные к делу показания других арестованных... как достоверные доказательства вины Берновского рассматривать нельзя, т. к. они неконкретны и явно противоречат показаниям Берновского.

О порочности показаний этих лиц свидетельствует то обстоятельство, что они, как и Берновский, к числу активных участников к/р организации относили ныне реабилитированных лиц...

Материалы гос. и партархивов, а также допрошенные в процессе проверки свидетели... характеризуют Берновского как активного революционного деятеля Латвии... и что за участие в революционном движении царскими властями он неоднократно подвергался арестам и др. репрессиям.

Кроме того, проверкой установлено, что арест Берновского произведен по преступному указанию Ежова, а бывшие сотрудники НКВД, принимавшие участие в расследовании дела Берновского, впоследствии были осуждены за антисоветскую деятельность.

Таким образом, по делу Берновского вскрылись новые, неизвестные суду обстоятельства, свидетельствующие о том, что Берновский был осужден необоснованно.

Рассмотрев материалы дела и проверки и находя заключение Главной военной прокуратуры необоснованным, соглашаясь с изложенными в нем доводами, Военная коллегия Верховного суда СССР

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Военной коллегии Верховного суда СССР от 19 марта 1938 г. в отношении Берновского Ф. И. по вновь открывшимся обстоятельствам отменить и дело на него производством прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления.

Подлинное за надлежащими подписями

С подлинным верно:

Старший офицер Военной коллегии
старший лейтенант

(Мариничев)

РЕАБИЛИТИРОВАН 3 марта 1956 г.

ДЕЛО № П — 26321

1 января 1938 года в Москве был арестован Карл Янович Вейдеман.

В справке на арест (дело П — 26321) значится:

«3 отд. УГБ УНКВД МО арестовывается Вейдеман Карл Янович, 1897 г. рождения, уроженец г. Венден (Латвия), латыш, гр-н СССР, б/п, бывший латышский стрелок, художник...»

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА

К. Я. ВЕЙДЕМАНА 19 января 1938 г.

Вопрос. Чем вы занимались до Октябрьской революции?

Ответ. В Вендене я работал на торфяных разработках. После переезда в 1910 г. в Ригу поступил в типографию работать на ручной станок, затем поступил учеником в малярную мастерскую... учился на малярных курсах. Учеником пробыл до 1915 г., т. е. до момента эвакуации Риги... я выехал в Петроград. В Петрограде поступил работать в эвакуированный из Риги латышский театр, где работал по рисованию декораций и реклам. По вечерам учился в императорской Художественной школе. В 1916 г. меня взяли в царскую армию рядовым в запасной полк... подал заявление, чтобы меня перевели в латышскую часть... Наш латышский 7-й полк попал на фронт, где и пробыл до Октябрьской революции.

Вопрос. Где вы находились во время Октябрьской революции и что делали?

Ответ. Во время Октябрьского переворота я был на фронте под Ригой... нас направили в г. Вольмар для задержки военных эшелонов, которые направлялись для помощи Керенскому... После некоторого времени... я записался в Сводный отряд по охране Советского правительства в Смольном. С этого момента я считался до февраля 1918 г. красногвардейцем Сводного латышского отряда... В охране я был до 1919 года, сначала в Петрограде, а затем — с переездом правительства — в Москве. В 1918 г. наш отряд бывш. латышских стрелков был переформирован в 9-й полк латышских стрелков, который в начале 1919 г. был отправлен в Тамбовскую губернию, и я был прикомандирован к штабу артиллерии латышской дивизии телефонистом. В начале 1919 г. штаб артиллерийской латышской дивизии был переброшен в Латвию для защиты только что образовавшейся там Советской власти. Оттуда меня вскоре откомандировали обратно в Москву для продолжения учебы в Высшей художественной школе, которую окончил в 1922 г.

Вопрос. Чем вы занимались после окончания художественной школы?

Ответ. ...я Наркомпросом был откомандирован в Германию для изучения классиков и современных художников. В Германии пробыл около 10 месяцев, жена в это время работала в полпредстве в Германии, у нее там и жил. После возвращения из Германии я стал работать как художник по договорам: по оформлению Москвы к праздникам, в Латышском клубе и одновременно руководил изосекцией, в латышском театре рисовал декорации, в ИЗОГИЗЕ, АХРР, Всекохудожник, в «Прометее» и выполнял крупные госзаказы к выставке (видимо, ВСХВ. — *Прим. Г. В.*).

Вопрос. Когда и откуда вы первый раз приехали в Москву?

Ответ. ...в марте 1918 года вместе с переездом Советского правительства.

Вопрос. Перечислите близких ваших знакомых.

Ответ. Знакомых у меня много по обществу «Прометей», латышскому театру и клубу, художники и писатели. Более близких знакомых могу перечислить следующих лиц:

Андерсон Вальдерс Петрович — художник, работал по договорам с организациями, беспартийный. Знаком с ним с 1911 г. Работали мы в арендуемых у «Прометей» мастерских...

Якуб Вильгельм Карлович, знаю с 1934 г., художник, работал по договорам, бывший стрелок, но в секции (б. латышских стрелков. — *Прим. Г. В.*) не состоял, член ВКП(б).

Ирбит Павел — художник, зав. изосекцией «Прометей», знаю с 1918 г.

Шиллер Эдуард — писатель, издавал свои книги в издательстве «Прометей». За последнее время был редактором журнала «Цельтис». В датских частях бывш. стрелок был редактором или главным редактором газеты «Латышский стрелок».

Колпынь Ян — скульптор... Знаком с 1934 г.

Цеплис — писатель, знаю с 1918 г.

Озоль-Преднек Карл Янович — писатель, давно знаком, с 1925 — 26 г.

Пельше — знаю лично с 1928 г. Критик-литератор...

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА

от 27 января 1938 г.

Вопрос. ...прекратите ваше заpiresательство и дайте подробные показания по этому вопросу.

Ответ. ...после долгого и упорного заpiresательства я понял, что скрыть свое участие в к/р националистической организации от следствия невозможно, я решил рассказать искреннюю правду.

Да, я признаю в том, что действительно являлся активным участником фашистской националистической организации латышей, существовавшей в обществе «Прометей»...

Вопрос. С какого времени вы являетесь участником этой организации?

Ответ. ...с 1934 года. (Дата исправлена, было: с 1935 года. — Прим. Г. В.) ...Я был основательно убежден в том, что революция была завоевана только благодаря геройству латышей, главным образом, бывших латышских стрелков, а в настоящий период Советская власть не только этого не учитывает, но даже притесняет латышей...

Вопрос. Что вам известно о задачах к/р националистической организации?

Ответ. ...мне стало известно, что основной задачей к/р националистической организации является свержение существующего строя и установление фашистской диктатуры по типу современной Латвии...

[Практические мероприятия сводились к следующему:]

1. Как в Москве, так же и в других городах, совхозах и колхозах, где концентрируется латышское население, проводить националистическую работу, выявлять а/с и националистические настроения латышей и вербовать в к/р организацию.

2. Среди завербованных латышей, главным образом, молодежи, создавать повстанческие и террористические ячейки и боевые группы, так чтобы в период военных действий начать осуществление терактов против руководителей ВКП(б) и членов Советского правительства, а повстанческие группы должны были наносить смертельные удары в тылу у Красной Армии.

3. Для подготовки террористических и повстанческих кадров необходимо всем участникам пройти стрелковую подготовку через стрелковые кружки.

4. На производствах и крупных объектах оборонного значения создавать диверсионные и вредительские группы с той целью, чтобы во время войны производить диверсии... тем самым ослабить мощь Красной Армии.

Вопрос. Какие практические задания вы получили?

Ответ. Конкретных заданий... я не получил. Были задания к/р порядка, но только в общем виде. Например, в своей художественной работе мне было поручено писать картины в таком стиле, чтобы они имели вид, близко граничащий с контрреволюционным содержанием, делать грубые искажения и обезображивания, что я и выполнял... В одну из поездок в латышский колхоз им. Биркмана Западной обл. Смоленской губ. я нарисовал несколько картин из колхозной жизни так, что жизнь в колхозе рисовалась в мрачном виде. Кроме этого мне поручалось среди антисоветски и националистически настроенных латышей производить вербовку в к/р организацию...

Вопрос. Вы скрываете от следствия настоящую действительность и даете неполные показания. Следствием установлено, что вы являлись активным участником террористической группы, существовавшей среди латышей художников...

Ответ. Да, я действительно пытался скрыть от следствия свое участие в тергруппе... Теперь искренне признаюсь, что я был активным участником тергруппы и по ее заданию проводил все мероприятия, связанные с совершением терактов... и совершения теракта на выставке «Индустрия социализма», которая должна была открыться в ноябре 1937 года... но выставка не состоялась, и теракт был отложен до благоприятного момента...

Допросил оперуполномоченный
1 отд. 3 отдела УГБ МО
сержант ГБ

Мануйлов

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

...Следствием установлено, что Вейдеман являлся участником фашистской националистической организации латышей, существовавшей в обществе «Прометей».

Завербован был в к/р организацию в 1934 году...

Входил в боевую террористическую группу, руководимую художником, б. латышским стрелком Якубом (арестован), и принимал участие в обсуждении планов террористических покушений на членов Политбюро ЦК ВКП(б) и руководителей Сов. правительства...

Виновным себя признал полностью, кроме того, изобличается показаниями других арестованных...

Следственное дело по обвинению Вейдемана К. Я. направить на рассмотрение соответствующих судебных инстанций.

Справка. Обв. Вейдеман К. Я. арестован 17.I.38 г. и содержится в Таганской тюрьме.

Нач. 1 отд. 3 отдела УГБ

ст. лейтенант ГБ

Бурашников

Согласен:

Нач. 3 отдела УГБ УНКВД МО

капитан ГБ

Сорокин

Решением Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 11 фев-раля 1938 г. Вейдеман Карл Янович приговорен к высшей мере наказания (протокол № 128) и в тот же день расстрелян на Бутовском полигоне.

РЕАБИЛИТИРОВАН 15 сентября 1956 года.

После того как осенью-зимой 1937 года и начале 1938 г. прошли массовые аресты латышей и начальник 3-го отдела УНКВД по МО И. Г. Сорокин мог похвалиться перед товарищами по работе тем, что «в латышском клубе «Прометей» все латыши арестованы, включая швейцара», чекисты продолжали охотиться за латышами еще весной 1938 г.*

11 марта 1938 г. был арестован эмигрант из США, слесарь завода ЭМОС Джон Яковлевич Венге (дело № 26536). В анкете арестованного было записано, что он родился в 1875 г. в Риге,

* См. журнал «Воля» № 2 — 3, 1994, с. 76. 13 августа 1939 г. Военным трибуналом войск НКВД МВО Сорокин был приговорен к расстрелу.

латыш, происходит из крестьян. В 1905 г. примыкал к партии РСДРП, беспартийный, родственников не имеет.

ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА, который проводил сержант ГБ Чечеткин

15 марта 1938 г.

Вопрос. Каким репрессиям подвергался после революции в США?

Ответ. Два дня находился под арестом за участие в забастовке.

Вопрос. Когда и каким образом вы приехали из США в Советский Союз?

Ответ. ...в июле м-це 1932 года как интурист.

Вопрос. На каких предприятиях вы работали в СССР?

Ответ. С августа 1932-го по февраль 1934 г. я работал на строительстве метро, в начале проходчиком, а затем слесарем. С марта 1934-го по день своего ареста — на заводе ЭМОС, слесарем.

Вопрос. Вы обвиняетесь в том, что, проживая в СССР, вы вели к/р работу...

Ответ. Да, признаю...

Вопрос. Какую к/р работу вы вели?

Ответ. Я входил в состав шпионско-диверсионной террористической националистической латышской организации.

Вопрос. Кто и когда завербовал вас в эту организацию?

Ответ. ...Анен, в 1937 г. Анен, латыш, бывший зав. Латышским клубом. Познакомился я с ним в Латышском клубе в феврале 1936 г. ...Он часто беседовал со мной на политические темы, расспрашивал о жизни в США. Во время этих бесед я высказал свое враждебное отношение к Советской власти.

Вопрос. ...расскажите о задачах националистической организации.

Ответ. ...цель националистической организации — борьба против Сов. власти. Методы борьбы — диверсии, шпионаж, террор и вооруженное восстание. Через латышский клуб «Прометей» установить связь со всеми латышами, проживающими в СССР, которые по особому сигналу могут поднять массы внутри Советского Союза против Сов. власти... вооруженное восстание... во время войны Советского Союза с капиталистическими странами... а в случае разгрома Советского Союза Латвия получит территории за счет СССР.

Вопрос. Какое вы получили задание?

Ответ. ...чтобы я поступил на автозавод им. Сталина для подготовки там диверсионного акта. Кроме этого, вести а/с агитацию... и восхвалять жизнь трудящихся в капиталистических странах.

Вопрос. У вас были попытки поступить на автозавод им. Сталина?

Ответ. Да, были... Я хотел поступить на автозавод им. Сталина в конце 1937 г. Но ввиду ареста латышей меня на завод не приняли.

В обвинительном заключении по следственному делу Венге Джона Яковлевича, обвиненного по ст. 58 п.п. 6 и 11 УК РСФСР читаем:

...Следствием установлено, что Венге Джон Яковлевич является активным участником шпионско-диверсионной националистической латышской организации... Венге Д. Я. по заданию организации пытался поступить на автозавод им. Сталина для осуществления диверсионных актов...

Постановил: Следственное дело по обвинению Венге Д. Я. по ст. 58 п.п. 6 и 11 УК РСФСР передать на рассмотрение судебных инстанций.

Справка. Венге Д. Я... содержится в Таганской тюрьме.

Особое совещание при НКВД 19 мая 1938 г. вынесло приговор о ВМН. Венге Д. Я. был расстрелян на Бутовском полигоне 28.5.38 г.

РЕАБИЛИТИРОВАН 11 сентября 1989 г. по Указу Президиума Верховного Совета от 16 января 1989 г.

II

После просмотра сотни архивно-следственных дел (мне довелось работать в группе, готовившей к публикации «расстрельные списки»)* становится очевидным, что судьба арестованного была предрешена. Как правило, уже в справке

* С марта 1993 года группа официально стала называться «Группа по увековечению памяти жертв политических репрессий при Комиссии Моссовета по делам необоснованно репрессированных».

на арест содержалась формула будущего обвинения. Следователям, имевшим директиву закончить следственные дела в три, максимум — в пять дней и после этого передать их тройке, оставалось оформить протоколы (иногда один!) допросов, любым путем добиться подписи обвиняемого. Известно, и многие дела подтверждают, что часто следователь выступал как бы в двух лицах: сам задавал вопросы и сам же на них отвечал. Тому много примеров.

Рабочий-финн Лаури Иванович Ахо отказался подписать анкету арестованного, ссылаясь на то, что не владеет русским языком, что следователем и было записано в примечании к анкете (дело П — 60411). Тем не менее допросы велись на русском языке без переводчика и «ответы» обвиняемого записывались тоже по-русски. В конце каждой страницы протокола, как положено, значится: «Протокол записан с моих слов верно и мне прочитан», после чего следует подпись латинскими буквами — Аho. Бросается в глаза, что графика букв подписи от страницы к странице становится все менее четкой.

Ахо Л. И., 1896 г. рождения, приехал в СССР из США как политэмигрант. Работал столяром на строительстве Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Был арестован 4 февраля 1938 г., а справка на арест была утверждена зам. наркома начальником УНКВД МО Заковским только 21 февраля. В справке было написано, что Ахо «является участником контрреволюционной шпионской террористической националистической организации, действующей по заданию одной иностранной разведки». Этот, широко используемый набор обвинений-штампов фактически и был приговором.

В обвинительном заключении по сравнению с текстом справки на арест вместо слова «националистической» введено уточнение «организация финнов» и добавлено: «Собирал шпионский материал оборонного и военного характера». Комиссия НКВД и Прокуратура СССР на заседании 19 мая 1938 г. постановила: Ахо Лаури Ивановича расстрелять.

Еще пример.

8 марта 1938 г. по постановлению тройки при УНКВД МО были расстреляны четверо жителей села Горетово Луховицкого района Московской обл.: РЖЕВСКИЙ Александр Николаевич, 1879 г. рожд. — священник церкви с. Горетово, АРХИПОВА Евдокия Сергеевна, 1886 г. рожд., малограмотная — церковный староста, АРХИПОВ Василий Максимович, 1876 г. рожд., малограмотный — псаломщик и ЖИЛЬЦОВА Ольга Егоровна, 1887 г. рожд., малограмотная — колхозница.

Все они обвинялись в антисоветской и антиколхозной агитации (на основании негласных допросов свидетелей). Виновным себя никто не признал (дело П — 55103). Допрашивал арестованных оперуполномоченный Луховицкого отделения милиции мл. лейтенант Кочетов. В протоколе допроса Е. С. Архиповой он записал ответ на не заданный им вопрос. Так составлялись протоколы допросов, на основании которых людям выносили смертные приговоры.

Приведу другие свидетельства того, каким образом следователи получали подписи обвиняемых под протоколами допросов.

Когда летом 1938 года Сталин распорядился сменить руководство НКВД и к власти пришел Берия, началась «чистка» аппарата наркомата. Чтобы собрать материал для привлечения к ответственности «за незаконные методы ведения следствия» сотрудников НКВД, работавших при Ежове, в некоторые лагеря были направлены следователи для допроса осужденных и выяснения того, как велось их следствие.

ДЕЛО П — 61595

В августе 1939 г. в Усольлаге были допрошены несколько женщин-гречанок, осужденных «за принадлежность к шпионско-диверсионной группе, существовавшей в Кунцевском районе Московской области» (дело П — 5).

ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА СИДЕРОПУЛО Надежды Панайоровны, 1919 г. рожд., уроженки Красноярска, гречанки, греческой подданной, заключенной Усольлага...

...я отказалась подписать, тогда Петушков стал меня уговаривать, чтобы я подписала, говорил: «Нам так надо, этого требует партия», что он знает о том, что я ни в чем не виновна, однако протокол подписать должна как сознательная советская девушка... Каретников рукой нанес мне побои в голову до потери сознания, потом дал мне ручку с пером, и я в таком состоянии подписала протокол допроса...

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА

от 11 августа 1939 г.

заключенной Усольлага ЛИГЕРОПУЛО Евгении Евстафьевны,
1908 г. рожд., уроженки станицы Абинской Кустанайской
области, гречанки, греческой подданной

Вопрос. На допросе 3 арта 1938 . вы дали показания о том, что Костаки Е. Э. и Папахристуло Л. Э. являлись участниками шпионско-диверсионной группы, существовавшей в Кунцевском районе Московской области...

Ответ. ...таких показаний я не давала и категорически отрицаю это. Подписала я лишь потому, что меня уговаривал следователь подписать протокол... грозил мне избиением, и я вынуждена была подписать так же, как и сидящие со мной в это время в камере, то есть подписать протокол лжи и вымысла...

Проходившую по «Кунцевскому делу» заключенную ГАЗЕЛРИДИ Екатерину Андреевну, осужденную на 8 лет ИТЛ, 19 июля 1939 г. допросили в Магадане.

ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА

...О существовании контрреволюционной организации в Кунцевском районе мне стало известно на следствии в Москве... Когда меня арестовали и вызвали на допрос, то следователем Каретниковым мне был предъявлен готовый протокол допроса, который Каретников предложил мне подписать... Ни о существовании названной шпионской организации, ни людей, входящих в нее по подписанным мною показаниям, я не знаю и не знала и участницей этой организации не была...

ДЕЛО П — 66272

При проверке материалов реабилитации АЛИКИНА Александра Алексеевича, 1894 г. рожд., инженера по образованию (дело П — 2) в октябре 1955 г. военный прокурор МВО генерал-майор юстиции Рыжиков, изучив материалы следственного дела, нашел, что «фактически, как видно из показаний Аликина, вину свою... он отрицал... показания Аликина записывались необъективно».

А. А. Аликин — пом. начальника 1-го паровозного отделения ст. Москва Западной ж. д., осенью 1937 г. был арестован Дорожно-транспортным отделением ГУГБ НКВД Западной ж. д. среди 172 железнодорожников (от начальника дороги до дорожного мастера). Арестованные обвинялись в участии в антисоветской правотроцкистской организации и проведении диверсионно-вредительской работы на Западной ж. д. В обвинительном заключении было записано, что все привлеченные по этому делу признали себя виновными и подтвердили виновность остальных «членов организации».

Имеются сведения, что массовое применение пыток в следственных тюрьмах началось 17—18 августа 1937 года. Решением тройки при УНКВД МО от 19 марта 1938 г. А. А. Аликин был приговорен к ВМН и расстрелян в поселке Бутове.

*Публикацию подготовила
ГАЙРА ВЕСЕЛАЯ*

РАССТРЕЛ ПО ЛИМИТУ

В народной памяти 1937 — 1938 годы остались как одни из самых кровавых в советской истории. По официальным данным, в это время за контрреволюционные преступления (ст. 58 УК РСФСР) по стране были репрессированы 1 миллион 345 тысяч человек, в том числе 681 692 приговорены к расстрелу.

В ТАССР в эти годы, согласно отчетам НКВД, были арестованы свыше 10 тысяч человек (по моим подсчетам — 11 806 человек). Многие сотни людей были арестованы также Дорожно-транспортным отделом (ДТО) ГУГБ НКВД Казанской железной дороги, входившим в соответствующую структуру союзного НКВД.

В ходе так называемой «кулацкой операции» по приказу Ежова № 00447 были арестованы 5362 человека. Из них бывших кулаков — 3009, представителей духовенства — 370, прочего «контрреволюционного, антисоветского и соц. чуждого элемента» — 1597. Были арестованы также 756 уголовников, 350 из них расстреляны.

Арестованных в Татарии судила тройка, специально созданная на время кулацкой операции решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 2 июля 1937 года. Первоначально ее утвердили в составе 1-го секретаря обкома ВКП(б) Лепа, второго секретаря обкома Мухаметзянова и замнаркома ТатНКВД Ельшина. Лепа участия в работе тройки не принимал, а утвердивший несколько расстрельных приговоров Мухаметзянов в октябре 1937 года сам был арестован и впоследствии расстрелян. С середины осени тройка собиралась в почти неизменном составе: Михайлов, нарком внутренних дел ТАССР, Алемасов, 1-й секретарь Татарского обкома ВКП(б), и Динмухаметов, и. о. председателя ТатЦИК.

Таттройка провела с 23 августа 1937 года по 6 января 1938 года 165 заседаний, осудив на расстрел 2570 человек и еще 2792 человека к длительным срокам заключения в концлагерях: как правило, к 10 годам, много реже — к 8 годам.

Осенью 1938 года по приказу Ежова № 00606 была организована уже особая тройка. В ее состав вошли Михайлов,

Алемасов и прокурор ТАССР Перов. За четыре дня заседаний (2 и 14 октября, 3 и 14 ноября) она приговорила к расстрелу 217 человек и отправила в концлагеря еще 29.

Число репрессируемых устанавливалось произвольно — по мотивам властей. Но цифра эта, будучи согласованной с обкомом ВКП(б), а затем утвержденной Политбюро и союзным НКВД, приобретала характер планового задания. А план в СССР был законом! Эти задания («лимиты»), правда, также корректировались по взаимному согласованию, но всегда лишь в сторону увеличения.

Так, первоначальный «лимит» по Татарской АССР был установлен в 2000 человек, из них 500 человек по I категории (расстрел). По мере расширения репрессий «лимит» все увеличивался и в итоге составил по «кулацкой» операции 5350 человек. Но и эта страшная цифра была «перевыполнена».

Для «оперирования» такого огромного числа репрессируемых было создано 9 опергрупп. В связи с нехваткой оперативных работников НКВД была объявлена, как в годы гражданской войны и коллективизации, партмобилизация. Наиболее проверенные партийцы были приданы чекистским опергруппам и выехали в районы на боевое задание.

В фонде документов НКВД ТАССР сохранилась жалоба одного из партмобилизованных на трудное материальное положение в связи с тем, что некоторые из коммунистов не успели перед отправкой получить командировочные по месту работы (все партмобилизации, как водится, осуществлялись за государственный счет), а на месте их не ставили на довольствие. Связанные подпиской «о неразглашении», они не могли письменно указать цель своей командировки. Вот и жаловались партийцы в родные органы на бухгалтеров-формалистов, просили довести до них соответствующие указания...

В соответствии с разверстанными НКВД ТАССР цифрами районные отделения составляли списки репрессируемых, которые визировались секретарями райкомов партии. Последнее, впрочем, не уберегало и их от репрессий по обвинению в тех же контрреволюционных преступлениях.

На арестованных спешно заводились следственные дела, которые направлялись в Казань, где заочно вершилась расправа. Засудить в день свыше 200 человек для Таттройки было делом обычным. Наиболее «расстрельными» выдалась заседания 28 октября 1937 года (256 человек были приговорены к высшей мере «социальной защиты») и 6 января 1938 года, в последний день операции, 202 расстрельных приговора.

...Почти одновременно с областными и республиканскими тройками в Москве была создана центральная двойка в составе наркома Ежова (иногда его заменял замнаркома Фриновский) и прокурора СССР Вышинского.

Двойка выносила приговоры шпионам и диверсантам сопредельных иностранных государств (от Финляндии на севере до Японии на востоке). Таких шпионов стали спешно и в массовых масштабах «выявлять» на местах. Местные НКВД высылали в Москву списки, а Ежов с Вышинским заочно определяли меру репрессии — расстрел или концлагерь. С учетом приговоров, вынесенных военными трибуналами и Военной коллегией Верховного суда СССР по тем же делам военнослужащих, в ТАССР в 1937 — 1938 годах было всего осуждено за шпионаж 765 человек.

В шпионы и диверсанты чаще всего попадали даже не выходцы из сопредельных с СССР государств, а советские граждане, родившиеся на территориях, отошедших после 1917 года от России, а также их родственники, сослуживцы, соседи, знакомые и другие ни в чем не повинные люди. В списках мне не удалось найти ни одного английского или американского шпиона, поскольку «железный сталинский нарком» Ежов по каким-то причинам не издал соответствующего приказа. Зато были репрессированы «шпионы» иранские и греческие — на их розыск приказы были даны...

Массовые аресты потребовали и организации массовых казней. Они проводились в Казани, а также в Бугульме, Елабуге, Куйбышеве (районном) — ныне Булгар, Мензелинске и Чистополе: по месту расположения штабов опергрупп и, соответственно, тюрем.

Наиболее массовым был расстрел в Чистополе накануне XX годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 4 ноября 1937 года, — были расстреляны 88 человек. В Казани с 9 по 12 мая расстреляли 168 человек по приговору выездной сессии военной коллегии Верховного суда СССР. Среди них — большая часть Татарского обкома ВКП(б) и совнаркома, а также рядовые граждане — писатели, педагоги, студенты...

Раскрутив маховик репрессий, партийные руководители и работники НКВД попали под него и сами. Были репрессированы Ягода и Ежов, их окружение. В ТАССР — наркомы внутренних дел Рудь и Михайлов, их заместители Ельшин, Жданов, Шелудченко, начальники опергрупп в 1937 году Алеткин, Марголин, начальники милиции Аитов, Наумовец и другие чекисты.

Всего в 1937 — 1938 гг. в Татарии из арестованных НКВД были приговорены к расстрелу свыше 3,4 тысячи человек.

...Как правило, в рапортах сотрудников НКВД о расстрелах сообщалось, что «в процессе исполнения приговоров никаких происшествий не случилось». Случались, однако, «накладки» иного рода. Так, постановлением Особой тройки ТР 14 ноября 1938 г. был осужден к расстрелу Герн Август Иванович, 1880 г.р., а 25 октября его фамилия была включена в список для приведения приговора в исполнение. Только тогда выяснилось, что А. Герн скончался еще 10 октября в Казани в больнице ОМЗ (Отдел мест заключения НКВД ТАССР), следовательно, приговорен был к расстрелу уже после смерти!

Казнили обычно поздно вечером или ночью. В Казани хоронили на Архангельском кладбище, а также — по устному преданию — на Арском (там, где Верочкина горка). Возможно, захоронения производились и в других местах, нам сегодня еще не известных...

Данные о казнях почерпнуты из сохранившихся документов: предписаний на расстрел, актов и рапортов о приведении приговоров в исполнение. Они составляют три пухлых тома, хранящихся в архиве КГБ РТ и ставших ныне доступными для исследователей (дела 2094, 2095, 2798а).

РАССТРЕЛЬНАЯ ХРОНИКА

ТАТАРСКАЯ АССР — 1937 ГОД

Август

дата	число расстрелянных
25	10 человек
26	10 человек — Чистополь
27	8 человек — Куйбышев

Сентябрь

дата	число расстрелянных
2	38 человек
13	24 человека
14	25 человек — Бугульма
15	23 человека

дата	число расстрелянных
16	27 человек — Бугульма
21	29 человек — Елабуга
21	27 человек — Чистополь
23	50 человек
24	43 человека — Куйбышев
25	20 человек
27	51 человек
28	40 человек — Мензелинск
30	9 человек — Елабуга
30	50 человек

Октябрь

дата	число расстрелянных
29	64 человека
31	45 человек

Ноябрь

дата	число расстрелянных
1	36 человек
3	31 человек
4	29 человек
4	88 человек — Чистополь
4	38 человек — Елабуга
6	19 человек
9	28 человек
11	19 человек — Мензелинск
13	17 человек
14	38 человек
17	13 человек
20	31 человек — Чистополь
23	30 человек

дата	число расстрелянных
24	28 человек — Куйбышев
26	34 человека
27	28 человек
28	13 человек
28	26 человек — Чистополь

Декабрь

дата	число расстрелянных
1	64 человека — Мензелинск
16	59 человек
17	51 человек — Куйбышев
19	56 человек
21	43 человека
22	31 человек
26	32 человека
27	41 человек
28	47 человек
29	54 человека
30	22 человека

P.S. 12 декабря состоялись выборы в Верховный Совет СССР. В депутаты был избран весь состав татарской тройки. В этот день расстрелов не проводилось. В голосовании приняли участие 97,8 процента избирателей, из них «за» проголосовали 97,7 процента.

1938 год

Январь

дата	число расстрелянных
2	19 человек
3	45 человек
4	69 человек

дата	число расстрелянных
4	34 человека — Куйбышев
5	42 человека
8	61 человек
8	62 человека — Мензелинск
9	66 человек — Чистополь
9	56 человек
10	13 человек
11	26 человек — Елабуга
14	49 человек
15	62 человека
16	15 человек
17	26 человек
18	47 человек — Куйбышев
19	51 человек
19	10 человек — Мензелинск
20	50 человек
22	24 человека — Чистополь
26	8 человек
27	10 человек
28	8 человек

Февраль

дата	число расстрелянных
4	26 человек
15	9 человек
28	8 человек

Март

дата	число расстрелянных
2	26 человек
31	7 человек

Май

дата	число расстрелянных
9 — 12	168 человек
19	59 человек
29	52 человека

Июнь

дата	число расстрелянных
27	23 человека

Июль

дата	число расстрелянных
7	35 человек

Октябрь

дата	число расстрелянных
3	45 человек
15	25 человек
23	17 человек
27	29 человек

Ноябрь

дата	число расстрелянных
3	41 человек
14 — 15	54 человека

Примечание: За точку отсчета взяты расстрелы семи человек и более. Если в строке не указано место расстрела, то имеется в виду г. Казань.

Приложение 1

АКТ

15 ноября 1937 г.

г. Чистополь

Мы, нижеподписавшиеся, начальник Чистопольской опергруппы ст. лейтенант госбезопасности Помелов, пом. нач. опер. группы Булынденко, начальник Чистопольской РО НКВД ТАССР лейтенант госбезопасности Власов, составили настоящий акт в том, что:

26 августа, 21 сентября и 26 сентября 1937 г. на оперативные нужды при проведении в исполнение приговора тройки при НКВД ТАССР в отношении осужденных к расстрелу — израсходовано патрон к револьверу «наган» восемьдесят четыре штуки (84 шт.)

Постановили:

Восемьдесят четыре шт. (84) патрон к револьверу «наган» списать в расход.

Начальник Чистопольской опергруппы
Ст. лейтенант госбезопасности
Пом. нач. Чистопольской опергруппы
лейтенант госбезопасности
Начальник Чистопольского РО НКВД
лейтенант госбезопасности

Помелов

Булынденко

Власов

(АРХИВ КГБ РТ, д. 159, л. 26)

Примечание: в указанные дни в Чистополе было расстреляно 38 человек.

Ян Карский

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ О ГЕНОЦИДЕ*

(Запись лекции в Королевском колледже.
Лондон, 31 марта 1995 года)

Ян Карский родился в Польше. Во Львовском университете в 1935 году получил ученую степень магистра права и магистра в области истории международных отношений, затем следующих два-три года продолжал образование в Германии, Швейцарии и Великобритании.

В 1938 году он поступил на польскую дипломатическую службу. С началом войны как молодой офицер он служил в Польской кавалерийской артиллерии, а когда Польская армия была разбита, он бежал в оккупированную Советами Восточную Польшу. Ему удалось избежать расстрела в лесах Катыни, переодевшись рядовым. Его интернировали, но он, видимо, сумел как-то пробраться в транспорт немецких поляков и вернуться в Западную Польшу, оккупированную немцами. Там он вступил в польскую организацию Сопротивления, где из-за знания языков его использовали как курьера между Польским правительством в изгнании (в Лондоне) и руководителями Польского подпольного сопротивления.

Летом 1940 года Яна Карского предали, он был арестован гестапо и жестоко избит. Однако подпольщики его освободили, и после восстановления сил и здоровья он опять вернулся к подпольной деятельности. Его новым делом стало внедрение в Варшавское гетто и лагерь уничтожения Белзец под видом эстонского охранника. Так он смог собрать из первых рук сведения о нацистской программе истребления евреев. Эту информацию он лично передал Польскому правительству в изгнании и союзникам.

Ни Госдепартамент США, ни британское Министерство иностранных дел не откликнулись на призыв к действиям

* В 1943 году, под впечатлением известия о массовых убийствах евреев Европы нацистами, американский юрист Рафаэль Лемкин изобрел термин «геноцид».

против этих доказанных злодеяний нацистов. Как мы теперь знаем, не последовало ответа ни на просьбы о бомбардировках возмездия, ни на призывы к союзникам разбомбить железнодорожные пути, ведущие к Освенциму, газовые камеры или крематории.

Влиятельным людям, близким к президенту Рузвельту и премьер-министру Черчиллю, трудно было понять, что эти отчеты — не преувеличение, и они отказались верить Яну Карскому. Ясно, что это было слишком — просить поверить невероятному. Карский заслужил только символические жесты сочувствия и недоверчивого изумления. После этого можно ли удивляться тому, что многие, выжившие в концлагерях после войны, не рассказывали о своем опыте, осознавая, что неверие слушателей так же трудно перенести, как и сами страдания.

После войны Ян Карский поселился в США и стал одним из выдающихся ученых, специалистом по Восточной Европе и международным отношениям.

Ян Карский — почетный профессор многих университетов, обладатель высшей польской военной награды, его имя носит дерево на проспекте «Праведных среди других народов» в Яд Вашем.

*И. Д. Гейнсфорд, заместитель директора
Королевского колледжа, Лондон*

Может случиться так, что кое-что из рассказанного мною покажется непостижимым. Поэтому, чтобы помочь вам понять, я хотел бы привлечь ваше внимание к следующему.

Первое, во время второй мировой войны погибли около пятидесяти миллионов человек. Советский Союз потерял двадцать миллионов. Три миллиона поляков-католиков расстались с жизнью. У всех народов, находившихся в нацистской оккупации, есть жертвы, но евреи все были жертвами. В этом главное отличие.

Я был вовлечен в это все в 1942 году. Дело было так. Летом 1942 года меня вызвал Цырыл Ратайский, формально возглавляющий польское подполье (или подпольное государство, как мы называли его). Ратайский был делегатом четырех польских политических партий — Крестьянской, Социалистической, Националистической и Христианско-

демократической. Меня решили сделать курьером и спросили: поеду ли я в Лондон? Я сказал, что поеду.

Я начал собирать информацию. Каждый брал с меня клятву, что я перескажу их послания достоверно и только определенным лицам. Тогда я обнаружил, что меня просили передать сведения, противоречащие друг другу, что в то время, конечно, было для меня очень болезненным.

Спустя несколько недель Ратайский снова вызвал меня и говорит, мол, есть такая проблема: существует две подпольные еврейские организации. Сам он не знает о еврейской проблеме, не понимает, в чем все дело. Но они пришли к нему после того, как узнали о моей поездке, и попросили его просить меня передать на Запад также и их послания. Они убеждали, что как польские граждане имеют право на такое же отношение со стороны руководителей подполья, как и любая другая политическая партия. Он сказал им, что спросит меня. И спросил: «Ты сделаешь это?» Я ответил: «Сделаю».

Я дважды встретился с обоими еврейскими лидерами в пригороде Варшавы. Они были в отчаянии. Потеряли всякое чувство безопасности. Один из них был лидер Бунда, социалистической организации. Точно известно, кто это: Леон Фейнер до войны был уважаемым юристом. Внешность классического польского дворянина: красивое лицо, усы шведского воеводы семнадцатого века. Кто был второй, я не уверен. Говорят, что это был Вильнер, но я точно не помню.

Да, так вот, они рассказали мне ужасные вещи. О том, что происходило с евреями. Они утверждали: «Евреи в большинстве своем не осознают еще, что это конец». Но они, еврейские лидеры, знают: Гитлер решил уничтожить всех евреев в Европе. (Это было в августе 1942 года.) Очевидно, у них была достоверная информация. Наверное, вы знаете: в январе 1942 высшие нацистские чины встретились в Ваннзее, под Берлином, договориться об окончательном решении еврейской проблемы.

Они сказали мне: «Евреи совершенно беспомощны. Польское подполье может спасти нескольких человек, но оно бессильно остановить процесс уничтожения. Только могущественные правительства союзников могут помочь нам». Они хотели послать меня к польскому правительству [в изгнании], но, более того, так как я знал языки, был умен и много путешествовал раньше, они хотели, чтобы я встретился с как можно большим числом лидеров, влиятельных людей союзных государств и рассказал им о еврейской трагедии. Я поклялся, что сделаю все, что в моих силах.

В октябре 1942 года, перед тем как я уехал из Варшавы, специальное подразделение польского военного подполья (Армии Крайовой), так называемое Бюро информации и пропаганды, передало мне микропленку, содержащую более двадцати страниц. На ней были статистические данные и имена, касающиеся только уничтожения евреев. Этот отчет был размером в половину американской спички. Его вложили в обычный ключ от дома и снова запаляли. Мне надо было держать его в кармане вместе с остальными ключами, а в случае опасности просто выбросить куда-нибудь. В документе были имена нацистских чиновников, имена видных еврейских организаций и людей, статистика. Это был основной отчет, который во время войны стал международно известным и был использован Британским правительством, Военным советом союзников и Американским правительством для распространения информации о еврейском Холокосте.

Этот отчет написали трое: Видершаль (еврей), профессор Хербст (еврей) и Волиньский (поляк-католик).

Перед моим отъездом из Варшавы они спросили меня, согласен ли я своими глазами посмотреть, что происходит с евреями. Они не станут подвергать меня большой опасности и смогут подготовить эту поездку. Сначала в Варшавское гетто. Я видел Варшаву еще в первую свою поездку, тогда меня сопровождал Леон Фейнер. Мы прошли по улицам; большой опасности в этом не было. В августе 1942 года из 450 тысяч евреев осталось не более 70 тысяч. Остальных уже отправили в концентрационный лагерь Трешлинка*. На самом деле в то время там было четыре небольших гетто и пустые дома, оставленные евреями, в них было позволено поселиться арийцам (по нацистской терминологии, арийцами были польские граждане неевреи).

Между этими четырьмя маленькими еврейскими «поселениями» в арийской зоне разместился один из гестаповских офисов. По территории гетто проходил трамвай, но он не делал здесь остановок. В Варшавском гетто я увидел страшные вещи, которых мне никогда не забыть. Примерно через полчаса мы ушли, и я обдумал все, что увидел. Я сказал Фейнеру, что хочу пойти туда еще. Он согласился организовать все, но сам он больше туда со мной не пойдет, мне найдут другого проводника. Так и вышло.

То, что я там увидел, описано в книге Вуда и Янковского («Карский: как один человек пытался остановить Холокост», изд. Дж. Уайли, 1995. Karski: How One Man Tried to Stop the

* Смотри «Воля», № 2 — 3, 1994. *Р. Глазар*. Западня за зеленым забором.

Holocaust, John Wiley, 1995). Но потом я второй раз встретился с этими же еврейскими лидерами, и они сказали мне (Фейнер был особенно настойчив): «Витольд (это был мой псевдоним), мы могли бы попытаться организовать для тебя визит в еврейский концлагерь. Ты пошел бы? Это более опасно, но мы не поведем тебя на верную смерть. Мы думаем, это можно сделать. Ты пойдешь?» Я ответил: «Пойду». И пошел.

Я провел там двадцать минут. Я не смог больше вынести. Проводник, который шел поодаль, заметил, что я веду себя, как безумный, и закричал «*volge mir, volge mir*»*. Я пошел за ним, и меня вырвало кровью.

В октябре со своим ключом я покинул Варшаву. Через несколько часов я был в Париже, где встретился с Александром Кавальковским, лидером польского подполья во Франции. Предполагалось, что он поможет мне пробраться в Лондон. Он объяснил мне, что это ерунда: у него не было никаких способов вывезти меня тайно из Парижа. Но ключ, заверил он меня, можно переслать в Лондон тотчас же. Это он мог сделать.

Ключ прибыл в Лондон за две недели до моего приезда. А мне с поддельными документами пришлось из Парижа добираться в Лион, Перпиньян, пешком через Пиренеи, Барселону, Мадрид, Гибралтар, оттуда самолетом в Лондон. Моим проводником в Пиренеях был, между прочим, испанский коммунист, которому меня представили как польского коммуниста. Меня предупредили, что он фанатик и что я должен быть коммунистом. Если он заподозрит, что я не коммунист, он перережет мне горло или бросит в горах. Помню, что я купил «Государство и революция» Ленина на французском языке, чтобы обсуждать с ним коммунистические темы. Этот парень был сумасшедшим, он был фанатиком, он был одним из самых благородных людей, которых я встречал в жизни. Чудесный персонаж и неистовый коммунист, фанатичный коммунист.

Во второй половине ноября я добрался до Лондона. К этому времени микро пленка была уже расшифрована и переведена, а меморандум Польского правительства уже был на последней стадии подготовки. Наш вице-премьер-министр сказал, чтобы я продиктовал все, что я хотел бы добавить к этому отчету, включая свои личные наблюдения, и дело началось.

После войны уважаемый английский историк Мартин Гилберт написал книгу под названием «Освенцим и союзни-

* «Следуй за мной, следуй за мной» (нем.).

ки». Он мог пользоваться секретными военными документами, которые через 35 лет после войны стали доступны всем. В книге есть глава о моей миссии. В этих документах он обнаружил, что не позже 25 ноября 1942 года Польское правительство передало отчет господину Истерману, бывшему тогда связным между Всемирным еврейским конгрессом и Министерством иностранных дел Великобритании. На следующий день, 26 ноября, Истерман вместе с С. Силверманом, членом парламента от лейбористской партии, лично вручили «Отчет Карского» (как его назвал Гилберт) Ричарду Ло (впоследствии лорду Колрейну), бывшему тогда помощником сэра Антони Идена.

Итак, Польское правительство передало информацию так быстро, как это было возможно. Я прибыл в Лондон во второй половине ноября и, конечно, начал с доклада Польскому правительству. (Вы должны иметь в виду, что еврейское послание было только частью моего основного поручения; я был здесь от имени польского подполья и четырех польских политических партий.) Собственно говоря, я знаю, что ныне еврейские общины хвалят меня и преувеличивают мою роль и мою работу. Я старый человек, я уже не возражаю. На самом деле я знаю, что евреям со мной не повезло. Для польской части моей миссии я вполне подходил. Но для еврейской части нужно было найти кого-нибудь поважнее, сильнее и лучше, чем я. Евреям со мной не повезло, во время войны я был никто: младший лейтенант, молодой человек, секретный агент. У меня не было никакого веса, никаких средств для достижения цели.

Я старался изо всех сил, чтобы встретиться с как можно большим числом англичан и американцев. Я добрался до четырех членов Британского военного кабинета. Тогда он был средоточием власти в Великобритании. Министерства не считались. Члены военного кабинета — несколько министров, заседавших в комнате, — управляли войной. Двенадцать, тринадцать или четырнадцать человек под руководством председателя, премьер-министра Черчилля.

Я добрался до Антони Идена, лорда Кранборна, представляющего партию консерваторов, Артура Гринвуда, члена лейбористской партии, Хью Далтона, министра экономики. Я обратился к интеллектуалам, на встрече с которыми настаивали евреи, учитывая мое знание английского языка. Я встретился с госпожой Вилкинсон, членом Палаты общин, и всемирно известным писателем Гербертом Уэллсом, но он не проявил сочувствия. Когда я описал ему свое посещение Варшавского гетто и лагеря, он стал размышлять вслух: «Это целая тема для важного исследования, а именно: установить,

каковы причины того, что, где бы ни обосновались евреи, рано или поздно возникает антисемитизм». Он спросил меня, задумывался ли я об этом. Да, он не выразил сочувствия.

Я добился встречи с Артуром Кестлером, очень хорошо известным автором книги «Тьма в полдень». В действительности он был венгерским евреем. Он работал на Би-би-си, и лорд Селборн предложил, что раз уж у Кестлера такой же ужасный и невыносимый акцент, как и у меня, то пусть он и говорит по радио вместо меня, агента польского подполья, недавно прибывшего сюда. Я встретился с Кестлером за обедом, рассказал ему свою историю, а потом он вещал по радио от моего имени.

Я старался представить требования евреев как можно более точно, но, опять же, надеюсь, вы поймете, что это было трудно. Я встретился с самыми могущественными лидерами в Англии и потом в Соединенных Штатах. Я никогда не знал, как долго они будут слушать меня — может быть, пять минут, десять... Поэтому мне надо было говорить как можно точнее и как можно короче. Обычно я делал вступительное заявление (десять-одиннадцать минут меня не прерывали), описывая ситуацию в Польше, структуру подпольного движения, роль делегата правительства, четырех политических партий, квазипарламента, военной организации и подпольной прессы, а затем я передавал послание евреям: «Есть две еврейские организации: первая — Бунд, вторая — сионисты...» Иногда мне даже не удавалось закончить, потому что меня прерывали вопросами и я терял нить рассуждения.

Прошло пятьдесят лет, и я не помню всех разговоров. Но помню, что случилось на встрече с Иденом, когда я прибыл в Лондон. Я встретился с ним в феврале; на самом деле было две встречи. Сначала в конце января или в начале февраля 1943 года. Когда я пришел, я заговорил: «...Сэр, у меня еще есть послание от лидеров еврейского подполья». Он мягко перебил меня и сказал: «Мы уже получили отчет Карского. Дело будет надлежащим образом рассмотрено».

Тогда я был обескуражен и разочарован. Но, опять же, в свете книги Гилберта, возможно, Иден говорил правду, поскольку его заместитель получил доклад 26 ноября предыдущего года. И, возможно, он сам получил его. Но тогда я еще не знал о многом. Очень-очень многое я узнал лишь через годы и годы после войны. Я с интересом прочел книгу Вуда и Янковски и обнаружил, что не знал многих вещей. У авторов был доступ к секретным документам, о которых я и понятия не имел.

Я старался рассказать о еврейской трагедии как можно большему числу людей и как можно точнее. В мае меня вы-

звал генерал Сикорский. Он сообщил, что по совету американского посла я не поеду сейчас обратно в Польшу. Предполагалось, что после этой пятой миссии я сразу же вернусь в Польшу. (Меня уже посылали с поручениями через оккупированную нацистами Европу четыре раза.) Он сказал: «Нет, лейтенант, сначала вы поедете в Соединенные Штаты. Антони Биддл [посол США в Великобритании] попросил, чтобы я послал вас в Вашингтон. Он ожидает, что президент примет вас, потому что он предупредил президента о том, что агент польского подполья прибудет в Вашингтон, и президент очень заинтересовался. Он любит встречаться с людьми лично».

В Штаты меня отправили тайно. Тогда мне выдали дипломатический паспорт на имя Карского, имя, которое я сейчас ношу как свое собственное. В июне 1943 года я прибыл в Вашингтон. И опять я докладывал многим важным людям. Среди них были: госсекретарь Корделл Халл, военный министр Хенри Стимсон, Генеральный прокурор Франсис Биддл, трое высокопоставленных чиновников католической церкви (архиепископы Спеллман, Муни и Стрич), представитель Ватикана кардинал Чикониани, гражданские власти, еврейские лидеры, президент Американского еврейского конгресса рабби Вайс, президент Всемирного еврейского конгресса Наум Гольдман, член Верховного суда Феликс Франкфуртер и некоторые из наиболее известных обозревателей, такие, как Дороти Торнсон, Юджин Лайонс и самый видный из них, величайший из всех, Уолтер Липпман. Вы молоды, возможно, вы не знаете этих имен. Каждый из них что-либо написал об информации, полученной от недавно прибывшего агента из Польши, и, конечно, мое настоящее имя не упоминалось. Каждый, но не Липпман. Он не написал ни строчки. Липпман не хотел связываться с еврейством. Он хотел оставаться в стороне. И вот 28 июля посланник из Белого дома прибыл в польское посольство. Через два часа я должен быть у президента. Вместе с послом я отправился докладывать президенту.

Прошло уже пятьдесят лет, и вот как я помню требования евреев и реакцию своих собеседников. В молодости я славился своей памятью. Сейчас она не так уж хороша. Одно из еврейских требований было, чтобы союзники публично заявили о том, что прекращение уничтожения евреев стало частью военной стратегии союзников. Тогда евреи Варшавы были в отчаянии. «Мы умираем, — говорили они, — им это ничего не будет стоить. Пусть они скажут это. Может быть, это как-то повлияет на немецкое общественное мнение... на самого Гитлера. Пусть это будет сказано».

(Заметьте, что эти великие лидеры ничего со мной не обсуждали. Повторяю, я был маленький человек, секретный агент. Мое дело было не задавать вопросы, не стыдить, не провоцировать. Мое задание было — выслушать вопросы, если их зададут, и, если возможно, ответить. Но тогда, выполняя свое задание, я встречался со многими и многими людьми второго эшелона, участвовавшими в организации войны: психологическая служба, разведка, контрразведка, черная пропаганда, секретное радио, служба поддержки боевого духа. Все они были заметные личности, интеллектуалы и т. п., и они открыто говорили со мной. Они хотели знать мое мнение, спрашивали о нем, обращались за советом. Они делились со мной своими проблемами. С ними можно было дискутировать. Им, особенно в Лондоне, я представил все еврейские требования.)

Как только союзники рассмотрели предложенную декларацию, они отреагировали так: «Нет, этого сделать нельзя. Во-первых, основная стратегия войны уже установлена Черчиллем, Рузвельтом и Сталиным, и мы не можем вмешиваться. Но даже если бы и могли, мы не рекомендовали бы такое заявление, потому что оно действовало бы против нас». Они сказали: «Почему вы упоминаете только евреев? Геббельс все время говорил, что эта война спровоцирована евреями и ведется в пользу евреев. Если мы выступим с таким заявлением, кто знает, возможно, кое-кто из нашего народа станет недоумевать. А может быть, Геббельс прав? Почему не французы? Не бельгийцы?» Я помню, как кто-то на одной из встреч, глядя прямо мне в глаза, сказал: «Господин Карский, вы можете нам гарантировать, что такое заявление не вызовет негодования вашего народа?» И я умолк. «Но еще более важно: что скажут русские? У них огромные потери, а мы даже не упоминаем их. Это непрактичный совет. Это может работать против нас».

Другим требованием было, чтобы союзники засыпали Германию миллионами листовок с указанием конкретных имен, цифр, с описанием того, что делают немцы: уничтожают все еврейское население. Листовки будут призывать немецкий народ оказать давление на правительство с тем, чтобы остановить уничтожение евреев. И если немецкий народ не будет действовать подобным образом, после войны он будет нести ответственность за преступления, совершенные его правительством против евреев. И снова было сказано: «Возможно, это поможет; это не будет стоить им много. Пусть они сделают это, скажите, чтобы они так сделали».

Да, всегда, как только мог, я сообщал об этих требованиях, чтобы увидеть реакцию. Но это не было удачным

предложением. «Проблема в том, — говорили они, — что люди со всего мира добровольно собрались в Королевские воздушные силы, чтобы воевать. Мы несем потери. Люди разных национальностей рискуют своей жизнью, чтобы сбрасывать бомбы, не бумажки. Войну не выиграешь листовками. Войну выигрывают бомбами, именно это мы и делаем. Возможно, некоторые наши летчики возмутятся, если мы будем рисковать их жизнями, разбрасывая листовки. Нам надо заботиться об их боевом духе. Так что это не очень хорошая мысль. Этого не следует делать. Мы не станем рекомендовать такие действия».

Было еще одно предложение: чтобы лидеры союзников оповестили немецкий народ, опять же через Би-би-си и другие средства массовой информации, что определенные ценные исторические объекты будут подвергнуты бомбардировке союзников и разрушены, как возмездие за то, что немецкое правительство делает с евреями. Пусть они объявляют до и после подобных действий, что такие бомбардировки будут продолжаться, пока немецкое правительство следует своей политике. Вывод из обсуждения по этому вопросу был: «Невозможно. Абсолютно нереально. Немцы разрушили некоторые из наших гражданских объектов, не имеющие военного значения. Мы по всему миру организовали в нашу пользу волну протеста против такого варварства. Если мы объявим, что собираемся так же поступить с Германией, этим мы оправдаем их действия. Мы не можем пользоваться их методами и публично признавать, что занимаемся тем же, что и они. Мы разрушаем объекты военного назначения и стараемся действовать как можно лучше...»

Я помню, что в какой-то момент, тоже в Лондоне, было обсуждение, не являющееся непосредственно частью моей миссии. Должно быть, это было в конце 1942-го или в начале 1943-го. Кто-то предъявил требование евреям о том, что железные дороги, ведущие к Освенциму, надо разбомбить. Дискуссия продолжалась, а я сидел, ожидая своей очереди. Они сердились, они были в ярости. Ответ был такой: «У этих евреев никакого чувства реального. Они городят чепуху. Ничего не понимают. Как они могут просить нас о таком: хотят, чтобы мы разбомбили железнодорожные пути, ведущие к Освенциму! Мы не можем быть уверены в точности попадания. У нас будут потери. Пути очень узкие. Чтобы попасть, надо сбросить в десять раз больше бомб. На кого они упадут? На польских крестьян, на людей, живущих поблизости. И как будут реагировать польские крестьяне, когда узнают, что их бомбили Королевские воздушные силы? Мы хотим создать добрые отношения с

Европой, не враждебные. Мы не можем так поступить. Узкоколейку трудно разрушить, но, чтобы восстановить ее, используя рабскую силу, нужно совсем немного времени. Эти евреи понятия не имеют, о чем говорят. Это чепуха. Конечно, если мы сбросим бомбы на Освенцим, мы уьем и узников, и немцев. Чепуха». Во время обсуждения они очень сердились, но я не вмешивался, только слушал.

На одной из встреч варшавские евреи говорили мне: «Нужны деньги — валюта или золото. У скрывающихся евреев, у многих из них, нет средств. Им нужны деньги, чтобы выжить. И есть еще польские семьи, укрывающие евреев. Этим семьям надо платить, они сами голодают. Нужны деньги. В маленьких городках еще сохранились остатки гетто. Мы можем передавать им одежду, еду, деньги. Мы должны платить полякам, потому что они прячут евреев. Проси денег».

И вот был случай с лордом Селборном. Когда я все это рассказал, он был очень недоволен. Помню, он ответил: «Ни один премьер-министр, ни один политический лидер не одобрит подобных действий. Мы можем хранить это в тайне, пока идет война, но что, если это раскроется? В каком положении мы окажемся, когда наш народ узнает, что мы снабжали Гитлера валютой, чтобы он мог покупать товары у нейтральных стран. Мы не можем этого сделать».

Помню, Селборну я понравился. Я встречался с ним несколько раз. Я прошептал: «Ваша светлость, но мы все равно получаем деньги». Он ответил: «Это другое дело. Вы — солдаты, часть союзнических вооруженных сил. О евреях же сложилось мнение, что они не сопротивляются». Это была совершенная ерунда. Тысячи и тысячи евреев участвовали в подпольном сопротивлении: во Франции, Бельгии, Голландии, Польше, Венгрии и Греции, — но они скрывали свое еврейское происхождение, чтобы не подвергать себя двойному риску. После войны я узнал, что мой непосредственный начальник, Ежи Маковецкий, — еврейского происхождения. Я нередко с ним виделся, потому что, зная английский, какое-то время прослушивал передачи Би-би-си и должен был часто, раз в пять-шесть дней, предоставлять ему отчеты. Он не хотел, чтобы даже я знал о том, что он как-то связан с евреями. Это было вдвойне опасно.

Тогда западные союзники не осознавали (да и сам я не понимал), насколько распространенным было такое мнение о евреях. Убеждение, что евреи не сопротивлялись, было в основе своей неверным и несправедливым. Какие бы требования я ни предъявлял (если у меня была такая возмож-

ность), тогда контрдоводы казались разумными, но все они были таковы, чтобы исключить любую помощь евреям.

Вот такое было положение. Суть была в том, что евреи во время войны были обречены. Сейчас, будучи старым человеком, я ясно вижу ситуацию. Ничего нельзя было сделать. Причина в том, что произошедшее с евреями было настолько уникально, что этому было трудно поверить. Я и сам бы не поверил тому, что видел.

Вспоминаю члена Верховного суда США Франкфуртера в Вашингтоне. Возможно, это был единственный человек, с кем я мог говорить без опасения быть прерванным. Он сам пришел в польское посольство. Посол Чехановский заранее предупредил меня: «Джонни, будь с ним осторожен, он очень влиятельный человек. Президент к нему прислушивается. Он один из инициаторов Нового договора 1933 года. И он еврей».

Франкфуртер — маленький, невыразительный человек. Только его глаза, пронизательные глаза выдавали блестящий ум. Он был весьма напыщен. Сел за кофейный столик. Мы втроем — Франкфуртер, посол и я — сидели вокруг столика.

— Господин Карский, вы знаете, кто я? — спросил он.

— Да, сэр, посол мне сказал. Вы — один из пяти членов Верховного суда. Посол мне сказал еще, что в этой стране вы важный человек.

— Вы знаете, что я еврей?

— Да, сэр, посол сказал мне и об этом.

— Раз так, расскажите мне, что происходит с евреями в вашей стране. У нас противоречивые сведения.

Так я понял, что этот человек выслушает меня. Я ни словом не обмолвился о польском подполье, знал, что это не относится к обсуждаемому вопросу. Сейчас мы говорили о Варшавском гетто, лагерях и требованиях евреев. Он несколько раз прерывал меня, расспрашивая, как я попадал в гетто. Он представлял, что там была стена. Спрашивал, какой высоты она была. И так далее. Я ответил на эти вопросы. Через 18 — 20 минут я закончил, мне больше нечего было сказать. Я подумал про себя: «Карский, о поляках даже не упоминай, потому что ему это не интересно. Он заинтересован только в еврейской проблеме».

Повисло молчание. Я его никогда не забуду. Франкфуртер встал и начал ходить от стены к стене. Когда он повернулся к нам спиной, Чехановский сделал мне знак молчать. Наконец Франкфуртер сел. Я помню каждый жест.

— Господин Карский, — сказал он, — такой человек, как я, в разговоре с таким человеком, как вы, должен быть абсо-

лютно честным. И так, я скажу, что не могу поверить тому, что вы мне поведали.

Чехановский повернулся к Франкфуртеру (они были друзьями) и сказал:

— Феликс, ты так не думаешь. Ты не можешь говорить ему в лицо, что он лжет. За ним — представители моего правительства.

Франкфуртер:

— Господин посол, я не сказал этому молодому человеку, что он лжет. Я сказал, что не могу поверить рассказанному им. Есть разница. — Затем он протянул ко мне руки, говоря: — Нет, нет.

Когда он ушел, я спросил:

— Господин посол, это что, комедия, или он не поверил мне?

Посол ответил:

— Я не знаю. Но, Джонни, ты рассказываешь ужасные, невероятные вещи и должен это понимать.

Такова была еврейская трагедия во время войны. Евреи остались в одиночестве. И не только евреи. Повторяю: погибли пятьдесят миллионов человек. Три миллиона поляков. И войну, которую Гитлер развязал против евреев, он выиграл. Шесть миллионов евреев были истреблены во время войны.

Затем меня опять послали в Соединенные Штаты. На этот раз, в конце 1943 года, открыто. Я прочитал около двухсот лекций в Штатах — от побережья до побережья. В большинстве из лекций я рассказывал о том, что происходит с евреями. Потом я написал книгу под названием «История тайного государства» (The Story of a Secret State), где в двух самых важных главах описал положение в еврейских лагерях и в гетто. Потом эта книга была признана лучшей клубом «Книга месяца», они продали почти 360 тысяч экземпляров. Она была одной из самых популярных книг, изданных во время второй мировой войны.

И вот в мае 1945 года пришел конец войне, множество людей приехали в Германию — американцы, англичане, государственные деятели, послы, знаменитости, епископы, ученые — посмотреть, что произошло, и потом все они, да, все, отмсчали, что для них все это — полная неожиданность. Они не знали, что творилось в концентрационных лагерях и что случилось с евреями. Я читал эти отчеты день за днем. И проникся отвращением к этим выкопоставленным мужам, к этим правительствам, потому что, **ПО ПРАВДЕ ГОВОРЯ, ОНИ ЗНАЛИ.**

З

Арман Малумян
ИЮЛЬ ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО*

После штрафного лагеря меня перевели в воркутинский транзитный лагерь. Здесь собрались несколько друзей: Борис Мехтиевич Мехтиев, бывший полковник авиации Владимир Васильевич Мовмыга и Илья С. Этапы шли за этапами, и вдруг я с удивлением обнаружил среди бывших красноармейцев иностранцев: немцев, австрийцев, французов.

Марк О'Коннель, Роже Буйе, Анри Мулен, Жан Кок и Бернар де Вриер сообщили мне, что в других партиях есть еще французы. И действительно через несколько дней в транзитный лагерь прибыли Жак Костикофф, Реймон Суайа, Эдуар Ж., какой-то бельгиец, Филипп Дежеже и один румын, с которым я познакомился в Вокрессоне**. Все они прибыли прямо из Германии, из лагеря Заксенхаузен. В других лагерях Воркуты оказались французы Роже Марке, Пьер Данзас, Александр Мегеброфф и два эльзасца, невольно попавшие в армию третьего рейха, — Роже Вейсс и Анри Крафт. Были там и отец Жан Никола, и Жак Оже, и Пьер (или Анри?) Блен.

Лично я знал не всех французов — некоторые попали в Восточную Сибирь. Тем не менее я узнал и запомнил их имена: Пьер Суньо, Бернар Жерм (или Жермен?), Пьер Берже, Макс (или Марк?) Сансерр, Пьер Шевалье, братья Обэй. Воркута стала местом международных встреч. Были там американцы Джон Нобль, Билл Марчук, Рэй Спарк, Джерри Черни; англичане Гарри Китинг и Петер Картрайт; итальянцы Франческо Гульемонти, отец Леони, Сальватор Пьетри; швед Витали, швейцарский пастор Шварц и многие другие. Меня уверяли, что здесь находятся даже два сенегальца и один марокканец.

Русские обычно искажают французские имена и фамилии. Поэтому трудно понять, является ли соотечественником тот или иной заключенный из другого лагеря. [...]

* Из книги «Нити ГУЛАГа».

** Вокрессон — городок в округе Булонь-Биланкур.

Я не чувствую себя вправе говорить о причинах, приведших в эти лагеря французов. Но я должен рассказать об одиссее Реймона Данна. Он поведал мне эту историю в 1954 году в тайшетском ШИЗО 601, где мы познакомились и провели вместе несколько часов. Не знаю, что привело его в СССР; в то время он работал на лесоповале в Тайшете. Он бежал, провел несколько месяцев в тайге и после многочисленных перипетий ценой нечеловеческого напряжения добрался до Москвы, где нашел французское посольство. И на французской территории (посольства имеют привилегию экстерриториальности) был арестован служащими МГБ. Он звал на помощь, чиновники из посольства при сем присутствовали и могли бы свидетельствовать, что на французской территории чекисты арестовывают французского подданного. Они же не только не бросились ему на помощь, но закрыли окно, чтобы не слышать голоса того, кто кричал, что он француз.

Может ли кто-нибудь подтвердить или опровергнуть этот рассказ?

Многие достойные доверия свидетели, в честности которых нельзя сомневаться, уверяли меня, что на известковых карьерах находились пять французских коммунистов. Они прошли стажировку в Восточной Германии, побывали в Чехословакии и прибыли в СССР, откуда их направили «добровольцами» в Северную Корею — туда, где сражался французский батальон. Им дали приказ обратиться по радио с призывом дезертировать и примкнуть к китайским войскам, находящимся в Северной Корее. Во время своей практики они хорошо поняли, что представляет из себя коммунистическая действительность, и поэтому отказались, сомневаясь в справедливости действий в Корее. Их арестовали, передали в руки советских органов и отправили в Воркуту. Чтобы отличить их от других заключенных, им нашили на спину и на шапку буквы ВП (военный преступник) и поселили в изолированном от остальной части лагеря бараке вместе с другими заключенными, носившими такую же нашивку.

В группе из ста пятидесяти человек, попавших на шахту № 7 в мае 1950 года, находились Жак Костикофф, Реймон Суайа, Эдуар Ж., Филипп Дежеже, Жан Ю. и я. Нас отвели в баню. Реймону запретили повесить для прожарки одежду на обруч. Дежурный объяснил, что на обруче больше нет места. Реймон повернулся ко мне и сказал насмешливо:

— Какой дурень этот типчик!

Служитель обомлел, выронил обруч и на чистейшем французском языке произнес:



Арман Малумян

- Вы французы?
- А ты что, кореш, не видишь?
- Я тоже...

Так мы познакомились с Сашей Мегеброффом. А через несколько часов я встретился с отцом Никола, который услышал о прибытии французов и зашел к нам, чтобы узнать новости. Он описал эту сцену в своей книге «Одиннадцать лет в раю».

* * *

Возникают в моих воспоминаниях и другие лица...

Казах Незетли Джан Атам Али — служитель культа. Он был старейшим заключенным не только на шахте № 7 и вообще на Воркуте, но, наверно, и самым старшим гулаговцем. Тюремный и лагерный путь начался у него еще при царе, в 1912 году. Тогда его обвинили в подстрекательстве к религиозной войне, арестовали как националиста и сослали в Сибирь. Несмотря на преклонный возраст (ему было сто четыре года), он был крепок, как дуб. Среди заключенных пользовался большим авторитетом. Его длинная реденькая шелковистая борода была белоснежной, как у китайского мандарина. Сходство подчеркивалось раскосыми глазами. Он всегда носил тубетейку. Шагал нервно, при ходьбе опирался на палку. Обладал совершенно необыкновенным умом и находчивостью. Это был чрезвычайно эрудированный человек, знающий множество иностранных языков. Ежедневно молился, кланяясь в сторону Мекки. Я часто беседовал с этим мудрецом. Он учил меня русскому языку и давал очень ценные советы, опирающиеся на долгий лагерный опыт и глубокое знание человеческой природы. Обладал исключительной памятью — наизусть читал Пушкина, Лермонтова, Гете, Шиллера, Шекспира, Омара Хайяма.

В 1917 году его освободили, но уже в 1920-м он был арестован снова рабоче-крестьянскими властями. С тех пор стал одним из постоянных узников ГУЛАГа. «Каникулы» (ссылки) случались редко. Ему систематически предъявляли все новые обвинения. С 1928 года он уже не покидал лагеря. Был участником многих великих строек: Беломорканал, канал Москва — Волга, вторая транссибирская магистраль, железная дорога Котлас — Воркута... Ну что тут скажешь? Из-за почтенного возраста его прозвали Али-Бабой. Так его звали даже вохровцы. Душа его и тело составляли единое целое. Лагерные мусульмане чтили его, как пророка.

— Сын (он называл сынами всех, кого любил). Сын, ты слишком доверчив и вспыльчив. В жизни бывает очень мало

друзей — столько же, сколько пальцев у меня на руке, — говорил он и показывал свою левую руку, где не хватало двух пальцев.

Когда гауляйтер Воркуты бригадный генерал Деревянко прибыл в 1951 году с ревизией в наш лагерь, то, увидев Али-Бабу, он сказал:

— Как, ты еще не подох, Али-Баба?

— Деревянко, у тебя не только сердце деревянное, но и голова. Она так же пуста, как твоя вера в коммунизм. А подыхать я пока не собираюсь. Ваш пророк, вождь, солнце, гениальный отец народа накинуд мне в прошлом году еще десять лет. Ведь ты не хочешь, чтобы я заставил лгать этого непогрешимого человека. А кроме того, на Беломорканале я похоронил твоего отца, который был моим надзирателем. И на Печоре я похоронил твоего дядю. Если всемилостивый Аллах даст мне сил, я похороню и тебя. Аллах велик!

Деревянко бросил его на три дня в карцер. Но я уверен, что, если Аллах существует, он побережет для Али-Бабы хорошенькое местечко по правую руку от себя. [...]

* * *

Во всех лагерях СССР и на нашей шахте № 7 ждали оттепели, ждали кремлевской весны. Эта суровая и отчаянная надежда всколыхнула нас и толкнула на попытку припереть к стенке правительство. Бывали в лагерях голодовки, вооруженные восстания, бунты. Но впервые в истории СССР и истории ГУЛАГа заключенные предприняли мирную забастовку, требуя прямого вмешательства Кремля. План забастовки зародился в лагере № 7 и распространился по всей Воркуте. Свои аргументы мы почерпнули в «Правде» и «Известиях». Это был не бунт и не восстание — это была мирная демонстрация с целью информировать новых хозяев Кремля о том, что происходит в лагерях. И Кремль должен был ответить нам. Мы отказывались от переговоров с гауляйтерами Воркуты.

И Кремль ответил. 22 июля 1953 года...

Через четыре дня после начала забастовки гауляйтер Воркутлага генерал Деревянко прибыл в лагерь № 7. На центральной площади лагеря собрались три тысячи заключенных. Пять минут они слушали угрозы и обещания этого палача. (Он не соизволил собственноручно ударить затянутаго в смирительную рубашку и подвешенного в камере штрафного лагеря — словно тренировочная груша — узника.) Потом все отвернулись от него. На площади остался один генерал Деревянко со своей свитой. Мы удалились, соблюдая

полный порядок. Скандировали: «Москва! Москва!» Лагерь окружили воинские части солдат-монголов. Их прислали для подкрепления. С интервалом десять метров поставили солдат-автоматчиков, колючую проволоку заминировали, удвоили число вохровцев на вышках. Шахтеров-вольняшек, живших в бараках поблизости от зоны, эвакуировали. В довершение всего подтянули танки.

Так подготовились к приему московской делегации. Она прибыла 29 июля 1953 года. Возглавлял ее генерал армии Масленников — Герой Советского Союза, кандидат в члены ЦК партии, член Советского правительства. С ним прибыла большая свита из крупных военных и гражданских чинов. Они прилетели самолетом. Был среди них и генеральный прокурор Руденко.

Генерал Масленников перечислил нам все свои звания и сообщил, что прибыл он для того, чтобы выслушать жалобы заключенных. Советское правительство поручило ему и его спутникам принять все меры, необходимые для поддержания порядка, нарушенного несколькими подлыми зачинщиками. От имени правительства он заявляет, что отныне номера-нашивки отменяются, предоставляется свобода переписки, на ночь бараки не будут запираются. Он пообещал снизить сроки всем, кто выполняет норму, выплачивать зарплату и пересмотреть личное дело каждого.

Мы потребовали, чтобы с площади удалили стражу, начальство нашего лагеря, генерала Деревянко и всех воркутинских начальников — надо было свободно переговорить с Масленниковым. Мы опасались, что после отъезда московской делегации начнутся репрессии. Он приказал местному начальству покинуть лагерь. Нам выдали мешки, чтобы опустить в них жалобы, изложенные в письменном виде. Масленников уточнил:

— Принимаются только личные жалобы. Коллективные жалобы рассматриваются как антиправительственные действия и наказуются по советскому кодексу*.

Многие пытались говорить. Но напрасно!

— Сначала приступайте к работе. Докажите свою добрую волю. Пока вы не начнете работать, переговоры невозможны. Сначала надо восстановить порядок.

Нам стало ясно, как дважды два, что советская система не поддается перестройке.

В полном молчании мы разошлись по баракам.

Весь день громкоговорители передавали музыку, прерываемую время от времени голосом Масленникова, который

* В стране коллективизма! (Прим. автора).

призывал вернуться на работу и обещал наказать только заговорщиков.

30 июля к лагерю подтянули новые войска.

31 июля Масленников приказал выйти из лагеря до двенадцати часов, иначе солдаты начнут стрелять. Забастовочный комитет посоветовался и решил повиноваться, чтобы избежать кровопролития.

На шахте № 29 заключенные ждали приезда московской комиссии. Они собрались на площади, желая высказать свои требования. И вдруг генеральный прокурор Руденко дал приказ стрелять по мирным, не вооруженным узникам. Руденко представлял в делегации СССР на международном суде в Нюрнберге.

В июле 1953 года этот же человек спокойно опустил руку — по этому знаку были расстреляны десятки заключенных на шахте № 29 Воркутлага.

* * *

Вот уже шесть часов, как мы неподвижно лежим в братской могиле. Вохре дан приказ стрелять при малейшем движении. Шесть часов в братской могиле, которая, может быть, станет нашим последним приютом.

Нас тридцать человек. Придется умереть, а мы-то думали, что наше обращение к Москве сможет что-то изменить. Наверху стоят стражники с ружьями, нацеленными на нас...

Забастовка кончилась. Что стало с нашими друзьями? Умерли? Или ранены? Нам не удалось ничего сделать, ведь это была мирная забастовка. Мне уже жаль, что мы не подняли восстания. Если бы мы отобрали оружие у патруля и взяли заложниками нескольких вохровцев, может, тогда нам бы удалось освободить лагерь, а может быть, другие... По крайней мере мы бы погибли в сражении.

Подходят три офицера с револьверами.

— Встать!

Мы с трудом поднимаемся. Сейчас осуществится наше право на девять граммов в затылок. Все мое естество протестует. Говорить не могу.

— Выходите из ямы.

Сейчас прогремит автоматная очередь. Украдкой оглядываюсь и вижу группы других узников.

— Постройтесь десятками.

Значит, они решили увести нас. Казнят прямо в тундре? На меня наваливается тяжелая усталость. Не все ли равно, где умирать — здесь или в другом месте? К нам присоединяют другую группу. Теперь нас шестьдесят. Кругом

выстраивают такие же группы. Нас ведут к лагерю, у ворот которого стоят бронемшины и вездеходы. Стражники подводят нас к открытым грузовикам. Велят садиться с широко расставленными коленями для сидящих впереди. Ждем. И вот новый приказ. Машины трогаются. Через час прибываем в Воркуту. Нас подвозят к главной тюрьме — это республиканская тюрьма особого режима Коми АССР. Бараки с массивными решетками, доходящими до земли. Появляется стража со списками. Начинается переключка. Двери отворяются и закрываются. Меня переводят из одной камеры в другую. Потом снова зачитывают список — новая камера. Пройдя пять разных камер, я очутился в шестой. Она была просторнее. Здесь я вижу лица товарищей, участвовавших в забастовке. Значит, проходил отбор. Ночь мы проводим вместе, тесно прижавшись друг к другу. Как только один из спящих поворачивается, должны повернуться все другие.

Утром нам не приносят еды. Мы громко требуем: «Пить! Есть!» Появляются офицеры. Сообщают, что при малейшем изъятии протеста — будь то крик или жест — они без предупреждения станут стрелять...

День и ночь тянутся бесконечно долго... Примерно в пять часов утра дверь открывается. Нам дают хлеб и баланду. А потом — новый список, новая переключка, новый отбор. Меня приводят в камеру, где собрали «непримиримых». Эрих Мерхель, Апрель, Морозов, Абрамович, Хлебников, Федя К., Петро Сегин — все они были ответственными за порядок во время забастовки. Еще одна ночь. На следующий день после выдачи «сталинской» пайки я с радостью вижу Марка О'Коннелла, я не встречал его более трех лет. Он помогает раздавать хлеб. Шепчет мне:

— Привет, Арман.

— Привет, Марк. И тебя взяли?

— Да, старик. Они берут всех участников забастовки. Думаю, теперь нас ждут худшие времена. Я увидел твоё имя в списках, потому и зашел. Сегодня вечером тебя с сокамерниками отправят столыпинским спецвагоном в Москву.

— В Москву? Станут «шить» новое дело?

— Кто знает? Держи! — И Марк протягивает мне немного махорки, газетную бумагу, коробок спичек и лишний кусок хлеба.

Через год я встретился с Марком в Сибири.

Этим вечером в «столыпине» мы впервые почувствовали себя хорошо. В спецпоезде на купе приходится всего по восемнадцать человек. В Москве мы простояли на вокзале двенадцать часов. Ну и жарница в этой клетке для диких зверей! В туалет выходить запрещено. Полсуюток нам не дают пить.

Куда нас везут? Если в Москву, то чего ради мы стоим? Наверно, ждут ночи. Вокзал полон народу; проходя мимо вагона, люди пытаются заглянуть в этот загадочный «столыпин» и понять, что же там находится. Вдруг рывок — тронулись. Куда же мы едем? К каким новым страданиям и невзгодам? Едем, едем — ночь, две, три... шесть ночей. Наконец, проведя восемь суток в клетке для диких зверей, проехав большую часть европейской России, прибываем в Воронеж. Переехали из 67-й параллели в 55-ю. Прощай, Заполярье!

Воронеж? Почему Воронеж? [...]

* * *

Сочельник 1953 года, Богучар.

В Богучарском монастыре, расположенном между Воронежем и Ростовом, собрали несколько сотен участников воркутинской забастовки. В камерах по пять человек.

Мы словно в склепе.

На стенах иней. Одежда из х/б влажная, не просыхает.

Холод сдавливает плечи — как тиски, руки и ноги скованы глухой непроходящей болью.

Но мы счастливы.

Мы — пятеро верных друзей, на деле доказавших свою дружбу в забастовке, и вот...

Можно говорить не боясь. Мы богаты. У нас даже есть немного табака и солдатских сухарей.

Какой прекрасный рождественский ужин!

Божественный младенец родился.

Перевод с французского Людмилы Новиковой

Леонард Терновский

Последнее слово, произнесенное на суде 30.XII.1980 г.

Когда закончится суд, поздно будет объяснять, почему я сам выбрал этот путь, который привел меня на скамью подсудимых.

А мне хотелось бы быть понятым людьми. Да и суду не должны быть безразличны мотивы действий подсудимого.

Что же привело меня в ряды тех, кого одни называют правозащитниками, другие — отщепенцами?

Убеждение в пагубности молчания, когда видишь несправедливость, сложилось у меня во многом под влиянием документов XX съезда КПСС. 56-й год стал годом моего гражданского пробуждения. Я понял, что, какой бы крохотной песчинкой я ни был в масштабе своей страны, я все равно ответствен за все, что в ней происходит. Но это был еще только образ мыслей. Принципиально отвергая любой сопряженный с насилием путь, я вместе с тем не видел никакой возможности для осмысленного протеста.

В конце 60-х годов я узнал людей, которые стали открыто выступать против того, что считали несправедливым. То, что они избрали своим оружием слово и только слово, как и смелость их выступлений, вызвало у меня симпатию и уважение. Я увидел, что несправедливости можно противопоставить мужество и открытое слово.

Сегодня мне вменяется в вину моя общественная деятельность, которую я называю правозащитной, а обвинение именуется распространением клеветнических измышлений. Я участвовал в деятельности Комиссии по психиатрии, подписывал многочисленные документы и заявления.

Я уже говорил, что убежден в их правдивости. Но для чего я это делал? Надеялся ли я таким путем исправить то, против чего выступал, помочь тем, за кого заступался? Конечно, я желал, чтобы к моим словам прислушались, и был рад, когда удавалось облегчить чью-то судьбу.



Леонард Терновский. 1974 год

Но в жизни все сложнее. И многолетний опыт говорит, что устранить конкретное зло нашими протестами чаще всего не удается. Но все же я не считаю эти обращения и протесты вовсе бесплодными.

Я думаю, что, даже не принося видимой пользы, протест против несправедливости оздоравливает общество. Ведь должны же найтись в нашей стране люди, готовые постоять за справедливость. А если надо — и посидеть за нее.

Как врач я ощущал особую ответственность за все, что делается от имени медицины. Я был убежден, что злоупотребления психиатрией действительно существуют и что с такими злоупотреблениями надо бороться. Поэтому вслед за арестом Александра Подрабиника, когда из членов Комиссии по расследованию злоупотреблений психиатрией в репрессивных целях на свободе оставался один Вячеслав Бахмин, я вошел в состав этой Комиссии.

Я предпочел бы, чтобы не было надобности в моих действиях и выступлениях. Защищать право и закон призваны в первую очередь прокуратура и органы юстиции. Делай они это всегда и последовательно — не было бы нужды в правозащитниках.

Я предвидел свой арест и этот суд. Это, конечно, не значит, что я сам стремился попасть в тюрьму. Мне не 15, а почти 50 лет, и мне не нужна такая «романтика». Я предпочел бы избежать годов заключения. Но поступиться для этого тем, что считаю своим долгом, я полагаю недостойным.

Сейчас я выслушаю ваше решение. Что ж? Приговор — это и невольное признание значимости того, что я делал и говорил. А в будущем моя реабилитация так же неизбежна, как и сегодняшнее осуждение.

В соответствии со своими убеждениями я стремился бороться с несправедливостью, помогать людям, делать им добро. Этим объясняются все мои действия и выступления.

И я пойду в неволю с чистой совестью.

4

Янош Бардах НЕВОЛЬНИЧИЙ КОРАБЛЬ*

Я лежал на животе и силился что-нибудь рассмотреть в окружающей тьме. Тьма эта была не ночная — тьма плотно замкнутого пространства. Огромное помещение заполняли матерщина, грубые голоса, отражающиеся от деревянных стен и потолка. Я и понятия не имел, где нахожусь.

Болела спина. Я вспомнил, как кричал Жора, как из шеи у него хлестала кровь. Должно быть, пырнули и меня. Я не мог пошевелить ногами — видно, нож проскользнул у меня между позвонками и повредил спинной мозг.

Жора лежал рядом и стонал во сне. Я спросил:

— Как ты? — но ответа не получил.

Постепенно я стал различать тени проходящих мимо людей и нары над головой. В отдалении забрезжил тусклый свет.

— Где мы? — спросил я соседа.

— На пароходе.

Я приподнялся на локтях и пошарил на нарах, ища пайку. От спины до ног меня пронизывала боль. Я снова растянулся. Пошевелил пальцами ног. Слава Богу, не парализован, спинной мозг не задет.

— Прозевал пайку, — заметил сосед. — Придуркам что? Решили, что спите, и уперли.

Жора простонал громче, протянул руку, дотронулся до моего плеча. Ладонь горячая. Я пощупал ему лоб. Сильный жар.

Он попросил воды. Хотелось пить и мне.

— Есть у кого-нибудь кружка? — громко спросил я.

На нарах сверху завозились. Свесились ноги. Кто-то нагнулся и сказал:

— Воды нет! Вот банка. Только чтоб вернуть!

* Из колымских воспоминаний известного американского хирурга Яноша Бардаха. Английский текст подготовлен к изданию при участии Катрин Гиттен..

Я взял жестяную банку, сполз с нар и выпрямился на дрожащих ногах. Я не знал, куда идти, и двинулся на свет. Через каждые несколько метров путь мне пересекал другой проход, и вскоре я испугался, что могу заблудиться. Я вернулся к своим нарам и пошел опять на тусклый свет вдаль, считая деревянные стойки и боковые проходы.

Между нарами пройти рядом могли бы от силы двое. Я был слаб, кружилась голова, и примерно через каждые два метра присаживался на чьи-то чужие нары. Наконец я достиг прохода пошире, он выводил к свету. Свет сочился сверху, из приоткрытого люка. У подножия я увидел бочки с водой. Рядом воняли парашаи.

Я выпил залпом три банки и принес полную банку Жоре.

Я держал его горячую, сухую руку и то и дело клал ладонь на его липкий лоб. Жар у него как будто усиливался. Его несколько раз ударили ножом в спину — не только в шею. Убить хотели. Врача надо. Я поплелся к люку.

На ступеньках трапа сидели заключенные, курили, балагурили. Они уставились на меня и слегка посторонились, чтобы мне было, куда поставить ногу. Татуированные руки и тела — ясно, с кем имею дело, но я пошел напролом.

На третьей ступеньке кто-то ухватил меня за плечо и крутанул.

От боли в спине я закричал.

— Гляньте-ка на этого младенца. — И он железными пальцами вцепился мне в подбородок.

Я стал вырываться.

— Ты, хрен жеребчий! Меня ножом пырнули. А друг мой умирает, оттого и лезу. Подавился бы ты своим хреном! — Только так, другого языка они не понимают.

— Тихо, тихо. Раскипятился... Я-то думал, что ты из-под маменькиной юбки, а ты вон какой! — К моему изумлению, он заговорил дружелюбно. — До люка ты не доберешься, доходягя! Давай подсоблю.

Он крепко обхватил меня и вытащил в верхний трюм.

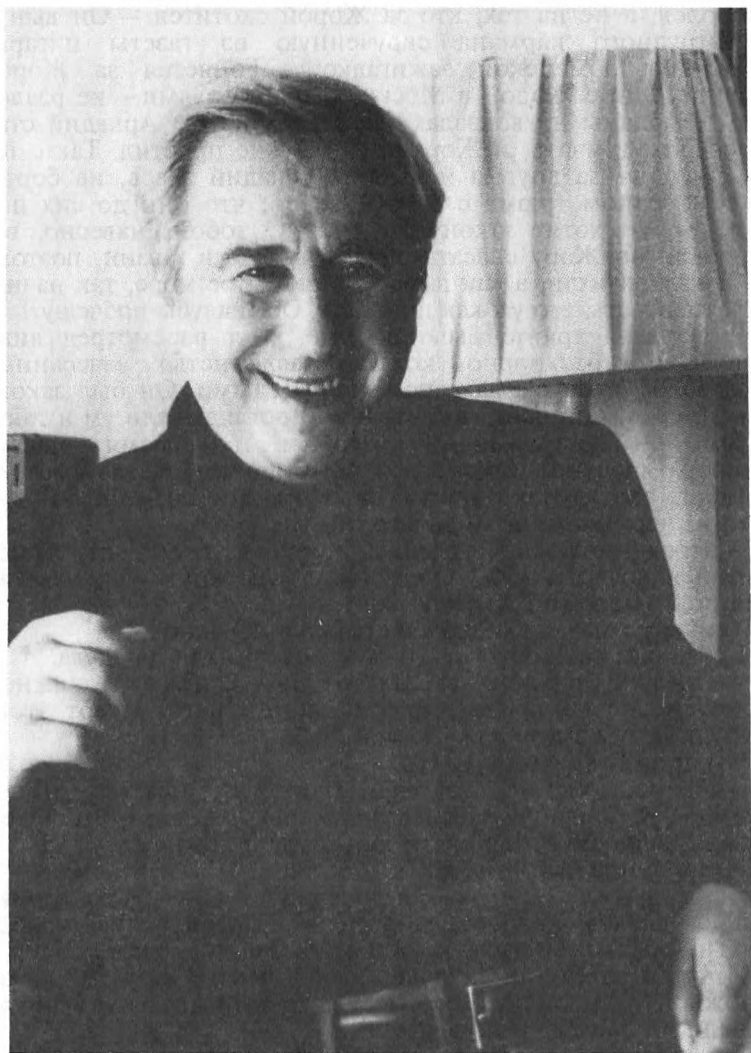
— Тебе, браток, самому лепила нужен. Как тебя кличут? Кто твой кирюха?

Я назвал свое имя и рассказал, как познакомился с Жорой.

— Жора-аристократ! Кто его не знает! В Котласе вместе бедовали. Рьжий еврей? С гитарой? — Я кивнул. — Ох и играет на гитаре, а поет! Повезло тебе заиметь такого дружка!

Мы передохнули в верхнем трюме, прежде чем взбираться по крутому трапу к люку. Он протянул руку.

— Игорь. А что с вами обоими случилось?



Янош Бардах

Я рассказал ему о ранах, полученных в порту Находки.

— Ага, слышал об этом. Тебе повезло, что ты на меня напоролся, а не на тех, кто за Жорой охотится. — Он вынул из нагрудного кармана скрученную из газеты сигарку и щелкнул армейской зажигалкой. — Гоняется за Жорой Аркадий. Они с Жорой в Москве были друзьями — не разлей вода! Чемоданы на вокзалах тырили. А потом Аркадий стал чересчур жадничать, и Жора ему этого не простил. Так с тех пор они друг за другом и рыщут. Аркадий здесь, на борту, может, в одном трюме с вами. Уверен, что они до сих пор ищут Жору — хотя закончить дело. С тобой, наверно, все обойдется, но Жору спасти надо. Мы еще в гавани, поэтому они пока притихли, а как выйдем в открытое море, так начнут вас разыскивать, это уж как пить дать. Обе палубы прочешут.

В верхнем трюме было светлее, и я рассмотрел лицо Игоря. Из-за бескровной кожи и маслянистых, зачесанных назад волос его зубы казались очень белыми. Он был законченный урка, но сквозь это странно проглядывали ум и такт.

Был он напряжен, насторожен, во время нашего разговора яростно оглядывался по сторонам. Когда смотрел на меня, его глубоко посаженные глаза смягчались и как будто из черных становились голубыми.

— После того как вытащим Жору на палубу, ты лучше ошивайся возле меня. — Он погасил самокрутку и, ухватив меня под мышками, понес к люку.

Там загромыхал кулаком в стальную крышку.

Когда она распахнулась, нам в лица ткнули два дула.

— Доктора нужно, — сказал Игорь. — Одного в нижнем трюме сильно финачом пырнули. Жар у него. И вот этого пырнули, ему доктор тоже нужен.

Охранники переглянулись.

— Ладно, — сказал наконец один из них. — Где по-настоящему больной? Несите его к люку. А ты, — указал он на меня пальцем, — выползай на палубу и ложись.

Игорь пошел за Жорой.

Лежа на палубе, я вдыхал соленый воздух, густо пропитанный запахом йода и водорослей. Я щурился на голубое небо, на облака, на чаек, кружащихся над кораблем.

Игорь и еще один заключенный вынесли Жору из люка. Положили на носилки и в сопровождении двух охранников понесли по палубе. Я пошел вслед.

В медпункте я лег на стол. Когда доктор сдирал мою повязку, я закричал.

— Надо наложить швы.

Подростком, одержимый желанием доказать себе, что я способен переносить боль, я попросил удалить мне зуб

без наркоза. Вспомнив этот эпизод, я стискивал зубы, когда игла протыкала мою воспаленную плоть. Хуже всего было, когда завязывали узлы, но я не издал ни звука. Сестра перевязала мне рану, и меня отправили обратно в трюм.

Двое охранников с трудом подняли чугунную крышку. Трюм запирался железным рычагом и поперечиной. Рядом с трюмом лежало наготове два брандспойта на коротких толстых бревнах; с двух сторон на трюм были нацелены пулеметы.

Спускаться в трюм было все равно, что погружаться в подземный муравейник, где тысячи обитателей медленно задыхаются в духоте и грязи.

Добравшись до нижнего трюма, я ухватился за ближайший столб и стоял, пока глаза не привыкли к темноте, а затем двинулся вперед в лабиринте нар и пересекающихся проходов. Я нашел свое место и хотел было забраться туда, но вдруг увидел несколько урок рядом с моим соседом. Вспомнились слова Игоря: «Будут разыскивать Жору». Боясь, что могут прибить и меня, я повернул назад.

«Надо найти Игоря, — в отчаянии подумал я. — Он — моя единственная защита». Я вернулся к трапу, где впервые увидел Игоря, и сел на полу в тени, надеясь что появится он или его дружки.

Через несколько часов мимо прошел тот заключенный, который помог вынести Жору на палубу.

— Где Игорь?

— Игорь сказал, что ты переходишь к нам.

С трудом нашел я Игоря и его компанию. Он представил меня как «поляка, друга Жоры».

С иронией в голосе Игорь продолжал:

— Хорошо плыть с поляком на польском пароходе. Называется он «Феликс Дзержинский», в честь «железного Феликса», детишки которого спровадили нас на Колыму. Он папаша НКВД.

Посреди ночи я проснулся от качки и скрипа, до того громкого и пронзительного, что казалось, машинное отделение помещается у меня за спиной.

Я лежал в темноте. Корабль трещал, он, казалось, вот-вот расколется, в трюме было душно и жарко. Игорь с товарищами сняли рубашки, скатали телогрейки, положили под головы. Я сделал то же. Закрыв глаза, пытался представить себе северо-восточную оконечность Советского Союза, колымскую территорию. Сама по себе Колыма была загадкой. Что я знал об этой огромной, почти что непригодной для жизни, безлюдной территории?

...Когда нам с моим одноклассником Шимеком Поляковским было четырнадцать лет, мы донимали друг друга вопросами о столицах, городах, языках, реках, горах, климатах, президентах, монархиях, республиках, культурах. Это продолжалось довольно долго, так что мы поднаторели в знании мира.

Вся карта северо-восточных территорий Советского Союза и окружающих морей живо вставала у меня в памяти, настолько же ясно, как в ту пору, когда я, мальчишка, мечтал о путешествиях, об исследовании этих неведомых просторов — Японского моря, Охотского моря, Берингова пролива, Сахалина, Колымы, Курильских островов...

А теперь я здесь, идем по Японскому морю — и ничего не вижу! Теперь я раб на невольничьем корабле.

Я задремал. Очнулся от резких, возбужденных голосов. Какие-то новые лица...

Игорь давал наставления:

— Узнаете в точности, где хранится жратва. В другое помещение нам вламываться нельзя. Ленька сказал, что между нашим трюмом и продовольственным складом — двойная деревянная стена. Однако стена эта доходит и до других помещений — до машинного отделения, инструментария, кубрика для механиков. Торопиться не надо. Сегодня ночью мы ничего делать не будем. Но про стену мы должны разузнать. Надо убрать две-три доски и поглядеть, что там находится. Попыхтеть придется. Гвозди там сантиметров в тридцать.

Я начинал понимать, о чем речь, и мне это не нравилось. Что за радость оказаться замешанным в их дела.

Утром в трюм спустилась большая группа придурков раздавать пищу. Охранники вообще не показывались. В лабиринте узких проходов заключенным ничего не стоило разоружить охранника. Придурки, поигрывая увесистыми дубинками, раздавали пайки и селедку.

Я пригнулся и протянул руку к куче хлеба, наваленного на чью-то рубаху.

— Можешь взять еще пайку, — сказал Игорь.

Не спрашивая, откуда лишние, я подхватил и тут же съел. «Кому-то и вовсе не достанется», — со стыдом подумал я.

Игорь вдруг объявил:

— Перебираемся на новое место!

Я потащился за блатными по извилистым проходам. Наконец добрались до нар, примыкающих к сплошной перегородке. Блатные из команды Игоря расположились наверху и внизу. Те, другие уголовники, приходившие ночью, расселись невдалеке.

Их было человек сорок, все они бахвалились, матерились и вдосталь курили.

— Целый год о копченой свинине мечтаю, — проговорил тощий малый рядом со мной, — видел, в больших банках продают перед Новым годом. Консервы — самое милое дело. Небось за стеной жестянок — аж тысячи. Запах прямо-таки чую. И ничего больше мне не надо. Лопайте все остальное, а я так по банке в день хавать буду.

— Ага, — похвастался прыщавый паренек, — как-то очень давно я такую свинину ел. В детдоме нам ее не давали. Только ногами пустые жестянки гоняли на улицах. Мясом кормили два раза в год, ну, не больше трех. А то все каша да суп, суп да каша. Эх, до чего хочется от пуза нажраться! Даже во сне кости грызу.

С нижних нар доносился постоянный гулкий стук. Сперва я боялся, что охранники услышат, но рядом — машинное отделение. Грохот заглушал все звуки.

Глубокой ночью меня разбудили взволнованные голоса. Игорь громко прошептал:

— Вали все на верхние нары. Да смотрите, доски поставьте на место!

Меня окружили консервные банки и дерюжные мешки. То и дело протягивались руки, нагромождая все больше и больше пищи. По воздуху летели круглые караваи.

— Кончай! — отрезал Игорь. — Всего не пережрать! Дня через два-три снова полезем.

...На верхних нарах громоздились банки копченой свинины, скумбрии, сгущенного молока, фасоли, гороха. Игорь нарезал темный хлеб самодельным ножом. Все присунулись поближе, пялили голодные глаза и ждали сигнала начинать.

— Открывай банки — приказал он.

У двоих были ложки-ножи с остро отточенными ручками. Они втыкали их в банки, резали жезь, выбивали содержимое на расстеленную рубаху, но никто еще и пальцем не прикоснулся к еде.

— Налегай! — скомандовал Игорь.

Те, что впереди, хватали куски хлеба, рвали руками мясо, зачерпывали фасоль и горох ладонями, задние опрокидывали в рот банки, глотая непрожеванное. Чавкали, урчали, рыгали, лизали, жевали. Я не добывал еду и поэтому не сразу включился в общую трапезу, сначала насмотревшись, как дружно они пируют, не отталкивая друг друга и не сквернословя.

От запаха копченой свинины у меня текли слюни. Я положил кусок на черный хлеб и начал жевать медленно, тщательно, стараясь как можно дольше удержать ее вкус во рту. Это

было великолепно, сказочно — куда там изысканным яствам в дорогих ресторанах!

Кто-то из урок полоснул ножом мешки.

— Макароны! — закричал он.

— Это варить надо, — бросил другой.

— Чего? Варить! Я их и так хаваю. Сварятся в животе.

И одутловатый, с залысинами урка с хрустом ломал макароны, запихивал в рот. Закрыв глаза и задрав подбородок, он молот и молот их зубами. Его кадык подскакивал с каждым глотком.

После часового обжорства урки притиснули остатки еды к стене и прикрыли рубахами. И все повалились — куча мала, — рыгали, выпускали кишечные газы...

Через двое суток — новый взлом. На этот раз приволокли ящик махорки — воистину золото для заключенных. И еды всем хватило вволю, даже поделились с другими блоками. Урки хотели изумить всех своей щедростью.

Я обжирался вместе со всеми, но со страхом. А что, если охранники обнаружат кражу? Что, если остались без еды тысячи заключенных? Я спросил у Игоря:

— Что будет, если нас накроют?

Игорь посмотрел на меня, как на дурака.

— Успокойся! Эти продукты не для заключенных. Тут всему Магадану на зиму хватит. Ящиков от днища до палубы. Не морочь себе голову. Ешь от пуза.

Несмотря на доброжелательность Игоря, я чувствовал себя не в своей тарелке, чужак, я затесался в их компанию, живу за их счет, а они бахвалятся своими преступлениями, вспоминают такое, аж кровь стынет. И в то же время втайне я гордился, что они приняли меня в свою среду.

В Польше я гордился тем, что дружу с детьми бедняков, чьи семьи, и взрослые, и дети, жили в одной комнате, ели черный хлеб, картошку да щи. Несмотря на положение отца, я был убежденным пролетарием, мне требовалась социальная справедливость. Я даже стыдился моих благополучных родителей и готов был поделиться всем с моими обделенными друзьями.

Смущало меня не то, что Игорь и его дружки — уголовники, а то, что они считали себя вправе обирать других заключенных. Для меня оставалась непреложной усвоенная в заключении истина: воровать пищу — все равно что отнимать чью-то жизнь.

После второго взлома поговорить с Игорем и его дружками на верхние нары влезли какие-то урки, которых я раньше не видел. Меня оттеснили к стене. Разговаривали они долго, и по обрывкам слов, по злым, решительным го-

лосам я подумал, что после прибытия корабля в Магадан они пойдут на новое дело. Страшно стало: неужто потащат и меня? Неужели я привязан к ним намертво? Месяцы в заключении открыли мне многое. Я теперь знаю, что иногда можно спасти чью-то жизнь, лишив пайки кого-то другого. Я видел, как это делают, но сам так не поступал.

Среди ночи я услышал, как Игорь спорил с четырьмя незнакомыми урками.

— Ты с нами или нет? — сердито спросил один.

Я не все понимал из-за блатного жаргона.

Они перешли на угрозы и ругань. Вот-вот начнется драка. Но в конце концов Игорь прекратил разборку.

— Держите хрены в портках! Мы с вами не пойдём. Туда пробираться через склад надо, накроют — в расход пустят. Потерпите неделю, доберемся до зоны, тогда...

Урки спрыгнули с нар.

— Духарики, — процедил сквозь зубы Игорь.

Зажженная спичка осветила его лицо, когда кто-то протянул ему самокрутку. Он жадно, глубоко затянулся. Все молчали.

...Среди ночи я услышал пронзительные вопли. Женские голоса! Я подполз к краю нар. Все мои соседи лежали на животах, свесив головы.

— Дерьмо... Сделали, сволочи! Ну, и вы прыгайте, кому жить надоело, — прошипел Игорь.

Никто не шевельнулся.

Я посмотрел на пролом, ведущий в продовольственный склад. В тусклом свете мужики тащили сквозь него женщин, словно мешки с мукой, и увлакивали в черноту трюма.

Меня пронзило сознание беспомощности и ужаса. Я и понятия не имел, что на борту находятся женщины-заключенные. Вероятно, их погрузили после того, как нас заперли в трюм.

То, что я увидел, было ужасно. Уйма людей столпилась в проходе, они дрались, пытались протиснуться ближе к пролому и схватить женщину, как только ее втолкнут к нам.

Крики, вопли... Все больше и больше женщин втаскивали через пролом, мужчины толпились в нашем отсеке, давя друг друга, видно, орудовали не только урки. О Господи, когда же явятся охранники?

Женщины извивались, кусались, царапали мужикам лица, а те в ответ лупили их кулаками. Среди мужских криков и кричтения я расслышал: «На помощь!» и «Фашисты!». Как волчьи стаи, на каждую женщину набрасывались толпы, они

бешено срывали с нее одежду, орали друг на друга, верещали и стонали, насыщая похоть.

А сотни других заключенных наблюдали, свесившись с нар. Вмешаться не смел никто. Пронзительный крик ударил мне в сердце. Я вспомнил о матери, сестре, жене — нацисты могли изнасиловать их, если уже не изнасиловали. При этой мысли меня затрясло от ярости и страха, я спрыгнул с нар, чтобы кого-нибудь защитить. В проходе меня тотчас сдавили со всех сторон. Добраться до женщин было невозможно. Я попытался вернуться на нары, но меня оттерли к другой стороне прохода. Я упал, но мне удалось вскарабкаться на нижние нары, еще минута — затоптали бы. Какая-то смертельная усталость и оцепенение навалились на меня.

...А совсем рядом лежала голая женщина — ладони кверху, в лице никаких признаков жизни. Ее все еще насиловали. Менялись часто, подбадривали друг друга, требуя поторопиться. Меня вырвало.

Вдруг ударили ледяные водяные потоки, сбивая все на своем пути. Сперва они хлестали вдоль проходов, полностью их очищая, а затем повернулись к нарам.

Считанные минуты — и дикая оргия прекратилась. Женщины лежали на нарах, в изодранных одеждах, беспомощные. Некоторые вскрикивали, но те, что ближе к нашим нарам, не шевелились. Я испугался: живы ли они?

Вода шарахнула по нашим нарам и пропитала меня насквозь. Я лежал плашмя, увернуться от струй было невозможно.

С головы и одежды Игоря лилась вода. Он приказал:

— Забейте дыру!

Спрыгнул и с лицом, искаженным яростью, продолжал кричать и размахивать руками. Несколько человек кинулись за ним. Брандспойты все работали. Когда перестали, охранник объявил в рупор:

— Всем заключенным в нижнем трюме возвратиться на свои места и ждать поверки! — повторил он несколько раз.

И снова его голос:

— Готовьтесь к поверке. Никому не двигаться. Будем применять оружие.

С обоих концов медленно надвигались к середине трюма лучи прожекторов, освещая проходы. Световые кружки карманных фонарей мельтешили по нарам. Было приказано слезать с нар, строиться и докладывать данные о себе.

Обыскивали тщательно. Фонари не скоро дошли до наших нар, а когда наконец дошли, меня изумило отсутствие вооруженных охранников — одни придурки с дубинками.

Они останавливались возле очередной жертвы, записывали фамилии заключенных, находившихся поблизости. Спросили меня — назвал первую попавшуюся.

Женщина на нижних нарах не пошевелинулась, даже когда пустили воду. Вокруг нее нары были пусты.

— Сволочи! Вот еще одна! — закричал придурок. — Зови фельдшера. Носилки тащи! — Он взял ее за руку. — Померла! А крови-то, крови-то!

И снова закричал в рупор:

— Еще носилки!

Нашу группу, промозглых, дрожащих, заставили слезть с нар. Ледяная вода поднялась выше щиколоток. Ступни мои онемели. Каждого из нас спросили, не знает ли он, кто виноват в смерти женщины. Никто не сказал ни слова.

Мы снова забрались на нары. Я разделся догола. С двумя другими заключенными выжали всю одежду. Потом тесно прижались друг к другу, чтобы согреться, но это оказалось невозможным. Зубы мои безудержно стучали.

Следующие трое суток я слезал с нар, только чтобы пойти к параше или напиться. Вокруг кашляли и чихали, многие карабкались по трапу к врачу.

И вдруг наступила тишина. Машины замерли. Через несколько часов нам скомандовали выгрузаться.

В люк врывался холодный ветер. Выйти на дневной свет было все равно, что погрузиться в ледяной океан. Над горизонтом низко стояло солнце. Я посмотрел по сторонам на заснеженные сопки, окружающие порт, и поздравил себя с прибытием в новый для меня мир.

Колыма, Колыма,
Чудесная планета:
Двенадцать месяцев — зима,
Остальное — лето!

Этот куплет, смысл которого потом постиг сполна, вертелся у меня в голове, пока я стоял на палубе, дрожа от страха и холода.

*Перевод с английского
В. Владимирова*

Михаил Миндлин

БРИГАДИР

Михаил Борисович Миндлин. Родился в 1909 году. В шестнадцатилетнем возрасте вступил в комсомол, в двадцать один год — в партию. Возглавлял Сталинский райсовет Осоавиахима Москвы. Награжден Почетным знаком. Получил именное оружие от ЦС ОАХ и ЦК ВЛКСМ и ценный подарок от Ворошилова.

В 1937 году арестован. Лубянка. Бутырка. Осужден на 8 лет ИТЛ. БАМлаг, Колыма. Тяжелый физический труд. Освобожден в 1947 году. В 1949 году снова арестован и отправлен на вечное поселение на Ангару. Реабилитирован в 1955 году.

В настоящее время живет в Москве. Занимается составлением и публикацией расстрельных списков.

К весне из нескольких сот завезенных зеков осталось несколько десятков чуть тепленьких. В числе счастливицков, поправлявшихся в ОП (оздоровительном пункте), был и я — «тонкий, звонкий и прозрачный». После ОП нас пропустили через баню, помывли, все барахлишко прожарили в походных вошебойках, барак продезинфицировали. И вот, вымытые, освобожденные от паразитов, долго сосавших нашу кровь, мы попали в чистый барак ОП, где проходила комиссовка на работу. Комиссовали нас, «доходяг», быстро. Большинство выписали на работу, мне был назначен легкий труд на один месяц. Через несколько дней нарядчик привел меня в хлебопекарню: «Будешь здесь помогать!» Представляете мою радость — легкая работа, сытая жизнь, отсутствие конвойных!

Заведующий — маленький щупленький татарин лет тридцати пяти — жил со своей молодой женой в пристройке к пекарне. Оба бывшие заключенные, он бытовик, она уголовница (из ворья). В мои обязанности входило колоть дрова, колоть и растапливать лед, чистить и смазывать формы, вытаскивать готовый хлеб из печей, убирать помещение, вести учет выпечки и припека. Кроме того, когда молодой

хозяйке заблагорассудится помыться, мне приходилось таскать и греть воду.

Ел я «от пуза» и пил бражку, приготовленную на дрожжах. Полагающийся мне вечерний приварок и хлебную пайку отдавал товарищам. Через три недели я так поправился, что не узнавал сам себя. Заведующий относился ко мне очень хорошо и сумел договориться с лагерным начальством о разрешении для меня отсутствовать на утренних и вечерних поверках. От него я узнавал новости; газет он не приносил, но по его рассказам можно было почувствовать, какие огромные потери несет нам война.

Заведующий пекарней зашибал большую деньги, ведь за булку хлеба давали сто рублей, а за припеком строгого контроля не было. Своя рука — владыка! Сколько захотел — столько водички и подлил. Тогда впервые стали выпекать хлеб из соевой муки — желтый, ноздреватый и в свежем виде очень вкусный.

Месяц пребывания в пекарне подходил к концу, и я со страхом ждал прихода нарядчика, который должен был отправить меня в забой. В последнее время нарядчик и ротный косо поглядывали в мою сторону, ожидая приличного куша. Они не могли и представить себе, что в пекарне можно не воровать. Но, видимо, им что-то подкинул заведующий: прошел месяц, а меня не тревожили. Однако мне пришлось самому ускорить свой уход из пекарни. Хозяйка стала предъявлять ко мне невыполнимые требования, я же не хотел платить черной неблагодарностью заведующему пекарней. Когда я уходил, он взял с меня слово, что в случае необходимости я обращусь к нему за помощью. К сожалению, я забыл его фамилию, но доброго его отношения и помощи я забыть не могу.

Я вернулся в зону, где начали формировать бригаду из «доходяг». Очевидно, не без ходатайства завпекарней меня назначили бригадиром.

Второй год шла война. Этапы с пополнением на Колыму прекратились. Начали поступать продукты из Америки. Мы стали получать белый хлеб, а овсяная баланда начала пахнуть копченой свининой. Но, главное, прекратились издевательства «придурков» и конвоиров. Конечно, все это было неспроста. Видимо, поступила директива сохранить нас для добычи металла, в котором страна остро нуждалась. А кроме того, мы поняли, что до конца войны людских пополнений не будет.

Среди заключенных были и такие, кто злорадствовал. Пострадавшие от советской власти, они рисовали себе ра-



Михаил Миндлин. Кольма. 1949 год

дужные картины жизни при фашизме. Но большинство наших товарищей давали отпор их враждебным настроениям. Чаще всего этим «патриотам» просто били морду в бараках.

Однажды за мной в барак зашел нарядчик: «Миндлин, одеться и быстро на вахту!» Повели меня к «куму» (кажется, его фамилия Федоров). Вежливо пригласив меня сесть и угостив папиросой, он заговорил со мной как с бывшим командиром танковой роты запаса. Намекнул, что было бы неплохо, если бы имеющие военную специальность и звание согласились в тяжелую для Родины годину добровольно пойти на фронт. Я был поражен, взволнован, но все же опасался какого-нибудь подвоха. Ответил с радостью: «Гражданин уполномоченный, если только мне доверят оружие, я готов хоть сегодня отправиться на фронт, несмотря на то, что физически еще очень слаб». И тут же я написал заявление о желании отправиться на фронт. Но после вступления за здоровье началась беседа за упокой. Мне было предложено помочь администрации выявлять инициаторов антисоветских настроений в лагере и систематически информировать о них. Я категорически отказался от предложения стать сексотом и был отправлен в зону с напутствием, что при надобности меня вызовут.

В ожидании ответа на мое заявление я занялся своей бригадой, состоящей из бывших «доходяг». Нам вручили скрепки и лотки. План намыва золота на тридцать человек был 150 граммов в день. Начались заботы по выполнению плана. Надо было и кормить бригаду. Предыдущий опыт работы в шурфах и забоях показал мне, за какие грунты надо браться, чтобы намыть план. И бригада стала перевыполнять план с первых же дней работы. Но я боялся, что при большом перевыполнении плана его пересмотрят. Тогда пайка станет меньше. И я стал хитрить и заначивать намывное золото в укромных местечках, чтобы выполнять план в неудачные дни. Бригада крепла, набиралась сил. Работали без понукания, с полной отдачей. Во время промывочного сезона «придурки» были обложены личным дневным планом намыва в три грамма. Но они не любили работать и искали возможности добывать золото без труда.

И тогда ради своих товарищей я дал на «лапу». Мною были куплены старший повар, нарядчик и лепила, приходившие в забой с лотками, незаметно для конвоя получившие от меня капсулю с золотой мздой. За это бригада пользовалась большими благами. Баланду получали густую, повар не жалел добавки. Каждый член бригады по очереди получал выходной день от лепилы. Каждому была обеспечена добавка в сто граммов хлеба.

Через некоторое время из «доходяг» мы превратились в полноценных, здоровых людей, и нас перебросили на промышленную добычу песков. За бригадой закрепили большой участок песков на вечной мерзлоте. На бойлерах мерзлый грунт отпаривался и тачками отвозился к бункеру, где промывался и отбивался металл. Работая долгое время на промывке лотками, мы научились распознавать наиболее богатые грунты и насыпали себе две-три тачки грунта, «случайно» сваливая их под эстакаду. К концу рабочего дня промывали его и пополняли «фонд заначки». За перевыполнение плана мы часто получали премию в виде трех-четырех пачек махорки, которую раздавали курящим по спичечной коробке. Иногда премию давали спиртом (400—500 граммов). Спиртом мы подкупали «придурков», которые были до него очень охочи. Понемногу начальство стало считаться с нашей бригадой. Правда, мне довольно часто приходилось отсиживаться в «пердильниках» (карцерах) из-за бригадных дел, но в этом уж виноват мой неисправимый характер.

Георгий Демидов

ДУБАРЬ МОЙ ОТЕЦ

Отсутствие отца мне не мешало и очень мало меня трогало. Я даже не знала, для чего он нужен. Мама — это понятно! Готовит, стирает, штопает, работает и устраивает мне время от времени головомойки. Росла я вольно, с утра до ночи предоставлена сама себе, школе и улице. Точно так же росли почти все мои дворовые друзья, но мы очень много читали.

Впервые о том, что мой отец жив, я узнала по дороге в детский сад летом 1945 г. Я хорошо помню этот день. Дорога в детский сад шла через заброшенное старое кладбище, сплошь заросшее кустами сирени. Нас — ребятешек со всего двора — по очереди отводила и забирала чья-нибудь мама.

В этот день была очередь моей. Она шла по тропинке и все время перечитывала какое-то письмо, а мы ошалело носились вокруг. Потом она вдруг ухватила меня за платье, притянула к себе и сказала: «Твой отец жив, только об этом не надо говорить!» — и заплакала. Я, кажется, перепугалась, но потом весь день в детсаду пританцовывала и всем повторяла: «У меня жив папа!» Как можно не говорить, когда есть папа! Вечером мама опять читала письмо. Писала женщина, врач, которая в больнице на Колыме делала папе операцию, лечила его и, узнав его историю, без его согласия решила написать нам. Совсем недавно я узнала ее имя — Анна Леонидовна... Мама написала отцу, но ответа не получила.

А через год-два, где-то в 1947 — 48 г.г. (точно не помню), пришло второе известие о папе. Уже через много лет я узнала, что это было первое и единственное личное послание отца с Колымы с извещением о втором, десятилетнем сроке и требованием (именно требованием, а не просьбой), чтобы мама официально от него отказалась и жила спокойно. Надежды выйти оттуда живым у него не было. Даже посылку, которую мама, не взирая на его распоряжение, отправила, он вернул обратно. Такой уж он был человек.

Решал раз и навсегда, как отрезал. И никогда своих решений не пересматривал!

И больше никогда, ни одного слова об отце я не слышала от мамы до самого 1956 г. Не отказалась, сохранила все его документы, вплоть до диссертации (все это возила с собой в эвакуацию и обратно) и молчала.

И я не спрашивала. Став постарше и помня, что отец, кажется, жив, я строила совершенно фантастические планы его розыска, но ни с кем и никогда этими планами не делилась.

Лишь один раз, окончив школу и подавая документы в институт, я спросила у мамы, что написать об отце. Она подумала и сказала: «Пиши — погиб на фронте». И все.

Когда начались процессы по реабилитации, маму вызвали в Военную прокуратуру, сообщили, что он жив, его дело пересматривается, и дали его адрес. Так мы узнали друг о друге. Мне было 19 лет, когда папа впервые приехал к нам и сразу же стал для меня самым умным, самым интересным, самым главным человеком в жизни.

Эрудирован он был необычайно, очень много знал и умел. Был прекрасным рассказчиком и великим спорщиком.

К сожалению, почти двадцатилетняя отцовская каторга родителей не сблизила, а отдалила. Папа жил в г. Ухте, мы в Харькове и ежегодно ездили в гости друг к другу — то он к нам, то я к нему.

Обо всем, что с ним произошло после ареста в феврале 1938 г., я узнала уже от него. Судил его Военный трибунал, получил он восемь лет, статья 58, и в сентябре он уже был на Колыме. На общих работах провел более 10 лет. В июле 1946 г. получил второй срок — 10 лет. Итого — 18 лет.

Почти документально его пребывание на Колыме описал Варлам Тихонович Шаламов в рассказах «Иван Федорович» и «Житие инженера Кипреева». С Варламом Тихоновичем папа провел на «одних нарах» в Центральной лагерной больнице почти два года. Он на самом деле «изобрел» заново электрическую лампочку, организовал и пустил электроламповое производство — в тех условиях вещь почти немыслимая. И на самом деле швырнул коробку с американским костюмом, сказав: «Я чужие обноски не ношу!» За что и получил добавочные 10 лет.

Шаламов писал в своих воспоминаниях, что Г. Г. Демидов — один из самых умных и достойных людей, встреченных им на Колыме.

В конце сороковых годов на Колыме разыскивались и вывозились в Москву «выжившие» ученые-физики для работы над атомной бомбой. Попал под это распоряжение и отец, но уже после приезда в Москву выяснилось, что он не

ядерщик, а электрофизик. Доотбывать срок его отправили в Коми АССР, в Инту. Здесь он освободился, переехал в г. Ухту, где начал работать на Ухтинском механическом заводе. В 1958 г. был реабилитирован.

Папа был очень сильным и гордым человеком. Талантлив был удивительно. Свой первый патент на изобретение получил в 1929 г. в возрасте 21 года. Разнообразие его интересов поражало. С третьего курса физико-химического факультета Харьковского университета его забрал Ландау к себе в лабораторию. Когда его однокурсники защищали дипломные работы, папа защитил кандидатскую диссертацию.

Начав работать на заводе в Ухте, сразу же занялся изобретательством. И через 2—3 года его портреты висели на центральной площади города с надписью «Лучший изобретатель Коми АССР». О нем писали в газете. Но и он в это время уже начал писать.

Когда-то папа сказал мне, что еще на Колыме поклялся выжить во что бы то ни стало, чтобы описать этот «ад». Он слово сдержал и теперь должен писать. Он не прятался, давал друзьям и знакомым читать написанное и в конце концов привлек к себе внимание соответствующих органов. Его пробовали уговорить изменить тематику, предлагали членство в Союзе писателей, большой тираж. Специально приезжал человек из Москвы, целую неделю читал, душевно разговаривал и уговаривал. Папа категорически отказался. И тогда началось... Его портреты были сняты, и, хотя его предложения продолжали приносить экономический эффект, говорить об этом не рекомендовалось.

Выйдя на пенсию, папа поселился в г. Калуге и по пятнадцать-шестнадцать часов в сутки сидел за машинкой. Его произведения ходили в самиздатовских списках, несколько раз ему предлагали переправить их за границу. Он категорически был против, считая, что такие вещи нужны нашему читателю.

Понимая, что он находится под пристальным вниманием КГБ, папа четыре экземпляра своих произведений (из 5 машинописных и переплетенных) отдал друзьям в другие города.

Один такой экземпляр — пять больших томов, с царственной надписью — был у меня. В августе 1980 года одновременно по всем этим адресам в пяти городах были произведены обыски и все отцовские рукописи арестованы. Забрали все, до последней строчки, не осталось ни одного черновика.

После такого удара папа уже не оправился.

В феврале 1987 г. его не стало. За несколько дней до смерти, посмотрев фильм «Покаяние», совершенно потря-

сенный папа сказал: «Кажется, можно обращаться с просьбой вернуть!»

После его смерти я обратилась в ЦК к А. Н. Яковлеву с просьбой вернуть отцовские произведения. В июле прошлого года рукописи отца мне были возвращены.

В. Демидова

Унылый звон «цинги», куска рельса, подвешенного на углу лагерной вахты, слабо донесся сквозь бревенчатые стены барака и толстый слой льда на его окнах. Старик дневальный с трудом поднялся со своего чурбака перед железной печкой и поплелся между нарами, постукивая по ним кочергой:

— Подъем, подъем, мужики!

Все мы, обитатели холодного и обшарпанного барака политических заключенных, «контриков», как нас называли жившие в куда лучших условиях уголовники и лагерные надзиратели, слышали эти ненавистные сигналы утренней побудки не в первый, а большинство тут даже не в тысячу первый раз. Да и все остальное было сейчас обычным, таким же, как и во всяком другом из бесконечной вереницы таких же утр. И это наше привычное, доведенное почти до автоматизма, безропотное подчинение железному распорядку каторги и глухой, но всегда почти чисто пассивный, внутренний протест против него, давно уже воспринимаемый, как тоже ставшая привычной застарелая боль, и двухэтажные нары «вагонного типа», и сизый полумрак барака.

Люди на каторге всегда расстаются со сном только с мучительной неохотой, так как это самое счастливое из доступных им состояний. Сон не только дает забвение от тусклой и безрадостной действительности, но и возвращает иногда в полузабытый мир «воли». Правда, обрывки смутной памяти о прошлом всегда самым причудливым образом переплетаются с куда более реалистическими видениями настоящего. Но во сне не бывает ни настоящей голодной тоски, ни мучений холода, ни страданий непомерного мускульного усилия, постоянно ощущаемого каторжниками наяву. Поэтому они цепляются не только за каждое лишнее мгновение настоящего сна, но и того по-

лусна, которое следует непосредственно за пробуждением и обычно продолжается недолго. Однако при сильном желании, некотором усилии эту стадию полусонного оцепенения можно во много раз затянуть.

Каждый, кому с крайним нежеланием приходилось подниматься спозаранку, знает, что после такого вставания можно довольно долго двигаться, что-то делать, даже произносить более или менее осмысленные фразы и не просыпаться окончательно. В лагере такое состояние повторяется изо дня в день, каждое утро и на протяжении многих лет. В результате вырабатывается еще одна особенность каторжанской психики, во многом и так отличной от пси-хики свободного человека, — способность едва ли не в течение целых часов после подъема сохранять состояние полусна-полубодрствования. Вольно или невольно заключенные лагерей принудительного труда культивируют в себе эту способность, оттягивая полное пробуждение до крайнего возможного предела. Зимой таким пределом является выход на жестокий, предрассветный мороз. Но и в более теплое время года некоторые лагерники умудряются оставаться в каком-то сомнамбулическом состоянии и на плацу во время развода и даже на протяжении всего пути до места работы, хотя этот путь нередко измеряется целыми километрами. Это, конечно, своего рода рекорд. Но в той или иной степени таким образом ведут себя все без исключения люди, осужденные на долгий подневольный и безрадостный труд. И это даже в том случае, если норма официально дозволенного им ежесуточного сна сама по себе является достаточной.

Вот и сегодня мы привычно сопротивлялись наступлению настоящего бодрствования, не только когда слезали с нар и напяливали на себя свои изодранные и прожженные у лесных костров ватные доспехи, но даже когда протирали глаза пальцами, слегка смоченными водой из-под раковины. Каждый понимал, что с полным пробуждением приходит и отчетливое осознание действительности. А она заключалась в том, что очередной из бесконечной вереницы безликих каторжных дней уже наступил, хотя сейчас только пять утра. И что он будет продолжаться бесконечно долго, пока около семи вечера мы, до изнеможения усталые, заиндевевшие и окоченевшие на жестком морозе, снова ввалимся в этот барак. И что на протяжении этого дня будут хождение и стояние под конвоем, тяжелая и осточертевшая работа в лесу, окрики и понукания, обзывания «фашистом» и «контриком». Что не раз, наверно, посетят горькое чувство бессилия и та злая

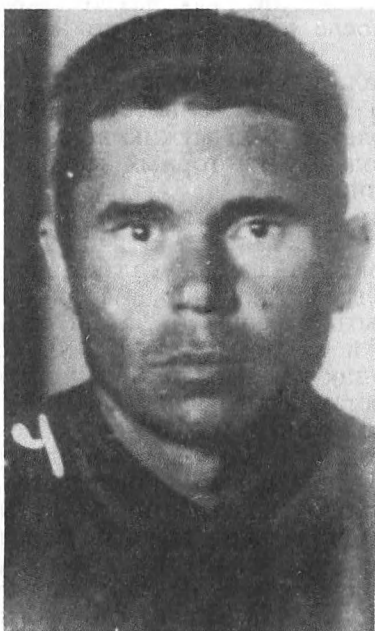
тоска неволи, от которой захочется завывать и боднуть головой ближайший лиственный ствол.

Вообще-то в подобных мыслях и настроениях, если судить о них беспристрастно, проявлялась наша черная неблагодарность к своей лагерной судьбе. Ведь мы находились не в каком-нибудь из страшных лагерей дальстроевского «основного производства», а в лагере, обслуживающем сельское и рыболовецкое хозяйство, мечте сотен тысяч колымских каторжников, погибавшихся на здешних приисках и рудниках, по условиям труда и быта заключенных мало чем отличавшихся от финикийских. Но таков уж человек по самой своей природе. Он редко бывает вполне доволен даже более высоким уровнем жизненного благополучия, чем тот, на котором находились мы, заключенные галаганского сельхозлага, приткнувшегося к прибрежным сопкам реки Товуй, почти у самого ее впадения в Охотское море.

Наша ежедневная утренняя война за сохранение свинцовой приглушенности чувств и мыслей и сегодня, как всегда, шла с переменным успехом. Пробежка по морозу в столовую за получением утренней хлебной пайки и миски баланды неизбежно отгоняла благодатное оцепенение. Но до выхода на развод обычно оставалось еще некоторое время. Уже в полном «обмундировании» все мы сгрудились у печки, чтобы запастись теплом на время стояния на плацу, и все, как всегда, стоя уснули.

«Цинга» завякала снова. Идеально дисциплинированные арестанты должны были, согласно лагерному уставу, «вылетать» на развод уже с первым ее ударом. Но такие арестанты существуют лишь в воображении составителей этих уставов. Реальные же заключенные, даже в свирепых «горных» лагерях, где за «резину» с выходом из барака можно схлопотать добрый удар дубинкой, эту «резину» тянут. Особенно когда на дворе такой мороз, как сегодня. Судя по фонарям вокруг зоны, едва видимым сквозь густой туман, и по колющему ощущению в легких, он перевалил сейчас далеко за пятьдесят. Здесь был крайний юг «района особого назначения», «Колымский Крым», как его называли заключенные. Но стоял уже март, время, когда даже в этом «Крыму» солнце поворачивает на лето, а зима на мороз. Для Дальнего Севера эта поговорка часто оказывается даже более верной, чем для мест, в которых она родилась.

В нашем благодатном лагере дубинка применялась редко, в руках у теперешнего нарядчика Митьки Савина мы никогда ее не видели. Нарядчик, однако, всюду остается на-



Георгий Демидов

рядчиком. Вот-вот он ворвется сюда, крепкий краснорожий парень, и сквозь клубы морозного пара — дверь в барак Митька за собой не закроет — донесется его знакомое: «А вы тут что, мать вашу так и этак, особого приглашения дожидаетесь?!» Но это и будет как раз то ежедневное «особое приглашение», после которого тянуть «резину» с выходом более нельзя.

Митька вбежал, как всегда, стремительно, но дверь за собой почему-то закрыл. И вместо обычной беззлобной брани — наш рядчик был мужик неплохой, не чета придуркам-христородавцам в горных лагерях — мы услышали от него неожиданное:

— Продолжай ночевать, мужики! День сегодня — активированный...

Что ни говори, а лагерь Галаганских — действительно курорт! В летнее время, конечно, и здесь ни о каких выходных не может быть и речи. Но зимой один-два таких дня выпадают почти в каждом месяце. Это, собственно, даже противозаконно, так как в те предвоенные годы свирепость ежовщины в местах заключения еще не была изжита и официально никаких дней отдыха для заключенных не полагалось круглый год. Отступления от этого правила делались только в лагерях подсобного производства, вроде нашего Галаганских, в периоды, когда не было никаких важных работ, да и то имея в виду, главным образом, санаторную функцию этих лагерей. Дело в том, что на здешние, легкие, по лагерным понятиям, работы ежегодно отправлялись для поправки уцелевшие дистрофики, «доходяги» с присков и рудников Дальстроя. Они-то и составляли основную часть мужского населения подсоблагов, подлежащую возвращению основному производству после одного-двух лет «курорта». Если, конечно, дистрофические изменения у этих людей окажутся обратимыми, что было далеко не всегда. Постоянными жителями «до конца срока» здешнего сельхозлага были только женщины, старики и инвалиды.

Ежовско-бериевский запрет на выходные дни для лагеря обходили при помощи объявления их днями общей санитарной обработки, активированными по погодным условиям, как сегодня, или необходимостью произвести крупные внутризонные работы. Это была начальническая «ложь во спасение», но, понятно, только наполовину. Редкий из таких дней обходился без вывода всех отдыхающих на заготовку дров, уборку снега и тому подобные работы. Но это случалось обычно уже после обеда. С утра же можно было поспать «от пуза», что и было главной реальной удачей наших выходных дней.

После Митькиного объявления утрюмое молчание в бараке сменилось радостным галдежом. Оно было, как всегда, неожиданным. Лагерное начальство опасалось обвинения в запланированных побряках для заключенных, большая часть которых были «врагами народа». Но продолжался этот галдеж очень недолго, приглашать к продолжению сна дважды здесь никого не приходилось. Торопливо раздевшись, все снова улеглись на свои, набитые сенной трухой или древесными опилками матрасы и через каких-нибудь пять минут спали. После «легких» работ на повале и раскряжовке даурской лиственницы, твердой на морозе, как дуб, и тяжелой, как камень, здешние «курортники» могли проспять вот так суток трое, делая перерывы разве что на обед. Впрочем, как уже говорилось, тут действовало еще и наше постоянное стремление «уйти в сон» при всякой, даже малейшей возможности.

Однако на этот раз я уснул менее крепко, чем обычно, и проснулся от дребезжания ведра, неловко опрокинутого дневальным. Лед на оконцах пунцово рдел от разгоравшейся над близким отсюда морем зари. Вот-вот должно было взойти солнце. Значит, со времени сигнала на развод прошло уже часа полтора. Спать можно было еще долго, даже если в обед нас куда-нибудь погонят. Повернувшись на другой бок, я начал приминать слежавшиеся опилки в своем матрасе по форме уже этого бока. До нового изменения положения он будет казаться мягким. Я еще продолжал свою возню с неподатливым ложем, когда в барак вошел нарядчик. Вид у Савина был несколько смущенный, как у человека, явившегося с каким-то неприятным или щепетильным поручением, которых добрый малый очень не любил. Для кого-то из жителей барака это не предвещало ничего доброго. Не закончив скульптурной обработки своего матраса, я затих на нем, натянув на голову одеяло.

Посоветовавшись о чем-то с дневальным, Митька пошел по проходу между нарами, пристально и озабоченно всматриваясь в лица спящих людей. Так и есть, он искал подходящий «лоб», а может быть, и несколько «лбов» для какой-то паскудной работенки внутри лагеря, вроде колки дров для кухни, таскания воды с речки. Возможно, я был не единственным человеком, кого разбудило загремевшее ведро, но несомненно, что все так же, как и я, еще плотнее закрыли глаза и засопели еще громче. Если уж и необходимо вкалывать в свой, в кои веки выпавший выходной день, так хоть не с утра по крайней мере!

Нарядчик остановился напротив места Спирина, бывшего колхозника откуда-то из Вятской области. Чуть живого от изнурения, этого мужика привезли сюда прошлой осенью с небольшим этапом таких же «доходяг». Как почти все, перенесшие тяжелую форму дистрофии, Спирин долго не мог оправиться от животного страха перед голодом. Рискуя заночевать в карцере, он до совсем недавнего времени прятал под матрас куски выпрошенного, а то и украденного хлеба, съесть который сразу не мог. Теперь, правда, у бывшего «доходяги» голодный психоз начал уже проходить.

Митька долго дергал спящего за ногу, пока тот наконец не проснулся и испуганно вскинулся:

— А? Чего?

— Каши пульман хочешь заработать? Вот такой! — Нарядчик показал руками размер «пульмана» — огромной миски, применяемой обычно для кухонных нужд. Какую-нибудь пару месяцев тому назад за такую миску овсяной каши Спирин согласился бы вкалывать до полуночи даже после полного рабочего дня. На это, очевидно, и рассчитывал Савин. Он хотел найти добровольца на какую-то, по-видимому, довольно тяжелую работу. Но у нарядчика было право и просто приказать любому здесь выйти на такую хозяйственную работу, притом безо всякого обещания награды. А если назначенный им зек начнет упрямиться, позвать дежурного коменданта по лагерю. А с тем разговор короткий: или подчиняйся или сидись до утра в кондей — карцер! Практически, однако, применять такой способ придурки стеснялись даже в горных лагерях. Какой же ты, к черту, нарядчик или староста, если без помощи надзирателя не можешь совладать с рядовым лагерником?

Тем более неприличным было бы приглашение дежурного в барак смирных «рогатиков», да еще со стороны, в общем-то, благожелательного и покладистого Митьки.

Однако его расчет на приманку обильной жратвы для недавнего дистрофика тоже, видимо, не оправдывался. Спирин выслушал предложение нарядчика безо всякого энтузиазма, глядя на него хмуро и подозрительно:

— А чего делать-то надо?

Он, впрочем, не совсем еще проснулся. Вместо прямого ответа Савин спросил:

— Ты на прииске в похоронной бригаде кантовался?

Вопрос, очевидно, был задан в целях более тонкого подхода к главной теме начатого разговора. Но сделан он был явно неудачно, так как вятский нахмурился еще больше:

— Тебе бы такой кант! Говори, что надо?

Никогда не бывавший в лагерях-«доходиловках», Митька допустил весьма неловкий ход. Бригады могильщиков, подчас весьма многочисленные, комплектовались из тех, кто уже не годился более для работы на полигоне и сам был кандидатом в дубари. Однако и тон ответов нарядчику со стороны недавно смиренного «доходяги» был неожиданно грубым и непочтительным. Савин вспыхнул было, но сдержался:

— Могилу, понимаешь, надо вырыть! Сегодня ночью в больнице какой-то штымп дуба врезал...

Худшего предисловия к такому предложению, чем напоминание невольному могильщику о его печальных обязанностях, нельзя было, вероятно, и придумать. Спирын ответил еще более грубо и зло:

— Пустой твой номер! Не буду я никакой могилы копать...

Он снова улегся на своих нарах и демонстративно натянул на голову одеяло. И без того красное лицо Савина побагровело. Слабину почувствовал чертов штымп! После горного, где за такую непочтительность к нарядчику тут же дрына схватил бы. Смирный был, а теперь гляди, как обнаглел... Митька украдкой огляделся, не видит ли кто его конфуза. Однако храп и сопение вокруг были всеобщими и дружными. Сладив кое-как с раздражением и досадой, он опять подергал за ногу несговорчивого вятского.

— Слышь, Спирын? Выроешь яму—завтра целый день отгула получишь... На работу не погоню, свободы не видать!

Наш благодушный нарядчик корчил из себя этакое шибко блатного, хотя сидел за мелкую растрату в захудалом селъпо.

Но даже обещание круглосуточного сна в дополнение к каше не соблазнило Спирина. Он только еще выше натянул на голову свое куцее одеяло, так что оголились ноги. Чтобы закрыть их, вятский должен был поджать острые коленки к животу.

— С дежурняком выведу!—вскипел нарядчик. Однако упрямый мужик повторил, приподнявшись:

— Говорю, пустой твой номер! Не знаешь, что ли, что грыжа у меня на повале объявилась... А не знаешь, так у лекпома спрости!

* То же, что и фраер, но с оттенком презрительности. Обычно штымп — малоразвитый человек (*блатное*).

Савин закусил губу. Он просто забыл, что уже с месяц как Спириин, хотя он и продолжал числиться в бригаде лесорубов, занимается в лесу только работами «не бей лежачего», вроде сжигания сучьев, отгребания снега от деревьев, спиливать которые будут другие. Грыжа в лагере — это редкостная удача, от нее и не помрешь, и ни на какие сколько-нибудь тяжелые работы не пошлют даже в горных. Отсюда, конечно, и проистекает наглое поведение недавно смиренного мужичонки...

Махнув рукой, нарядчик отошел от его места и снова принялся шарить глазами по нарам, но теперь уже более решительно и зло. За непочтительность с ним Спирина кому-то, видимо, придется отдуваться. Хмуро поведив глазами вокруг, Савин остановил свой взгляд на мне. Я плотно зажмурил прищуренные до этого глаза, но тут же, почувствовав прикосновение Митькиной руки, открыл их. Было очевидно, что мой сегодняшней выходной пропал.

У меня не было ни спасительной грыжи, ни почтенного возраста, ни даже обыкновенной «слабосилочки». На таких, как я, в лагере полагалось «пахать», и сослаться для отказа рыть кому-то могилу мне было решительно не на что. При других обстоятельствах можно было бы рассчитывать на свойственное многим деревенским некоторое уважение к образованности. Но сейчас Митька был зол и вряд ли потерпел бы новые препирательства. Поэтому я не стал даже прикидываться, что не знаю, в чем дело, а сразу же встал и начал зло натягивать на себя свои драные шмутки, отводя душу руганью. И угораздил же черт этого дубаря загнуться именно сегодня! Кстати, кто он такой?

Нарядчик, оказывается, этого не знал. Час тому назад начальник лагеря приказал по телефону нарядить одного из отдыхающих заключенных на рытье могилы. Кто такой этот дубарь и откуда попал в нашу больницу, Митька мог только предполагать. Скорее всего, его привезли из какой-нибудь дальней рыболовецкой или лесной командировки. Из находившихся в местной больничке заключенных ни одного кандидата в покойники как будто не было.

Смертность в этом лагере была вообще незначительной. В трудовых лагерях она и повсюду была бы ниже обычной, если бы не искусственно созданные условия работы и быта заключенных. На Колыме их косила смерть от изнурения, голода и холода, бесчисленных травм, конвоирских пуль. Там же, где ничего этого нет, лагер-

ники умирают редко. Среди них мало престарелых и совсем нет детей, быстро и решительно пресекаются эпидемии. Прежде бичом заключенных северных лагерей была цинга. Но с тех пор, как против нее стали применять отвар хвой, страшный когда-то «скорбут» почти утратил свое бывшее значение как фактор смертности даже за Полярным кругом.

Оставалась еще простуда. Но о ней в Галаганских мы мечтали как о большой удаче. Если не считать не столь уж частой возможности покалечиться, она была едва ли не единственным шансом покантоваться в бараке или лагерьной больнице. Но в том-то и дело, что простуда нас почти не брала. Никто даже не кашлял после целодневной работы в поле или в лесу под холодным дождем нередко вперемешку со снегом, бултыхания в ледяной воде на сплаве, спанья на мокрой холодной земле. Накапливаясь на каких-то внутренних «текущих счетах», все это проявлялось потом в виде ревматизмов, радикулитов, ишиасов и прочей благодати. А пока что даже нарочитая пробежка по снегу босиком, в одном белье из бани, находившейся в полукилометре от лагеря, не давала никаких непосредственных результатов.

Правда, такая сопротивляемость приходит не сразу. Ею отличаются те, кто уже прошел процесс естественного, так сказать, отбора. Отбор этот начинается уже с тюрьмы и этапа. Здорово мрут лагерники-новички поначалу даже в таких лагерях, как вот этот Галаганский. От неприспособленности к тяжелому труду, перемены климата, недостатка витаминов, простудных воспалений легких и почек и, наверно, просто от тоски, хотя в официальных диагнозах она и не значится. Постепенно остаются только те, кто приобрел против всего этого достаточный иммунитет.

Вереницы смертей следовали также после каждого привоза сюда «доходяг» из горных. Голодное изнурение на определенной стадии приводит к таким изменениям во всех почти органах дистрофика, что ни в каких условиях человек не является более жизнеспособным. К концу каждой зимы все такие были уже на кладбище. Поэтому сейчас не только смертельное, но даже просто серьезное заболевание было в нашем лагере явлением довольно заметным. Однако же не только я, но даже лагерный нарядчик о таких случаях не знал.

Злобствуя по адресу так некстати подвернувшегося дубаря, я не заметил сначала, что Савин дожидается, пока я оденусь, даже и не думая подыскивать мне напарника. Мо-

жет, он уже нашел кого-нибудь в другом бараке? Оказалось, нет, ему приказано послать на кладбище только одного землекопа. Я изумился: как одного? Могила — это здоровенная яма сечением ноль шесть на два метра и два метра глубиной! В долине Товуя, где находилось наше кладбище, грунт — глина вперемешку с речной галькой. Когда такая смесь замерзает, то становится прочней бетона. А мерзлая она сейчас на всю глубину ямы, так как промерзание сверху сомкнулось с вечной мерзлотой. Работы там по крайней мере на две полные дневные нормы для двух землекопов! В одиночку до наступления темноты мне вряд ли удастся выбить могилу в приречной мерзлотине больше, чем на третью часть ее нужной глубины...

Савин и сам понимал все эти соображения, но на все мои вопросы только пожимал плечами: приказано выделить только одного могильщика. Начальник сказал это ясно и добавил, что завтра же этому человеку следует предоставить отгул...

Все было похоже на какое-то недоразумение. О каком отгуле завтра могла идти речь, если один человек провозится с ямой на кладбище по крайней мере два дня! А если так, то к чему такая срочность? Да и вообще сейчас зима и покойник в мертвецкой больницы может ждать погребения хоть до самой весны. Его, конечно, туда уже внесли. Сегодня воскресенье, и у вольных тоже выходной. Выходной он и у нашей спецчасти, которая оформляет умерших лагерников в «архив-три». Займется она этим только завтра, когда дубарь совсем закоченеет. Но без отпечатков пальцев, снятых с уже умершего человека, его в этот архив зачислить нельзя, будь он мертв хоть трижды. Для одной только «игры на рояле» мертвое тело придется отогревать при комнатной температуре больше суток... Получалась какая-то чепуха. Может быть, все-таки Савин что-нибудь напутал? А насчет завтрашнего отгула, обещанного якобы начальником, и просто соврал для большей убедительности? Но Митька божился, что не врет: свободы не видать! Хорошо, если так! А то ведь обещание заключенного нарядчика вовсе не закон для какого-нибудь Осипенко. Это был самый противный из здешних дежурных надзирателей, «комендантов», как их тут называли. Сколько раз уже бывало при утреннем обходе:

— А этот почему в бараке околачивается?

— Отгуливает за вчерашнюю работу, гражданин комендант!

* Снятие отпечатков пальцев.

— Ничего не знаю...

Чтобы умерить мое сожаление об оставленных нарах, Митька сказал, когда вдвоем с ним мы выходили из барака:

— Ты особенно не расстраивайся! Этим, — он показал через плечо на дверь, — спать только до двенадцати. С обеда приказано всех на «дляэбные» работы выгонять, будем от зонного ограждения снег отбрасывать. Вон сколько его навалило...

«Дляэбными» в нашем лагере называли работы, которые мы выполняли летом после четырнадцатичасового рабочего дня, а зимой в такие вот редкие и куцые выходные дни. Надзиратель Осипенко, возмущаясь вялостью, с которой заключенные копошились на этих работах, ругался и говорил:

— Ну, що вы за народ? Для сэбэ и то робить не хочете!..

Так как в сверхурочном порядке нам чаще всего приходилось заниматься такими делами, как рытье ям под новые столбы для колючей проволоки, выпрямление покосившейся вышки или ремонт карцера, самое непосредственное отношение к нам которых действительно не вызывало сомнения, то их и прозвали «дляэбными». Заодно прозвище Дляэсэбэ получил и сам Осипенко.

Савин выдал мне лом, кирку и лопату и посоветовал не слишком уж строго придерживаться при рытье могилы ее официально установленных размеров, особенно по длине и ширине. С тех пор как вышел приказ хоронить умерших в заключении без «бушлатов», прежней необходимости в соблюдении полных габаритов лагерных могил более нет. Митька имел в виду «деревянные бушлаты» — подобие гробов, в которых умерших лагерников хоронили до прошлого года. И хотя эти гробы сколачивались обычно всего из нескольких старых горбылей, гулаговское начальство в Москве и их сочло для арестантов излишней роскошью. Согласно новой инструкции по лагерным погребениям, достаточно для них и двух старых мешков. Один нахлобучивается на покойника со стороны головы, а другой — ног, и оба этих мешка сшиваются по кромке. Даже если труп принадлежит какому-нибудь верзиле, то и такой не предьявит претензии, если его положат на бок или слегка подогнут ему колени. С точки зрения могильщика, новую погребальную инструкцию Главного управления можно было только приветствовать.

Проводив меня через вахту, нарядчик передал мне еще один приказ начальника лагеря: по дороге на кладбище

зайти в лагерную больницу и обратиться за чем-то к дежурному санитару. Зачем именно, Савин не знал, но высказал предположение, что в больнице я получу указания, в каком месте кладбища рыть могилу и как ее ориентировать. Дело это серьезное. Могилы заключенных всегда располагаются в строго определенном направлении и наносятся на план, хранящийся в спецчасти лагеря. Завернуть в лагерную больничку труда не составляло, она находилась почти сразу же за зоной по дороге к кладбищу.

На мой стук в дверь больнички вышел дежурный санитар. Я хорошо знал этого хитроватого темнилу* Митина. До заключения он был следователем по уголовным делам и отличался удивительной способностью чуть не во всех действиях и поступках окружающих усматривать какой-то мелкий, низменный практицизм.

— С отгулом? — спросил он меня, поздоровавшись.

— Савин говорит, что обещал начальник... — пожал я плечами.

— Тогда тебе повезло! Работенка-то не бей лежачего...

— Это три куба мерзлотины выбить — «не бей лежачего»!

— Каких там три куба? Да и сам сейчас увидишь! Пошли в морг...

Санитар открыл маленький дощатый сарайчик, стоявший чуть поодаль от больничного барака и снаружи ничем не отличавшийся от обычного деревянного. Но внутри этого сарайчика на вбитых в землю кольях возвышались два узких, сколоченных из горбыля настила. Они напоминали узкие и высокие столы. Один из этих столов был пуст, поперек другого лежал небольшой сверток, сделанный, по-видимому, из обрывка старой простыни.

— Вот, принимай своего дубаря! — провозгласил Митин, протягивая мне сверток с таким видом, с каким вручают имениннику приятный сюрприз-подарок. — Сегодня ты не только могильщик, но и похоронщик...

Я принял легонький пакет с недоумением:

— Что это?

В белую тряпку было завернуто что-то твердое и продолговатое, напоминающее на ощупь небольшую статуэтку. Поняв, что это, я вздрогнул от неожиданности: мертвый ребенок!

— Одна из нашей жензоны родила ночью, — пояснил довольный моим изумлением Митин. — Прошлым летом на сенокосе нагуляла... Да недоносила месяц, всего часа четыре только и пожил...

* Заключенный, под разными предлогами уклоняющийся от работы или выполняющий работу, не соответствующую его возможностям.

Я держал сверток одной рукой на отлете, испытывая к его содержимому чувство невольной брезгливости.

Мысль о выкидыше вызвала у меня представление о чем-то уродливом и отталкивающем, а что-то в этом роде было и здесь. Впрочем, трупик несчастного недоноска был сейчас заморожен. Места же на кладбище понадобится для него немногим больше, чем для котенка. Соответственно пустяковой должна быть и глубина могилы. Митин, кажется, прав, и мне сегодня действительно повезло. Особенно если я получу обещанный отгул завтра.

— Допер теперь, почему работенка бластная? — спросил меня довольный Митин. — А то: три куба!.. Тут и половины куба много будет... — Он взялся за ручку щелястой двери сарайчика. — Вот и все, дуй теперь с ним на кладбище! Да только не на вольное, гляди! Потомственному крепостному на нем не место... — В шутовой форме санитар меня предупредал, видимо, чтобы я, соблазнившись близостью поселкового кладбища, не поленился тащить трупик на более отдаленное лагерное. Я и не думал этого делать, но шутка Митина навела меня на мысль, что покойный младенец и в самом деле имеет право быть погребенным не на тюремном кладбище.

— А что, разве его в «архив-три» занесут? — сердито спросил я бывшего следователя.

Но он счел за благо сделать вид, что принял мой вопрос за известную шутку, осклабился и отрицательно pokrutil головой:

— В «архив» наш дубарь еще не годится, на рояле играть не умеет... — Потом Митин посерьезнел и понизил голос, хотя ни в сарае, ни вокруг сарая никого не было: — Между нами... Начлаг с доктором договорились через загс этого рождения не оформлять... В истории болезни роженицы будет записано, что ей произведена эмбриотомия, это когда плод по кускам извлекают, понял?

Я утвердительно кивнул, дело понятное. Больнице не нужен лишний случай «летального исхода» в ее стенах, лагерю — лишнее свидетельство недостаточно строгого соблюдения в нем режима заключения. Любовная связь между лагерниками и лагерницами категорически запрещена. Не должно быть, следовательно, и ни одного случая деторождения. Но это в теории. На практике же в смешанных лагерях добиться такого положения невозможно. Поэтому существовало нечто вроде негласного и неофициального предела числа деторождений на каждую сотню заключенных женщин. Превышение этого предела являлось одним из самых отрицательных показателей работы лагерного надзора, особенно

не нравившимся вышестоящему начальству. И не только из ханжеских или чисто тюремщицких соображений. К ним примешивался еще и бухгалтерский меркантильный интерес. Дело в том, что прижитые в лагере дети воспитывались в специальных приютах, содержавшихся за счет бюджета соответствующего лагерного управления. И как ни жалки были эти «инкубаторы» для сирот при живых еще родителях, они, требуя известных расходов, ухудшали показатели финансового плана лагуправлений со всеми последствиями для премий его руководящему персоналу. Отсюда в немалой степени вытекал и интерес лагерного начальства к нравственности своих подопечных. Возможно, что сокрытие появления на свет очередного «инкубаторного» ребенка, в котором участвовал и я, решало вопрос: в пределах ли «нормы» или за этими пределами находится показатель добродетели безбрачия в нашем лагере, скажем, за текущий квартал.

Когда я, зажав под мышкой пакет с маленьким покойником, взваливал на плечо свои громоздкие инструменты землекопа, Митин, снова оглядевшись и понизив голос, хотя никого кругом по-прежнему не было, сказал еще более доверительным тоном, чем прежде:

— Доктор приказал мне проверить потом, не затуфтил ли похоронщик. Люди, знаешь, у нас всякие. Иной зароет дубарика в снег, а весной может неприятность получиться... Ну, на тебя-то я надеюсь...

Вряд ли ему кто-нибудь давал такое поручение. Просто хитрец делал мне новое замаскированное предупреждение. Этому человеку, возможно, в результате его профессиональной практики всегда казалось, что если кто-нибудь может злоупотребить своей бесконтрольностью, то он непременно это сделает. В общем-то, неплохой и по-своему неглупый мужик, Митин, хотя и довольно благодушно, подозревал всех в плутовстве. Меня это злило и вызывало желание треснуть по ухмыляющейся физиономии санитаря своим свертком. Но я только буркнул:

— Надежда — мать дураков!

И пошел по дороге, ведущей вдоль реки к морскому берегу.

До моря отсюда было не более полутора-двух километров. На самом его берегу стояли, не видные отсюда, склады соленой рыбы. На лагерное кладбище надо было свернуть, немного не доходя до этого поворота, в противоположную сторону.

Из-за поворота дороги неожиданно показался надзиратель Осипенко, шедший мне навстречу. Бегал, наверно, на

рыбные склады проверять, на месте ли сторожа из заключенных. А главное: не гостит ли у них кто-нибудь из приятелей, явившихся сюда с целью стащить или выпросить рыбку? Вряд ли всякий другой из наших лагерных надзирателей поперся бы сюда в такой мороз ради сомнительной возможности кого-то на чем-то изловить, хотя это и входило в их обязанности. Другое дело — Осипенко. Постоянное усердие, иногда не по разуму, всегда отличало этого туповатого вохровского служаку.

То, что он дежурит сегодня, хорошо. Не будет дежурить завтра, а это увеличивает мои шансы на завтрашний спокойный отдых. Однако встречаться с этим болваном Длясэбэ мне не хотелось даже сейчас, хотя придраться ему, казалось бы, и не к чему. Но со своими обычными вопросами «Куда идешь?» и «Чего несешь?» он непременно пристанет. И я ускорил шаг, чтобы поскорее свернуть на чуть заметную боковую дорожку на кладбище и избежать неприятной встречи с Длясэбэ нос к носу. Но я успел сделать по этой дорожке только несколько шагов, когда услышал его окрик:

— Стой!

Комендант жестом издали приказал мне остановиться и вернуться на дорогу.

— Куда идешь? — спросил он, подходя.

Направление пути и мои инструменты могильщика отвечали на этот вопрос достаточно красноречиво. Но мало ли что? Ведь кирку, лопату и пудовый лом арестант может тащить и просто «с понтом», только для отвода надзирательских глаз! В действительности же направляться на вожделенные склады с каким-то подношением для тамошних сторожей. «Недоверие к заключенному — высшая добродетель тюремщика!» — патетически восклицал мой сосед по нарам, бывший учитель истории, перефразируя известное выражение Робеспьера о революционных добродетелях.

Когда я ответил надзирателю, что иду вот на кладбище копать могилу, последовал неизбежный второй вопрос:

— А несешь чего? — А за ним и приказание: — А ну покажь!

Преодолевая досаду и заранее возникшее отвращение к тому, что я увижу сейчас, я развернул простыню и обнажил верхнюю половину тельца своего покойника.

По моим тогдашним представлениям, все без исключения новорожденные были морщинистыми, дряблыми комочками живого мяса, дурно пахнущими и непрерывно орущими. Смерть и мороз должны были ликвидировать

большую часть этих неприятных качеств. Но оставался еще внешний вид, который у недоноска, вероятно, еще хуже, чем у нормального ребенка.

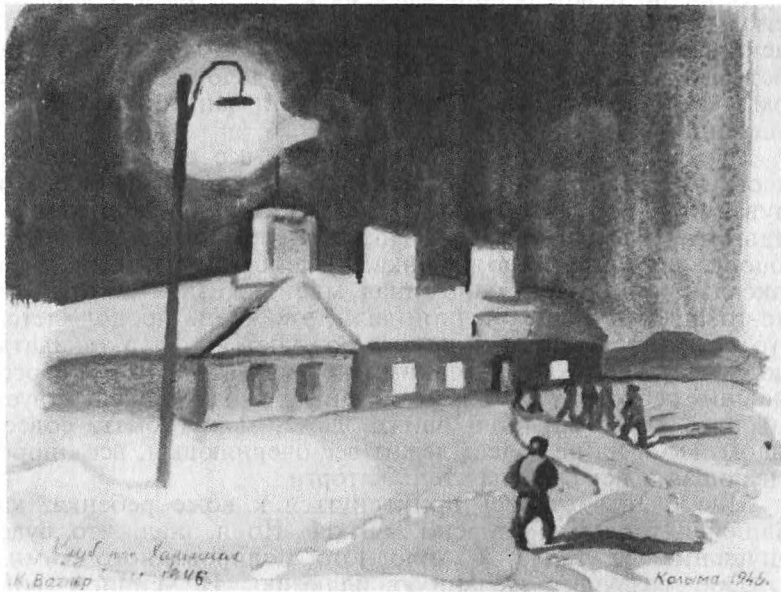
Контраст между этим ожидаемым и тем, что я увидел, был так велик, что в первое мгновение у меня возникло чувство, о котором принято говорить как о неверии собственным глазам. А когда оно прошло, то сменилось более сложным чувством, состоящим из ощущения вины перед мертвым ребенком и чего-то еще, давно уже не испытываемого, но бесконечно теплого, трогательного и нежного.

Желтовато-розовое в оранжевых лучах полярного солнца, крохотное тельце казалось сверкающе чистым. И настолько живым и теплым, что нужно было преодолевать в себе желание укрыть его от холода.

Голова ребенка на полной шейке с глубокой младенческой складкой была откинута немного назад и повернута чуть вбок, глаза плотно закрыты. Младенец казался уснувшим и улыбающимся чуть приоткрытым беззубым ртом. Во внешности этой статуэтки из тончайших органических тканей, которые мороз сохранил в вечности такими, какими они были в момент бессознательной и, очевидно, безболезненной кончины маленького человеческого существа, не было решительно ничего от страдания и смерти. Я, наверное, нисколько бы не удивился тогда, если бы закрытые веки мертвого ребенка вдруг дрогнули бы, а его ротик растянулся еще больше в улыбке неосознанного блаженства.

Для сэбэ на некоторое время устался на маленького покойника с каким-то испугом. Потом он сделал рукой жест от себя, с которым произносили, наверное, что-нибудь вроде «Чур-чур меня!», и, круто повернувшись, зашагал прочь.

А я, несмотря на жестокий мороз, долго еще стоял и смотрел на мертвое тельце, положенное мною в снег. Под заскорузлым панцирем душевной грубости, наслоенной уже долгими годами беспросветного и жестокого арестантского житья, шевельнулась глубоко погребенная нежность. Видение из другого, почти забытого уже мира разбудило во мне многое, казавшееся давно отмершим, как бы упраздненным за ненадобностью. Были тут, наверно, и не удовлетворенное чувство отцовства, и смутная память о собственном, рано оборвавшемся детстве. Хлынув из каких-то тайных душевных родников, они разом растопили и смыли ледяную плотину наносной черствости. Теперь не только грубое слово, но даже грубая мысль в присутствии моего покойника показала бы мне оскорбительной, почти кощунственной.



Акварель Георгия Вагнера. Колыма. 1946 год

Осторожно, как будто опасаясь его разбудить, я снова завернул мертвого ребенка в его тряпку и понес свой сверток дальше, на кладбище. Но уже не так, как нес его до сих пор, небрежно и безразлично, а как носят детей мужчины, бережно, но неловко прижимая их к груди. Было очень нелегко тащить в гору по не протоптанному снегу тяжелый, раскатывающийся на плече инструмент. Но я предпочитал доставать из-под глубокого снега то и дело сваливающийся лом, чем подхватывать этот лом рукой, занятой покойным младенцем.

Ближе к кладбищу снег становился все глубже, так как здесь, на краю долины, выступы сопки задерживали его от сдувания в море. Все чаще приходилось останавливаться и отдыхать. И всякий раз при этом я отворачивал простыню и подолгу глядел на лицо ребенка. Маленький покойник парадоксальным образом напоминал мне о жизни. О том, что где-то, пускай в бесконечной дали, эта жизнь продолжается. Что люди свободно зачинают и рожают детей, а те платят своим матерям и отцам такими вот улыбками еще не осознавших себя, но тем более счастливых существ. Существует, наверно, такая жизнь и ближе, даже, может быть, совсем рядом. Но и на ней здесь лежит все очерняющая, все опорочивающая и искажающая тень каторги.

Мне очень хотелось прикоснуться к коже ребенка, казавшейся теплой и атласно мягкой. Но я знал, что будет ощущение не тепла, а холодного полированного камня, которое разрушит желанную иллюзию. И усилием воли заставлял себя не поддаваться этому соблазну.

Кладбище нашего сельхозлага, хотя оно и принимало к себе немало жертв других здешних лагерей, ни по занимаемой им площади, ни по числу погребений не шло ни в какое сравнение с кладбищами при лагерных приисках и рудниках. Там число уже мертвых почти всегда во много раз превышает число еще живых заключенных. Здесь же место, отведенное под могилы умерших в заключении, занимало на самом низу склона сопки лишь небольшую площадку. Со стороны моря она была ограничена крутым обрывом к широкой полосе прибрежной гальки.

Надо было точно знать, где находится наше кладбище, чтобы отличить его зимой от всякого другого места на склоне сопки. Ряды низеньких продолговатых бугров едва угадывались теперь под толстым слоем снега, засыпавшего их выше лагерных эпитафий, больших фанерных бирок, величиной с тетрадный лист, укрепленных на каждой могиле на небольшом деревянном колышке. Химическим карандашом на фанерках были выписаны «установочные данные»

покойных, тот тюремный полушифр, в котором всегда сконцентрирована трагедия целой человеческой жизни. Однако сейчас на всем кладбище виднелась поверх снежных сугробов только одна из этих эпитафий, да и то лишь частично. Она была установлена на могиле, расположившейся почти на самом краю обрыва. Ветер с моря сдул вокруг нее снег и обнажил фиолетовые буквы и цифры. Они сильно расплылись от осенних дождей, и разобрать можно было только цифры 58-9 и 15. Этого было, видно, достаточно, чтобы понять, что погребенный здесь человек осужден за контрреволюционную диверсию на пятнадцать лет заключения. Судя по этим данным и относительной свежести надписи, это был один из товарищей Спирина, голодное изнурение которого дошло уже до необратимой стадии «Д-3», и он, полежав в нашей больнице месяца полтора, умер. Про него еще говорили, что он «остался должен» прокурору больше двенадцати лет.

Однако вопрос об этом человеке и его «долге» был сейчас праздным. Надо было высмотреть место для могилки. Да вот хотя бы здесь, рядом с могилой диверсанта, на самом краю каторжной колымской земли.

Своего покойника я решил положить головой к морю, хотя это и не по правилам, все покойники здесь лежат в другом направлении. Но гулаговские правила для него ведь и не обязательны. Не нужна над ним и фанерная эпитафия, повествующая о преступных деяниях покойного, действительных или выдуманных. Никакой, даже самый дотошный прокурор не смог бы сочинить такой эпитафии для младенца, вообще не совершившего никаких еще деяний. Формально он не существовал ни одной секунды из тех нескольких часов, которые прожил, и не имел даже имени.

Жизнь этого, противозаконно появившегося на свет новорожденного не была нужна никому, даже его матери. «Оторва!» — махнул рукой по ее адресу Митин. На этот раз он был, скорее всего, прав. Женщины — профессиональные уголовницы — существа, обычно совсем опустившиеся. Даже когда их освобождают из лагеря именно потому, что они матери малолетних детей, далеко не все из них забирают из «инкубаторов» своих ребятишек. И уж подавно никогда почти не интересуются ими, не только оставаясь в заключении, но и заканчивая свой срок. Мне случалось видеть этих несчастных, полуголодных, одетых в убогую, пошитую из лагерного утиля одежку детей, явившихся на свет только благодаря надзирательскому недосмотру.

Однако у тех из прижитых в заключении детей, которые зарегистрированы как новоявленные граждане Советского

государства, всегда числятся формально известными не только их матери, но и отцы. Регистрация новорожденных проводится через спецчасть лагеря, а та настойчиво требует от «мамок», чтобы они непременно назвали отца ребенка, пусть только предполагаемого. Оставлять незаполненной графу об отцовстве лагерного ребенка значило бы расписаться уже не в одном, а в двух упущениях. Впрочем, особых осложнений тут никогда не возникало. Мужчины-лагерники, которых, нередко совершенно для них неожиданно, производили в отцовское звание, почти никогда против этого не протестовали. Дело в том, что оно решительно ни к чему их не обязывало ни теперь, ни потом, кроме, правда, трехдневной отсидки в карцере «с выводом» за противоустановную связь с женщиной. Оставить такую связь безнаказанной лагерное начальство права не имело. А поскольку факт рождения ребенка выдавал виновного в этом проступке с личным, то счастливый папаша расписывался одновременно на двух бумагах: акте о рождении нового человека и приказе о водворении отца этого человека в лагерный кондей.

За всю историю нашего Галаганных всерьез принял свое отцовство только один заключенный. Это был жулик из Одессы, еврей по национальности, по блатному прозвищу, как водится, Жид. Отсидев после рождения в лагерной больнице своего сына положенные трое суток, отец выпросил ребенка у его матери через дневальную барака «мамок-кормилок» и демонстративно прошелся с ним по двору лагерной зоны. Встретив начальника лагеря, Жид смиренно снял перед ним картуз и от имени своих родителей пригласил его в гости в Одессу. Сам он принять дорогого гостя пока не может, но старики-де, уверял бывший фармазон с пересыпского базара, будут рады приветствовать человека, официальным приказом по лагерю отметившего рождение их внука. Однако начлаг не оценил ни остроумия, ни вежливости Жида, и тот снова отправился ночевать в «хитрый домик» в дальнем углу зоны.

Я расчистил снег на месте будущей ямы и собрал его в небольшую кучку несколько поодаль от нее. Снова отвернул простыню от лица своего покойника и положил его на склон снежного холмика таким образом, чтобы видеть ребенка во время работы. Как я и предполагал, промерзший грунт речной долины по крепости мало уступал бетону. Даже не замерзшая смесь каменной гальки и глины — настоящее проклятие для землекопа. Сейчас же лом и кирка то высекали искры из обкатанных камешков кварца, гранита и базальта, то увязали в сцементированной их глине. Ямка была всего по колено,

когда я, несмотря на жгучий мороз, снял свой бушлат и продолжал работу в одной телогрейке. Для погребения маленького тельца этой ямки было бы уже достаточно, но я упорно продолжал долбить неподатливый грунт, пока не выдолбил могилку почти с метр глубиной. Затем в одной из ее стенок я сделал углубление наподобие небольшого грота. Покончив с этим, взобрался высоко на склон заснеженной сопки — туда, где должны были находиться заросли, сейчас их правильнее было назвать залежами, кедра-стланика. Отрыл их, нарубил лопатой хвойных, ярко-зеленых веток и спустился с ними вниз. Долго и тщательно выкладывал этими ветками дно и стенки гротика. Затем, в последний раз поглядев на лицо ребенка, закрыл его простыней и положил трупик на ветки. Ветками покрупнее заложил отверстие грота и засыпал яму. Кропотливо и старательно пытался потом придать рассыпающейся кучке мерзлой глины с катышами гладкой гальки вид аккуратной усеченной пирамиды.

Несмотря на привычку к тяжелой, ломовой работе, я устал. Надел свой бушлат и присел рядом, на могилу диверсанта. Я так долго возился с погребением, что недлинный еще, мартовский день уже приближался к концу. На краю заснеженного обрыва темнел насыпанный мною бурый холмик. Внизу расстилалось замерзшее море, до самого горизонта покрытое торосами. Налипший на них снег розовел под лучами совсем уже низкого солнца.

Стояла глубокая, торжественная тишина. Наверно, такой глубокой она бывает еще на застывших планетах. Должно быть, и там вот так же величаво плывет над хаосом мертвой материи неяркое, потухающее светило.

Неправдоподобно огромный сейчас оранжевый диск солнца почти уже касался горизонта своим нижним краем, готовясь закатиться за него по-арктически медленно. Выше чистое бледно-розовое небо через неуловимые цветовые переходы постепенно становилось светло-синим. Только здесь, в этих неприятных северных краях, оно бывает таким нежным, таким чистым и таким равнодушным к человеку.

Конечно же, я не в первый раз видел этот первозданный пейзаж, в котором и прежде замечал что-то от холодного величия Космоса. Однако только сейчас закат над полярным морем вызвал у меня не только мысль, но и как бы чувство суровой гармонии мира. Мне казалось, что я ощущаю беспредельность и холод пространства, в котором движется наша планета, и его равнодушие к тому эфемерному и переходящему, что возникает иногда в глухих уголках Вселенной

и зовется Жизнью. Жалкая и уродливая — она всего лишь плесень, которая ждет своего часа, чтобы быть навсегда уничтоженной мертвыми, но вечными силами Природы.

Но тут же во мне возник протест против этого пессимистического вывода, навеянного созерцанием впечатляющей картины царства холода. Жизнь только кажется скромной и слабой по сравнению с враждебными ей силами. Однако выстояла же она против этих сил и даже сумела развиться до степени разумного сознания, как бы отразившего в себе всю необъятную Вселенную. И это только начало! Несмотря на присущие всякому развитию тяжелые детские болезни, именно разумным формам жизни, а не мертвой материи будет принадлежать в конце концов главенствующее положение в мире!

Могильщиков с легкой руки Шекспира исстари принято считать чуть ли не профессиональными философами. Это сомнительное мнение было бы, вероятно, ближе к истине, если бы профессию погребателя, как и все другие профессии, впрочем, люди бы себе выбирали. А что касается строя мыслей случайных ее обладателей, то он, как правило, такой же, как и у остальных людей. В лагере, во всяком случае, я не наблюдал какого-либо воздействия профессии могильщика на психологию тех, кто даже очень подолгу работал в похоронных бригадах. Постоянно обслуживая Смерть, они, как и все, постоянно думали и говорили о Жизни, причем в самых прозаических ее проявлениях, вроде лагерной пайки, баланды и сна на барачных нарах. Впрочем, наверно, даже те из них, кто обладал философским складом ума, памятуя о враждебно-насмешливой настроенности лагеря к сентиментальному философствованию, вряд ли могли быть так же велеречивы, как знаменитый могильщик из «Гамлета». Вот и я, например, никому здесь не признаюсь, что расчувствовался при виде маленького дубаря, а зарыв его, думал не о миске дополнительной баланды, которую получу сегодня за эту работу, а о путях мироздания. Тем более что и высокому строю своих мыслей, и торжественному настроению, с которым я наблюдал закат над арктическими льдами, я был обязан случайности. Не встретить меня на дороге сюда надзиратель Осипенко, не заставь развернуть мой сверток, я ни за что бы не сделал этого по собственному почину. Я давно бы уже наспех и как попало зарыл в землю этот сверток, забываясь только о том, чтобы его не вымыли вешние воды или не разрыли ездовые собаки. А закончив работу, поспешил бы в лагерь, думая, что пофартило мне все-таки здорово. Заработать целый день отдыха за каких-нибудь два-три часа работы удается не часто. Если, конечно,

нарядчик не врет, что этот отдых обещан мне самим начальником.

Несколько ослабевший днем мороз начал крепчать снова, и теперь плохо помогал даже бушлат. Да и вообще была пора уходить отсюда, тем более что с раннего утра я ничего еще не ел и мысль об обогреве и сытном ужине начала заслонять собой все остальное. И все же мне хотелось сделать для погребенного ребенка что-то еще. Повинуясь этому желанию, я сбил киркой лопату с ее черенка и той же киркой перебил этот черенок на две неравные части. Затем вытащил веревочку из одного из своих ЧТЗ* и крест-накрест связал обломки палки. Импровизированный крест я воткнул в могильный холмик.

Солнце неохотно закатилось, оставив после себя полосу оранжевой зари, над которой в ставшем еще более холодным небе продолжали свою игру нежные оттенки розового и голубого. Какое-то мгновение после его захода верхние края торосов продолжали красновато светиться, затем они разом погасли. Бескрайнее нагромождение льдов внизу стало еще угрюмее и начало скрываться в холодной мгле. А над его темным хаосом на фоне гаснущего заката отчетливо рисовался водруженный мною символ и знак христианства. Сумерки скрыли убожество креста, а красноватый фон зари усилил его мрачную выразительность.

Логически этот крест был, конечно, совершенно не оправдан. Я не верил в Бога, а зарытый под ним ребенок не принадлежал никакой религии. Но он не был также и просто сентиментальной данью традиции, знакомой с далекого детства. Главная причина водружения мною, убежденным атеистом, религиозного знака на могиле безымянного ребенка заключалась, вероятно, в другом.

Я все еще находился во власти мысли о противостоянии Живой и Мертвой материи и не хотел, чтобы холодный хаос льдов и гор сразу же поглотил и растворил в себе останки маленького человеческого существа. Поэтому-то, наверно, следуя древнему стремлению Человека Разумного и утверждению Жизни даже после смерти, почти подсознательно установил ее знак на могиле усопшего. Этот знак был примитивен и прост, но он являлся символом правильной геометрической формы, которой Хаос враждебен и чужд. Это представление, скорее всего, и лежало в основе сооружения таких надгробий, как всевозможные обелиски, пирамиды и те же кресты.

* По названию трактора — ироническое название лагерной обуви, пошитой из старых автомобильных покрышек.

Меня вдруг охватило чувство благоговения, как верующего в храме. Ушли куда-то мысли о еде, отдыхе и тепле. Это было, вероятно, то состояние возвышенного и умиленного экстаза, которое знакомо по-настоящему только искренне верующим людям. Под его воздействием я развязал тесемки своего каторжанского треуха и обнажил голову. Мороз сразу же охватил ее калеными клещами и больно обжег уши, реальность оставалась реальностью. Я надел шапку, смахнул с бушлата несколько круглых, похожих на градины льдинок и, подобрав с земли свой инструмент, начал спускаться в долину.

5

Адам Хохшильд НЕПРОЙДЕННЫЕ ПУТИ*

В то время как выжившие в ГУЛАГе начинают рассказывать свои истории, а исследователи — изучать то, что осталось от братских могил и трудовых лагерей, историки и писатели все еще спорят о причинах свершившегося. Почему те годы после русской революции, которые должны были вести человечество в светлое будущее, так стремительно обернулись мучительным бедствием?

Относительно других массовых убийств объяснения кажутся более простыми. Белым поселенцам XIX века, истребившим американских индейцев и жителей Африки, нужна была земля. Нацистам, убивавшим евреев, нужны были козлы отпущения за потери в первой мировой войне, за унижительный Версальский мир, за губительную инфляцию и безработицу в послевоенной Германии. Но неимоверно быстрое истребление Советским Союзом 20 миллионов — или около того — своих собственных граждан остается загадкой. Масштабы злодеяния настолько огромны, мотивы так неясно определены, а круг причастных к нему настолько широк, что это наталкивает на мысль о всеобщем умопомрачении. «Следует казнить не только виновных, — заявил Николай Крыленко, советский нарком юстиции. — Казнь невинного человека произведет на народ гораздо более сильное впечатление». Еще бы! Но откуда такой образ мыслей?

У историков США и Европы были десятилетия, чтобы обсудить подобные вопросы. Но среди русских дискуссия приобрела характер взрыва: сотни лет ученые не имели возможности свободно спорить. В России профессия историка никогда не была легкой. Еще в 1839 году князь Козловский сказал: «Бог предопределяет — царь может изменить прошлое». Или, как недавно заметил один советский историк, «трудность в том, что никогда не знаешь, что случится вчера».

* Глава из книги Adam Hochschild "The quiet Ghost" ("Russians remember Stalin"), "Vicing Penguin", USA, 1994.

С приходом гласности историки наконец смогли открыто говорить о том, что же на деле «случилось вчера». Моя московская знакомая с воодушевлением вспоминает об одной из лекций на эту тему в 1987 году: «Вся Москва была там, в маленьком, тесном зальчике. Мы пробирались сквозь толпы народа, проползали под машинами, только бы услышать Борисова (историка. — А. Х.), говорившего о Сталине. Это был март или апрель, и было еще холодно. Но люди стояли на улице, залезали на крыши машин, на ящики, чтобы оказаться поближе к окнам».

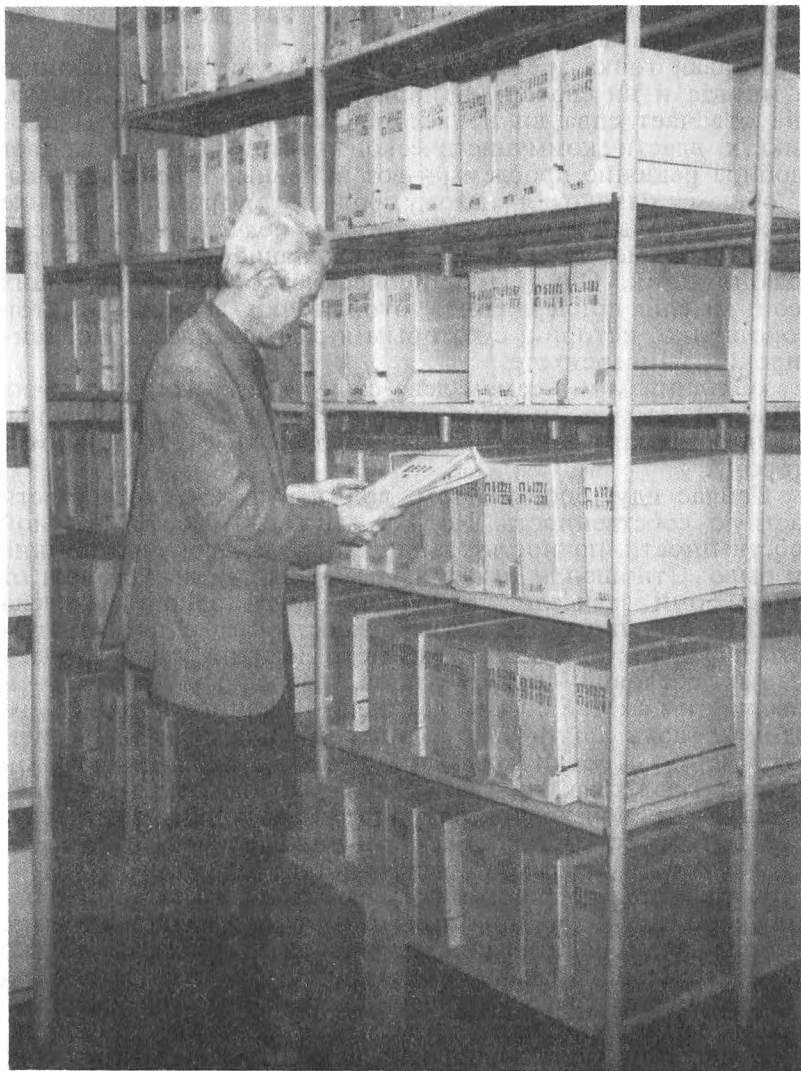
Теперь, когда русские могут свободно дискутировать об истории страны, выдвинуто несколько основных версий ее хода. Наиболее живое их изложение я услышал от Никиты Охотина, руководителя исторических исследований «Мемориала». Мы беседовали с ним в крошечном, не отапливаемом офисе рядом с будущей библиотекой — комнатой, сплошь заваленной пыльными горами старых газет, книг и документов (подходящий символ для истории, которая «еще не разобрана!»).

«Сейчас, — просветил меня Охотин, — у нас существует набор мифов о нашем прошлом. Самый распространенный — это миф Солженицына. То есть русская история была историей страны, развивающейся по своим естественным законам, великой страны, на которую в 1917-м внезапно обрушилось бедствие. Имеются вариации этого мифа: виноваты большевики, виноваты масоны.

Другая точка зрения состоит в том, что дела в России всегда обстояли не лучшим образом. У нас никогда не было представления о законности, не было подлинной интеллектуальной культуры, только небольшой островок ее. У нас всегда был авторитарный способ правления. Революция не была тотальным разрушением, напротив, некоторые тенденции дореволюционного развития обрели свое воплощение.

И последняя позиция — это позиция *если*. Когда Сталин пришел к власти, все изменилось к худшему. Но все было бы в порядке, если бы на его месте был Бухарин. Или Троцкий. Революция была необходима, неизбежна, правильно задумана, но потом все пошло не так».

Первые две точки зрения в этом споре обсуждаются в стране особенно активно, причем выбор той или иной из них для русских имеет скорее эмоциональное, а не научное значение. Это спор об ответственности. Были ли ГУЛАГ, «чистка», голод в результате коллективизации и все прочее итогом воздействия какой-то чуждой народу силы — марксизма, евреев, большевиков? Или это было нечто, к чему мы, русские люди, за много веков русской истории привели



Адам Хохшильд в архиве КГБ. 1991 год

себя сами? Это спор, в конечном счете, о том, должны ли русские рассматривать себя только как жертву или как жертву и палача одновременно.

Первая точка зрения, сваливающая все на революцию (а иногда и на евреев), наиболее популярна. Она проста, она отвечает едва ли не всеобщему огромному отвращению к власти коммунистической партии, она предлагает удобное решение проблемы — вот виновные в бедах страны. В общем, однако, я нахожу больше мудрости в логике второй школы историков, которая подчеркивает ответственность между Россией дореволюционной и постреволюционной. Один из наиболее четко формулирующих свои мысли приверженцев этой точки зрения — Виктор Дорошенко, историк, с которым я разговаривал в Новосибирском университете.

«Сталинизм и в самом деле существенно изменил жизнь в нашей стране, и некоторые перемены были ужасны. Но эти драматические перемены вовсе не были рывком в сторону.

Сейчас идут споры о том, должны ли мы снова ввести частную собственность. Но в XVII веке никакой частной собственности, полностью защищенной законом, и в помине не было! Отношения между людьми никогда не зависели от рынка, они зависели от подчиненности одного человека другому. Эта пирамида власти существовала в пятнадцатом веке и существует в двадцатом. Петр Великий собирал людей разных сословий — бояр, купцов, свободных крестьян — и говорил им: «Мне нужны корабли. Так что постройте их. Один корабль с пяти бояр, один корабль с пятнадцати купцов, один — с сотни крестьян». Чью же собственность он реквизирует? Да ничью! Фактически все принадлежало царю. А что победило в результате революции? Идея государственной собственности, которая существовала в России веками как идея царской собственности.

Когда наши доброжелатели за рубежом думают, что Россия скоро вступит на новый, светлый путь и начнет жить как нормальная, цивилизованная страна, я могу сказать только одно: «Не слишком рьяно аплодируйте. Еще рановато. Если у общества нет правовых традиций, то как можно утвердить закон в этом обществе?»

Император Хайле I попросил Рене Давида, французского юриста, написать для Эфиопии конституцию. Рене Давид написал ее. И что же? Где теперь император Эфиопии? И где его конституция?

Третья точка зрения на новейшую русскую историю — позиция *если* — наиболее фантастичная. Но притом и наибо-

лее интригующая. Она дает нам возможность подумать о поворотных моментах, когда иной ход событий мог бы привести — нет, не к реализации утопии, конечно, но, во всяком случае, к существованию совершенно иной России.

Сразу после революции на первых и единственных в стране свободных выборах большевики получили лишь четверть голосов. Первое заседание Учредительного собрания оказалось и последним: вооруженные отряды большевиков разогнали его. Что, если бы они не пошли на этот шаг? Могла ли появиться на свет хоть какая-нибудь форма демократии? Три года спустя восставшие матросы в Кронштадте потребовали свободы слова, созыва нового Учредительного собрания и отмены особых привилегий коммунистической партии. Что, если бы Троцкий и Ленин не послали 50 тысяч красноармейцев на штурм по ненадежному весеннему льду Балтики, чтобы расстрелять мятежников? В начале 30-х годов советские руководители под дулом пистолета объединили крестьян в колхозы, спровоцировав массовый голод. Что, если бы они вняли предостережению Троцкого: ожидать положительных результатов от подобного искусственного объединения столь же бессмысленно, как уповать на то, что из кучки маленьких корабликов возникнет океанский лайнер? Каждая из этих трех альтернатив была бы лишь маленьким шагом по иному пути. Но Россия, которая сделала бы хоть один такой шаг, вышла бы из всех бед и потрясений менее обескровленной, чем случилось на самом деле. Целое созвездие таких *если*, маня несбыточными надеждами, мерцает и гаснет на историческом горизонте.

Ощущение упущенных возможностей пронизывает пьесу Михаила Шатрова «Дальше... Дальше... Дальше!». Сам Шатров — племянник известного революционера, старого большевика, который был расстрелян по приказу Сталина; некоторые из работ драматурга пролежали в ящике его стола более двадцати лет и обрели сценическое воплощение только с приходом гласности. Персонажи его пьесы перемещаются во времени взад и вперед между мизансценами, где они замьшляют революцию 1917 года, и новым миром, где они обмениваются обвинениями в том, что сделано неправильно.

Роза Люксембург говорит, что любая революция, которая подавляет свободу слова, обречена на гибель. Каменев рассказывает Ленину обо всем, что произойдет после его смерти. Царский генерал полагает, что главная проблема — в длительной задержке с отменой крепостного права: «Это произошло слишком поздно. Если бы это случилось на двадцать лет раньше, мы были бы уже частью Европы».

Как в лоне христианства зародились и инквизиторы, и квакеры, так и марксизм оказался конфессией разнородной. В Западной Европе он политически трансформировался в социально-демократические партии, такие, например, как партия Вилли Брандта или Улофа Пальме. Интеллектуально, с остриженными временем его тысячелетними прогнозами, западный марксизм преобразовался в аналитическую перспективу, где чувство класса полезно для понимания многих вещей, включая продолжающую существовать власть старой партии бюрократов в сегодняшней России. Было ли неизбежным то, что советская ветвь марксизма привела лишь к ГУЛАГу?

«Часто говорят, — пишет новеллист Виктор Серж, — что «зародыш сталинизма исконно коренился в большевизме». Что ж, у меня возражений нет. Только большевизм содержал в себе также... массу других зародышей — и те, кто пережил... революцию, не должны забывать об этом. Судить живого человека по результатам вскрытия трупа... разве это разумно?»

Некоторые из тех, кто делал русскую революцию — Сталин, безжалостные садисты типа Берии, которые поднялись к власти вместе с ним, — изначально несли в себе зародыш смерти — это фатальное стремление к абсолютной власти. Палец на карте: я хочу железную дорогу — *вот здесь!* Но в устремлениях других мужчин и женщин, которые боролись за революцию, прослеживается иной спектр мотиваций и представлений о будущей России — совершенно отличной от сталинской. Особенно горько узнавать об участи, постигшей этих людей в 1920-е годы, когда стало окончательно ясно, что их великая мечта о преобразовании человеческой личности оборачивается катастрофой. Как красноречиво сказал Виктор Серж, один из оставшихся в живых: *Если мы подняли народы и заставили содрогаться материки... начали строить все новое с помощью этих старых грязных камней, этих уставших рук, измученных душ, которые были оставлены нами, это было не для того, чтобы торговаться теперь с тобой, трагическая революция, наша мать, наше дитя, наша плоть, наш обезглавленный рассвет, наша ночь с изуродованными звездами...*

Одной из самых привлекательных фигур в кругах отступающей антисталинской оппозиции в эти трагические 20-е годы был Адольф Иоффе.

Иоффе родился в богатой еврейской семье, получил медицинское образование в Швейцарии и Германии, стал практикующим врачом; он отдал все свое состояние партии большевиков. На фотографиях того времени запечатлен

человек с широким лбом, задумчивый, величавый. «Таким представляют себе мудрого врача у постели тяжело больного», — вспоминал его друг Виктор Серж. До революции Иоффе был также плодовитым литератором. В Вене вместе с Троцким он редактировал «Правду». Затем ее нелегально переправляли в Россию. Поколению революционеров, к которому принадлежал Иоффе, были присущи стремление изменить мир, всеохватывающая любознательность и сформировавшаяся к XIX веку оптимистическая уверенность в том, что человечество стоит на пороге великих прорывов во многих областях науки и общественной жизни. Кстати, там же, в Вене, до первой мировой войны Иоффе изучал психоанализ у ученика Фрейда — Альфреда Адлера.

С началом войны Иоффе вернулся в Россию, чтобы работать в подполье, но был арестован и сослан в Сибирь. После захвата власти большевиками в 1917-м он стал одним из видных советских дипломатов. Иоффе возглавил первую делегацию на переговорах с Германией в Брест-Литовске, в результате которых завершилось участие России в первой мировой войне. Потом был Берлин, где Иоффе-посол представлял свою страну в столице кайзера Вильгельма, а Иоффе-революционер поднимал красный флаг, поддерживая яростные антивоенные выступления немецких рабочих.

Иоффе тревожила ситуация в России в 20-х годах. Вместо долгожданного свободного общества без классовых привилегий — сжимающиеся тиски произвола партии и полиции; вместо свободы мысли и слова — проскрипционные списки книг, изымавшихся из библиотек (первый такой список составлялся при участии Надежды Крупской); взамен открытой политической дискуссии — казенная пресса, которая все безудержнее обожествляла Сталина.

В 1927 году, в возрасте 47 лет, Иоффе оставил пост посла в Японии и вернулся в Москву. Он был серьезно болен. «В Москве, — пишет историк Исаак Дойчер, — врачи ничем не смогли ему помочь и посоветовали лечиться за границей... Сталин в разрешении на выезд отказал, запретил ему публиковать мемуары и всячески его преследовал».

Тяжело больной, не имевший сил продолжать активную оппозиционную деятельность и желая выразить свое неприятие той губительной паутины, что опутывала страну, Иоффе покончил жизнь самоубийством. Едва услышав об этом, Виктор Серж бросился на квартиру друга. Он вспоминает:

Иоффе лежал во весь рост на широком столе... Он как будто спал; руки сложены, лоб открыт, начинающая седеть борода аккуратно расчесана. Веки подернуты голубиной, тем-

ные губы. В маленькую, с черной каймой дырочку на его виске кто-то засунул кусочек ваты. 47 летместили многое: тюрьмы, восстание на Черноморском флоте в 1905-м, сибирская ссылка, побег, партийные конгрессы, Брест-Литовск, революционные события в Германии и Китае, посольства, Токио, Вена... Рядом... маленькая комната, заполненная детскими игрушками...

На ночном столике лежало предсмертное письмо. Это один из самых памятных документов той печальной, сумеречной эпохи. Оно отражает всеобъемлющий гуманизм Иоффе, веру в человечество, хотя, быть может, его представления о технических достижениях современности были наивны и слишком оптимистичны.

Более 30 лет назад я усвоил себе философию, что человеческая жизнь лишь постольку и до тех пор имеет смысл, пока она является служением бесконечному, которым для нас является человечество. Если же и человечество может быть «конечно», то, во всяком случае, конец его должен наступить в такие отдаленные времена, что для нас это может быть принято за абсолютную бесконечность. А тут вера в прогресс, как я в него верю, вполне можно представить, что даже когда погибнет наша планета, человечество будет знать способ перебраться на другие, более молодые планеты и, следовательно, будет продолжать свое существование и тогда, а значит, все содеянное в его пользу в наше время будет отражаться в тех отдаленных веках, то есть придаст единственно возможный смысл нашему существованию и нашей жизни...

Если бы я был здоров, я нашел бы в себе достаточно сил и энергии, чтобы бороться против созданного в партии положения. Но в настоящем своем состоянии я считаю невыносимым такое положение в партии, когда она молчаливо сносит исключение Ваше (Троцкого, к которому обращено письмо, а также Зиновьева. — А. Х.) из своих рядов, хотя абсолютно не сомневаюсь в том, что рано или поздно наступит в партии перелом, который заставит ее сбросить тех, кто довел ее до такого позора.

В этом смысле моя смерть является протестом борца, который доведен до такого состояния, что никак и ничем иначе на такой позор реагировать не может.

Если позволено сравнить великое с малым, то я сказал бы, что величайшей важности историческое событие — исключение Ваше и Зиновьева из партии, что неизбежно должно явиться началом термидорианского периода в нашей революции, и тот факт, что меня после 27 лет революционной работы на ответственных партийно-революционных постах ставят в положение, когда не остается ничего другого, как пустить себе

пулю в лоб, с разных сторон демонстрируют один и тот же режим в партии, и, быть может, обоим этим событиям — малому и великому совместно — удастся или суждено стать именно тем толчком, который пробудит партию и остановит ее на пути скатывания к термидору...

Власти вскоре объявили предсмертное письмо Иоффе антипартийным! Любой, у кого нашли бы копию, рисковал попасть в тюремную камеру. «Страна в целом, — пишет Серж, — не услышала выстрела Иоффе, и его последнее послание осталось тайной».

Похороны Иоффе 19 ноября 1927 года стали демонстрацией поддержки теснимых властью антисталинских оппозиционеров. Мрачная процессия числом в несколько тысяч человек шла за гробом по московским улицам к Новодевичьему монастырю. В его стенах Петр Великий некогда заточил свою сестру; монастырское кладбище стало последним приютом для тысяч выдающихся людей России. (Примечательный факт: среди участников похоронного шествия была и Надежда Аллилуева, вторая жена Сталина, которая также покончила с собой* после конфликта с мужем несколько лет спустя.) Агенты тайной полиции попытались задержать большую часть провожающих за воротами, но это им не удалось...

Троцкий произнес у гроба речь, и это было его последнее публичное выступление в России. Через считанные недели он был отправлен в ссылку в Казахстан. В последующие годы всех, кто осмеливался на открытую критику режима, немедленно отправляли за решетку, расстреливали. Похороны Иоффе стали реквиемом по эпохе революции, последним годом ее, когда еще теплилась слабая, крохотная надежда на альтернативу диктатуре.

Люди у гроба Иоффе еще не знали, что эта демонстрация станет последним массовым проявлением протеста против действий правительства. Таких демонстраций Москва не увидит шесть десятилетий.

Седовласая женщина в белом свитере сидит в кресле в своей московской квартире. Сквозь зашторенные окна пробивается весеннее солнце. Она очень хорошо помнит ту похоронную процессию, потому что женщина эта — Надежда Иоффе, дочь Адольфа Иоффе.

Она также помнит и другой день, 7 ноября 1917 года. Тот памятный вечер и всю ночь Адольф Иоффе и его жена провели в Смольном, в Петрограде, — там находились штаб-

* Примечание редактора: подлинные обстоятельства смерти Н. Аллилуевой до сих пор неизвестны.

квартира партии и мозговой центр переворота, утвердившего власть Советов. Именно из Смольного шли приказы захватить Зимний дворец, телеграф, Государственный банк, железнодорожные вокзалы и другие ключевые точки столицы. Из Смольного новый революционный режим заявил миру о своем существовании...

В ту ночь, изменившую ход истории XX века, маленькая Надежда Иоффе тоже была в Смольном — родителям не с кем было оставить ее.

Сейчас ей 85 лет, но глаза ее живые, ясные. Она тепло вспоминает о своем отце: «Когда мне было 12 лет, мы жили в Берлине — папа был послом. Там я начала читать газеты, и русские, и немецкие. Меня все очень интересовало, и я приставала к отцу с самыми глупыми вопросами, какие только можно себе представить. Но никогда он не говорил ничего вроде: «Ты еще ребенок, тебе этого не понять». Он всегда отвечал на все мои вопросы».

Через два года после смерти отца Надежда Иоффе была арестована в первый раз. Она была беременна, ждала своего первого ребенка. Из последующих 30 лет более четырнадцати ей предстояло провести в тюрьме, исправительно-трудовом лагере, ссылке. «Но мне повезло, — говорит она, — смеясь, когда меня посадили в первый раз (в 1929 году. — А. Х.), они еще не били людей».

Вернувшись в 30-е годы в Москву из Сибири, первой своей ссылкой, она была встревожена волной капитуляций, захватившей многих выдающихся старых большевиков. Они теперь публично каялись в своих «ошибках», умоляли снова принять их в партию. Да, времена были совсем не те, что десять лет назад, когда ее отец открыто выступал против Сталина. «Люди уходили из оппозиции, публично заявляли об этом. Известные люди! Молодежь, мои сверстники, не столь значительные, просто писали: «Прошу присоединить мою подпись к такому-то заявлению».

Без «капитуляционного» заявления ей не давали вида на жительство. «У нас было двое детей. На меня наседали со всех сторон. «Ты должна подумать о детях, об их будущем», — звали мои друзья, которые когда-то были в оппозиции, но теперь уже написали свои заявления. Я не написала».

В 1936 году Надежду Иоффе и ее мужа снова арестовали. На этот раз их отправили в самую далекую, ледяную часть ГУЛАГа, само название которой стало синонимом ужасов сталинизма, — на Колыму. Там, в лагерном лазарете, Иоффе

родила еще одного ребенка. Ее дочку забрали в приют «для детей врагов народа». Мужа расстреляли.

Надежду Иоффе послали на отдаленный золотой рудник. На Колыме, в арктическом холоде, без теплой одежды, на скудном лагерном пайке, даже недолгое время заключения часто равнялось смертному приговору. Она выжила потому, что ее взяли работать на кухню, и потому, что главарь уголовников решил защитить ее.

«Это был Саша Орлов, Сашка-орел по прозвищу. Он был старше меня, но обращался ко мне всегда по имени-отчеству: Надежда Адольфовна.

Относился он ко мне с большим уважением. Как-то сказал: «Удивляюсь я, Надежда Адольфовна. Вот с вами разговариваю. А ведь, сказать вам откровенно, баб — то есть, извиняюсь, женщин — на своем веку имел, как волос на голове, и никогда ни с одной бабой — извиняюсь, с женщиной — как с человеком не разговаривал, даже представить такого себе не мог».

Однажды был такой случай. Уходя на работу, я обычно запирала свою комнату. И как-то, забежав домой в обеденный перерыв, обнаружила, что замок сорван*, чемодан с моими вещами весь перерыт, но ничего не взято — женщин на прииске не было, так что женские вещи моим незваным гостям были, видимо, ни к чему. Взяли пиджак Павла (мужа. — А. Х.), который висел на спинке стула, и флакон одеколона.

Вернулась на работу, и тут как раз зашел Сашка. «Что это, Надежда Адольфовна, вы вроде бы расстроенные?» — «Да вот, Сашка, такая неприятность», — и рассказываю ему. «Одеколон — это ладно, а вот пиджак — жалко. Да и противно, что в вещах рылись». Сашка, не говоря ни слова, повернулся и вышел. Вернулся примерно через час, принес пиджак. «А одеколон, извините, не успел — уже выпили. А в дальнейшем, Надежда Адольфовна, можете дверь у себя вообще не запирать. Орел отвечает».

Надежда Иоффе получила возможность уехать «на материк» с Колымы в 1946 году. В 1949 году, когда началась новая волна арестов, ее держали в тюрьме под следствием почти год, затем сослали в городок под Красноярском — там она отбывала свою первую сибирскую ссылку 12 годами ранее. Детей ее снова разбросало по родственникам и детдомам. Она оставалась в ссылке до реабилитации в 1956 году.

* Прим. редактора. Н. А. Иоффе в 1936 году находилась в мужском лагере вместе с мужем и ребенком.

Изменилось ли ее мировоззрение после всего, что ей пришлось увидеть и пережить? «Надо быть крайне глупым человеком, чтобы этого не произошло. Но это было очень нелегко для меня. Время моей молодости — удивительное время. Если бы я могла передать настроение, дух, обстановку тех лет и того круга... Это удивительное «чувство локтя» в самом высоком смысле слова. Чувство уверенности в том, что тебя окружают товарищи и на каждого из них ты можешь положиться, и каждый понимает тебя так же, как ты понимаешь его, хотя у всех свой характер, свой уровень развития, свои вкусы. Важно основное — самое большое и самое главное: мы ничего не хотели для себя, мы мечтали о победе мировой революции и счастье для всех. И если для этого нужно было бы отдать жизнь, мы бы отдали ее, не задумываясь...

У меня есть друг — американец из Нью-Йорка, Н. Вы знаете его? Я как-то останавливалась у него в Манхэттене. Что я могу вам сказать? Вы знаете эту жизнь лучше меня. У него девятикомнатная квартира, три спальни, две ваннные комнаты, полнейший бытовой комфорт. Но ему это не нужно! Ему нужна мировая революция! Но я его очень люблю. Он такой милый человек. Я тоже выросла с этой верой».

Надежда Иоффе описывает несколько других встреч с западными левыми: с американским троцкистом в Москве, с актрисой Ванессой Редгрейв... Она говорит о них без собственного большинства русских презрения по отношению к западным радикалам, но с настоящим пониманием и сочувствием, ведь, встречаясь с ними, она как будто встречается со своей молодостью. Она все еще не отказалась от Утопии, она все еще симпатизирует мечте левых о социальной справедливости. И больше всего согревает ей сердце то, что эту мечту можно встретить и у людей, живущих в Соединенных Штатах и Англии — странах, которые кажутся многим в России раем.

Я спрашиваю Надежду Адольфовну, во что она верит теперь, и ее ответ напоминает последнее письмо ее отца поиском бесконечного в конечном мире:

«Я не верю в Бога. Многие люди, которых я по-настоящему уважаю, обратились к религии, но я рациональный человек: я взяла Библию и прочла все четыре Евангелия — от Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна... И мне понравились все эти прекрасные заповеди: не убий, не укради, почитай мать свою и отца своего. Я стараюсь придерживаться этих заповедей, но в Бога не

верю — ни в русского православного, ни в еврейского. Ни в какого».

В конце нашей беседы она рассказывает мне анекдот. В нем, как в японском трехстишии хокку, заключено многое. Здесь и намек на ошибки русской революции, и горечь оттого, что правильный путь остался непройденным.

«Женщина, потомок декабриста, выглядывает в окно, видит на площади демонстрацию и просит дочь:

— Маша! Пойди, посмотри, что там происходит.

Маша возвращается и говорит:

— Там много-много народу.

— Чего они хотят?

— Они борются за то, чтобы не было богатых.

— Как странно, — говорит женщина. — А мой прадед вышел на площадь бороться за то, чтобы не было бедных...»

Перевод с английского Надежды Десятниковой

Николай Покровский

ЕНАФЬЯ

Недавно я вновь раскрыл экспедиционный дневник, который летом 1977 г. вела наша небольшая группа из трех археографов, искавших в селах Зауралья памятники древней русской письменности и печати.

Еще в конце прошлого века в этих краях активно переписывали древние книги, их бережно хранили. Наши свердловские коллеги тем же летом обнаружили здесь хороший список яркого рассказа о восстании московских стрельцов в 1681 г., знаменитой Хованщине, подавленной правительством царевны Софьи. И хотя на нашу долю древних книг в этих деревнях уже почти не осталось, места эти запомнились надолго: нам было суждено услышать здесь о куда более близких трагических событиях.

* * *

На подворье Енафьи Кирилловны, старухи лет под 80, и в просторном ее доме все свидетельствовало о зажиточности. Ее зять неплохо зарабатывал, было и небольшое приусадебное хозяйство. В сундуке Енафьи хранились яркие народные одежды былых времен. Она с удовольствием позволила сфотографировать себя в них. И ничто не предвещало драматического накала бесхитростного ее рассказа о своей жизни. Два вечера слушали мы негромкий размеренный ее голос, лишь изредка перехватывавшийся волнением от воспоминаний о прошлых страданиях.

Двух лет Енафья осталась без матери, воспитывалась у теток. Пришлось ей и батрачить на зажиточных односельчан — деревня была из богатых. Тетки выдали ее замуж почти без приданого за парня из той же деревни. Брак был по любви и оказался счастливым, молодые жили дружно и безбедно. К чужому труду не прибегали — кулацким это хо-

зьяйство не было. Третий ребенок появился в семье Енафьи и Кирилла, когда пришел 1930 год.

И хотя имущества в этой семье было куда меньше, чем в 1977 г., они попали под раскулачивание. У Енафьи была очень бесполезная в тех условиях справка о том, что раньше она была батрачкой, — эта справка могла бы ее избавить от ссылки, но она решила разделить судьбу мужа. Младшему ее мальчику было несколько месяцев. Но у семьи — одна участь.

Сначала всех «раскулаченных» привезли в Тюмень, имущества — что в руках могли унести. Енафья ухитрилась захватить с собой швейную машину, которая не раз потом выручала их семью: Енафья шила женам разных начальников, иногда за это бывали кой-какие послабления. Вообще режим, судя по ее рассказам, меняли часто. Известные игры. На окраине Тюмени за колючей проволокой провели почти год, семью при этом не разделяли. Енафье удавалось даже иногда доставать с воли кое-какое продовольствие, в другие дни голодали. Умер четырехлетний сын.

Потом их сослали за Красновишерск, верст 50 севернее, на лесоповал. Я не очень-то было поверил рассказу Енафьи о том, как их встретил начальник спецпоселения Килин. По ее словам, он был из помещиков и, не скрывая этого, открыто торжествовал перед сосланными крестьянами: «Вы не кулаки, а дураки, в 1917 году помещиков громили, а сейчас власть по вам же и ударила». Уж больно неправдоподобной показалась мне сначала эта сцена, эта откровенность, но старуха не смогла бы выдумать такого.

Мужчины работали на лесоповале. У Кирилла было еще немало сил и крестьянской хватки в обращении с пилой и топором. Енафья вспоминала, что через год он был отмечен как передовик. В поселении все сильнее стало не хватать продовольствия, мука оказалась гнилой, да и той было слишком мало, с подвозом не спешили, и петля голода затягивалась все туже. Вспыхнула цинга. Прибыли в это поселение человек 450 ссыльных, но через несколько месяцев в живых остались меньше 50.

Умер и младший сын Енафьи и Кирилла, полутора лет, а однажды днем, прямо на лесоповале, Кирилл не смог справиться с очередным «баланом» и упал близ него. Енафья кинулась к какому-то начальнику (уже не Килину, другому), семью которого она тоже обшивала, добилась положительной резолюции на своей письменной просьбе о временном освобождении мужа от работы.

Все тем же размеренным старческим голосом рассказывала Енафья о его последней ночи. Кирилл пришел в себя из



Енафья Кирилловна

полузабытья и вдруг запел тихим голосом, попросив ее подтянуть. Вдвоем под ругань измученных соседей, которым опять с утра было идти в лес, они спели несколько тех деревенских протяжных песен, что пели у себя на родине еще перед свадьбой. К утру его не стало.

Енафья поняла: здесь неминуемо ей последовать за мужем и решила на отчаянное. Подговорив с собой подругу, она, пока еще оставались силы, ушла с ней в побег: женщин не так стерегли. В поселении осталась ее дочь.

Немногословно изложила она историю самого побега, так и не поведав, как удалось им выбраться из охраняемого поселения, как шли, едва живые, первые десятки верст. Потом устроились в каком-то хозяйстве копать картошку. Но вскоре их тут схватила команда, ловившая беглых. Енафье, однако, удалось еще до того, как их вернули в зону, откупить у одного конвоира себя и подругу. В уплату пошла красивая шаль, захваченная Енафьей еще из дома. Затем опять долгие версты пешком. Их поймали второй раз, но опять обошлось: обоим удалось бежать с дороги.

В конце концов они добрались до железнодорожной станции. Выяснилось — можно просто взять билеты и ехать. Домой, конечно. Денег у обеих не было. Но тут оказалось, что Енафья ухитрилась — таки припрятать на этот случай пару золотых сережек. Так удалось вырваться из-под Красновишерска. Подруга Енафьи отделилась от нее еще на Урале, у нее были какие-то свои планы, и она звала ее с собой, но Енафья думала только о доме. Больше они не встречались.

Нашей собеседнице удалось добраться до родных краев, опять повидать Ирюм. Ее укрыли какие-то родственники неподалеку от той деревни. Но прошло лишь несколько дней, и на нее донесли. И Енафья была отправлена по этапу назад. В Тюмени опять была остановка, снова Енафья оказалась в той же зоне, где недавно еще жили всей семьей и где умер ее старший сын. На этот раз она была одна и решила воспользоваться давней справкой о том, что она работала батрачкой. Дело, конечно, не только в справке, были разговоры со знакомыми начальниками, кто-то сжалился, помог написать какую-то бумагу. Одним словом, чудо — выпустили! Велели ехать в родную деревню и ждать. Какого еще решения — не ясно, хоть и свободная, но не вполне.

Жила, страшась завтрашнего дня. Об оставленной в спецпоселении дочери — не узнать. И тут за ней стал ухаживать односельчанин, но какой — председатель сельсовета, партиец. Енафья рассказывала, как долго колебалась, а потом все же решила пойти за него замуж. Вот тогда-то положение ее упрочилось, и через год-другой она рискнула

попытаться вернуть из ссылки дочь. При деятельной помощи второго мужа это удалось.

Теперь все страшное было позади. Но у Енафьи росла новая тревога. Пройдя через столько мук и опасностей, она не могла не верить, что лишь чудом осталась жива, вернулась на родину. И вера отцов возродилась в ней, тем более что Енафья была привычна к обычному кругу старообрядческой службы и литературы, лет с 12 умела читать не только кириллические, но и крюковые книги (крюки — древнерусская музыкальная нотация). А в традиционной старообрядческой среде ее второе замужество, брачный союз с представителем власти, числившимся к тому же атеистом, был делом не очень-то похвальным. И Енафья исподволь стала обращать своего мужа в старообрядчество уралосибирского согласия «часовенных». Далеко не сразу ей это удалось. Енафья совершенно четко считала это своим оправданием. Некоторое время ее муж жил в подобном, так сказать, «двоеверии», отвечая немногим посвященным, что на лбу у него вера не написана. Никто не выдал его, а уже в старости он, сославшись на болезнь, окончательно отошел от дел общественных, незаметно как-то вышел из КПСС. Похоронили его по всем старинным правилам.

Енафья охотно показала нам свои книги; несколько крюковых рукописей, имевших научную ценность, она уступила Сибирскому отделению Академии наук. Вера ее была лишена фанатизма — она держала в доме, читала и «мирские» книги, одобряла работу зятя, признавала современные лекарства, пела иногда светские песни своей молодости.

Вениамин Бромберг

СВЕТ УБИТОЙ ЗВЕЗДЫ

В киевском издании «Еврейских вестей» (Приложение к газете Верховного Совета Украины «Голос Украины») № 23—24 (43—44), декабрь 1993 г., стр. 2, опубликована статья Василя Овсиенко, секретаря Украинской Республиканской партии, «Про моего друга». В ней, в частности, говорится о том, что Овсиенко получил письмо от своего друга — израильского журналиста Михаила Хейфеца, отбывшего в 70-е годы несколько лет в советских лагерях строгого режима и последовавшую ссылку. В этом письме есть такие строки:

«Нашел документы о жизни замечательного парня. Он прожил 38 лет и был расстрелян на Колыме в 1942 г., а до этого отсидел по первому заходу 6 лет и по второму 5, всего 11, ну, а в третий раз его, естественно, расстреляли. Он был всесторонне талантлив — экономист и скрипач, переводчик и композитор, художник и прозаик».

В. Овсиенко называет этого человека — Вениамин Бромберг.

Это — мой отец.

Вениамин Файвелевич Бромберг, младший сын (как он говорил «мизинец») в семье херсонских народовольцев, родился в 1904 году. Продолжив семейную традицию, большую часть своей сознательной жизни он провел уже в советских тюрьмах, каторге и ссылке.

О его детских годах почти ничего не известно, за исключением того, что еще помнил его родной брат Яков Бромберг, с 1924 года живший в Тель-Авиве. Семья в поисках работы для ее главы переезжала с места на место, и в Одессе мальчик получил музыкальное образование в знаменитой скрипичной школе Петра Столярского. Впоследствии скрипка была его верной спутницей на воле и в ссылке, где он выступал на сценах клубов и домов культуры Ташкента, Ташауза, Андижана, в бараках под Владивостоком и колымских лагерях. Его скрипка жива (вернее, одна из его скрипок). Это фабричный «циммермановский» инструмент

(порадивший меня своей этикеткой «Иосиф Гварнери, 1723 г.»), купленный им у какого-то подвыпившего итальянского матроса в Одессе.

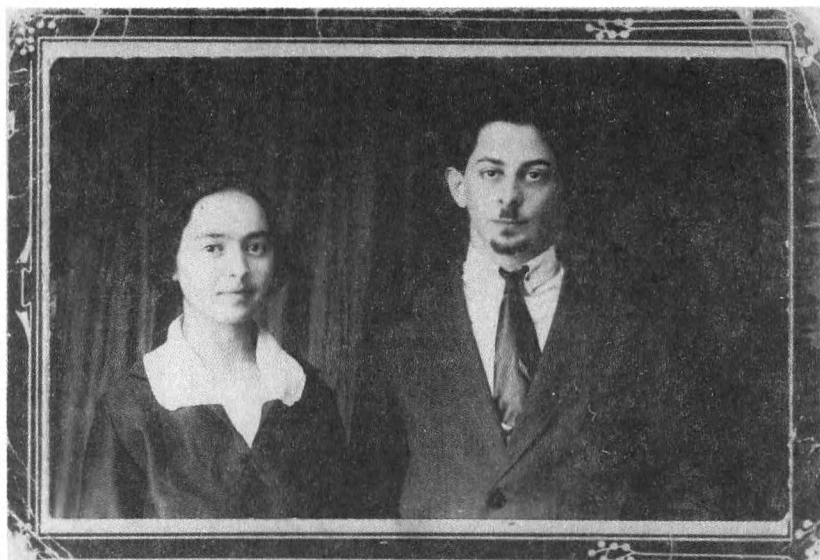
Отец был одним из руководителей молодежной организации сионистской партии в СССР. Первый раз его арестовали в 1923 году. Затем — в 1926-м. (3 года политизолятора. Суздаль, Владимир). Потом — с 1929-го — ссылка в Среднюю Азию на три года. И снова арест в 1932-м, опять ссылка на три года (там же), арест в 1938 г. (после двух лет на воле) в связи с «калининским» делом, замена расстрела на 20 лет колымских лагерей с последующим поражением в правах на 5 лет (которого он уже не мог «оценить», поскольку через 4 года, в 1942 году, в возрасте 38 лет он был снова «арестован» уже в «своем» лагере прииска «Нечаянный» в поселке Оротукан — и 31 июля расстрелян).

Все это стало мне известно только теперь из хранящихся «вечно» дел НКВД 1938 и 1942 гг. Моя мать тщательно скрывала от меня их с отцом прошлое, оберегая меня, как ей казалось, от «неосторожных» поступков. В 1956 она добилась «реабилитации» В. Бромберга по процессу 1938 г. В 1989 я получил аналогичный документ по делу 1942 г., а в 1994 г. смог познакомиться с обоими «делами»: 7 «калининских» томов и 1 «магаданский».

Это был богато одаренный человек: музыкант, художник (сохранился его автопортрет, написанный карандашом на почтовой открытке в «смертной» камере 1939 года, некоторое время мама сумела хранить написанный им углем ее поясной портрет, к сожалению, затем утраченный), экономист (одну из его статей — о пагубном влиянии ориентации на монокультуру — хлопок — для экономики Туркменистана — я нашел в «Ленинке»). Сохранились и опубликованы лишь два его небольших рассказа, два эпизода гражданской войны.

В этой публикации предлагается маленькая часть отцовских писем из тюрем и ссылки, вернее, выдержки из них.

Герц Бромберг

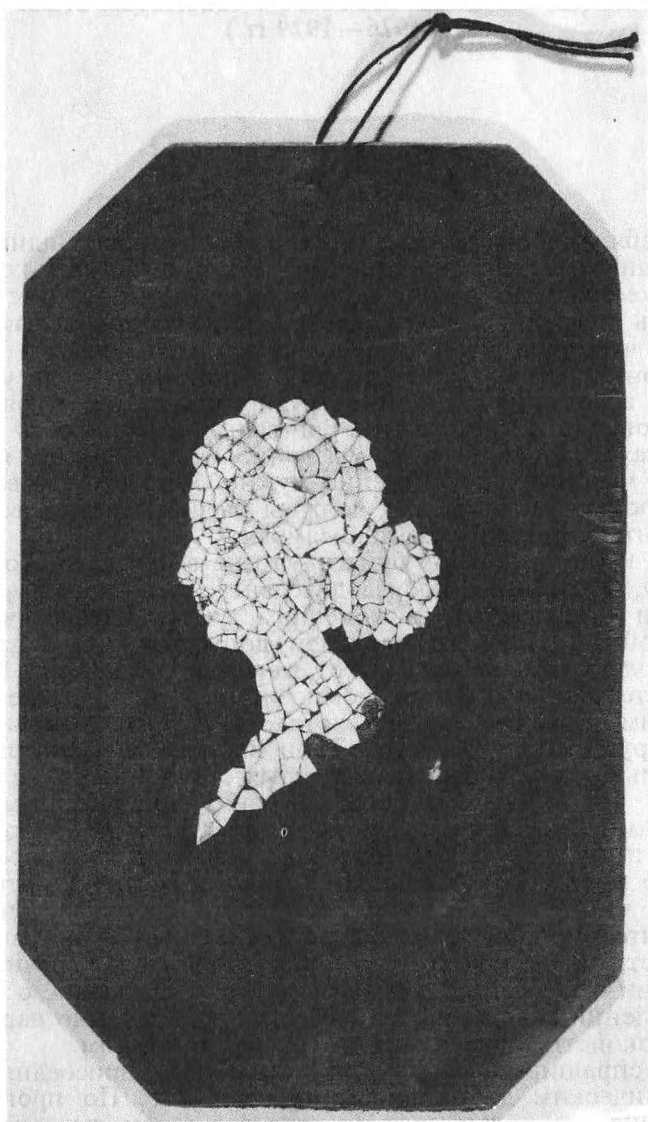


Вениамин Бромберг с женой Бэллой. 20-е годы

Вениамин Бромберг. Фотография из следственного дела



Вениамин Бромберг. Автопортрет. Рисунок. 1939 год



**Женский портрет. Мозаика из яичной скорлупы, сделанная
Вениамином Бромбергом в Суздальском политизоляторе**

1. ПИСЬМА ИЗ СУЗДАЛЬСКОГО ПОЛИТИЗОЛЯТОРА (1926—1929 гг.)

1

...Тебя удивило, мама, что я «написал марш». Видишь ли, твое удивление вполне законно. Но я писал только тему для оркестра. а до умения самому оркестровать ее мне очень и очень далеко. Тема эта состоит из 35 тактов, я сам прекрасно чувствую, что она неполна и что ее можно и нужно расширить, но не хватает умения. Кроме того, хоть у меня слух и абсолютный, но мне трудно писать, не имея даже камертона (в этом сказывается вся примитивность моего «письма»). Но когда я ее мысленно воспроизвожу, я прекрасно чувствую, как именно нужно было бы эту вещь оркестровать, что и как должны были бы играть все инструменты симфонического ансамбля.

Что касается нотной бумаги — то не в ней дело. Хотя, по Марксу, «состояние производительных сил — через уровень техники — определяет, в конечном счете, идеологическую надстройку». Но даже марксизм допускает, что талантливость художника не зависит от качества его красок. Другое дело — теория музыки и композиции. Но, дорогие мои, рассудим спокойно: я очень хотел бы поучить и почитать и то, и другое, но к чему это? Если Вы согласны смотреть на это только как на душевный отдых, то я ничего не имею против присылки. Но если взглянуть шире и думать о «программе техникума» — нет, тогда лучше не надо: мои карты в музыке биты. Не знаю, навсегда ли, вероятно, именно так и обстоит дело. Но сейчас, безусловно, биты. А я думаю, что в таких случаях самообман очень вреден. Тем более что он происходил бы на фоне большой неуравновешенности: я, например, в газете с жадностью перечитываю рецензии о концертах, конкурсах и пр., объявление о новом выступлении какой-нибудь знаменитости временно нарушает мое спокойствие и т. д., и т. д. Нет уж, Бог с ним.

Ты спрашиваешь, папа, не думаю ли я присоединить к экономическим дисциплинам юридические. По программе ВУЗа мне это полагается. Но дело вот в чем: первый курс, который я одолею в недалеком будущем, содержит в себе основные капитальные труды по политэкономии, статистике, экономической географии, экономической истории и пр.,

они с трудом уживаются с большим числом посторонних учебников. Другое дело второй курс: там больше специальных, но зато менее фундаментальных учебников, и поэтому я решил именно тогда начать выполнять и юридическую часть программы. Она, в конце концов, не так уж велика. Но вот другой, более общий вопрос: смогу ли я добиться этим чтением настоящего высшего образования? Я далек от приукрашивания университетской действительности и прекрасно знаю, что диплом на 75% еще не означает действительного высшего образования. Как будто бы, объективно судя, самообразование должно дать действительные знания. Но беда та, что вносится существенная поправка на работоспособность, на нервы: если старое поколение вступало в жизнь с крепкими нервами, и только потом их растранивало, то мы получили в наследство именно расшатанные нервы, да к тому же немножко рановато пустили в ход это наследство. Так что, не возлагая слишком радужных перспектив на чтение тут, я все-таки думаю, что смогу себе дать солидную подготовку, которая если и потребует завершения, то недолго и нетрудного. Так мне это кажется. Но согласитесь, что и это немало. А к этому надо присоединить и то самообразование в широком смысле слова, которое вполне осуществимо.

У нас тут уже недели 2—3 стоят морозы, последние дни дело доходит до 20—23 градусов, иногда и чуть выше. Но мне если и холодно, то только лицу. Хорошо то, что морозы стоят тихие, без ветра. Говорят, что доходит тут иногда до 30 градусов. Интересно, ведь у нас на юге 10 градусов — это крепкий мороз, а уж 15 — так совсем не приведи Господи, невиданная погода, конец мира! Я и не думал, что крепкие морозы так легко переносятся. Хотя и то сказать: ведь «ощущаешь» его всего 2 часа в сутки, в валенках и полушубке.

2

23.02.1927 г. ...Не говорю уже о том, что представляют для меня эти фотографии. Но для каждой я сделал бы рамочку, как сделал уже для фотографии Шуры и Лии, а это ведь и занятно, и приятно, и полезно... Я все стараюсь не прекращать ручной работы. Двигаются у меня работы по лепке из хлеба... Если бы не противная предварительная стадия обработки хлеба, я бы много больше лепил. Ведь нужно жевать хлеб, и разжеванный, кашицеобразный, часа по полтора растирать на голых руках — какое же это удо-

вольствие? Но зато вещички получаются изумительные, хоть на выставку. Но вот одна беда — не хватает объектов лепки и срисовыванья. Все то, что было под рукой, я «перелепил» и «перерисовал». У меня, например, на стене висит «картинная галерея», в которой штук 8 «красавиц»: тут и Мэри Пикфорд, и турецкая танцовщица, и портрет из «Психологии» проф. Сикорского, и из «Огонька», словом, всякой твари по паре. Но всему есть конец, да и надоедают эти однообразные портреты. Вот если бы я имел снимки греческих скульптур!..

...Занятия идут по-прежнему. Иногда бывает «отлив» умственной энергии — тогда слабее, иногда — наоборот. Я веду «статистику» прочитанного (помимо газет, беллетристики, и публицистики, остается, значит: экономика во всех видах книг и журналов, вопросы искусства и случайные общетеоретические книги). По этой статистике выходит, что в месяц я прочитываю около 850 страниц (около 27—30 страниц в день); если прибавить сюда еврейское чтение, беллетристику, публицистику, 3 русские и 1 еврейскую газету ежедневно, то получается, я полагаю, достаточная нагрузка. Помимо всего, я вынужден считаться с глазами, которые у меня не выносят вечернего долгого чтения. Но вот уже скоро лето, и можно будет совсем не пользоваться электричеством по вечерам.

Да, я ведь понемногу и пишу еще тоже: вот уже 15-ю вещичку кончил сегодня.

В «Былом» я читал записки одного завсегда царских тюрем. Он говорит, что есть основной закон заключенного: никогда не думать о том, сколько впереди дней и месяцев, а всегда считать только прошедшее время. Действительно, я на себе проверил правильность этого наблюдения. И еще: гораздо приятнее считать не на годы, а на месяцы, и не на месяцы, а на недели. Вместо того, чтобы сказать «просидел уже год» легче и приятнее сказать «просидел 12 месяцев» (зато остающееся время удобно считать именно не на недели или месяцы, а на годы...).

...Ответа на мое ходатайство все еще нет. Единственное, что я еще могу сделать, — это продолжать ждать. А какой у Вас ответ от Пешковой?..

3

24.03.1927 г. ...Ты просишь, мама, написать откровенно о бельевом инвентаре? Чего же мне не быть откровенным! Вот он: у меня 3 пары кальсон и немного больше рубашек. Это значит, что минимум есть, — что и требовалось доказать.

Конечно, для среднего англичанина это недопустимая степень падения — 3 пары кальсон. Но это для среднего и для англичанина. Я твердо уверен в том, что не являюсь вторым, и хочу думать, что не представляю собой и первого. Поэтому и говорю, что этого с меня достаточно. Верхние рубашки есть — белые и серые — тоже благополучно. Я ведь время от времени чиню все и не позволяю рассыпаться. Единственная Ахиллесова пята — это носки (где ей и полагается быть, этой пяте). Их чинить я не умею как следует, и они быстрее изнашиваются. Но пока есть, вы ведь прислали в прошлой посылке.

4

...Но вот чем я вас удивлю: после долгих колебаний я решил взяться за языки — и начал с французского. Объясню: английского я не переносу, немецкий для меня не представляет больших затруднений (хотя бы потому, что серьезная еврейская книжка, по существу, написана по-немецки, а не по-еврейски), а французский мне очень нравится. А уж если нравится — стало быть, будет меньше лени и больше результатов. Учебник — французские выпуски «Академии иностранных языков» (издательство «Благо»). Прекрасные учебники, по новейшей методике, дающие не только знание языка, но и произношение. Всех выпусков 10, в каждом по 10 «уроков». У меня получается по 1 уроку в день. Это — «оптимум», и я его буду держаться все время. А для практики у меня будет сколько угодно французских книг. В частности, я уже имею подаренный мне роман В. Гюго «Les misérables». Как вы на все это смотрите?

Что касается моих общих занятий то они идут равномерно. Сейчас я читаю «Финансовый капитал» Р. Гильфердинга. Это себе такая маленькая книжечка на 500 страниц, из которых об каждую можно сломать все зубы, если неосторожно грызть этот «научный гранит». И что это за манера у немцев — писать обязательно так, чтобы у читающего случался после каждой главы умственный «заворот кишок». Но я немножко подготовлен — первый том марковского «Капитала» сослужил свою службу. Собственно, я бы продолжал — 2-й и 3-й тт., но сейчас под рукой их нет.

Ну, папа, спасибо за твой отзыв о моих занятиях. Пара замечаний: я не хочу специально изучать финансовые науки и потому ты не должен удивляться малому количеству книг по этой отрасли. Ведь я стараюсь придерживаться той курсо-

вой программы, которую я вам уже раз сообщил; а в ней финансовые науки распределены по всем 3-м курсам. Так и я буду их проходить. Вот только нет тут учебника: по деньгам, кредиту и банковской системе, — но Гильфердинг дает столько, что пока хватит с избытком.

Ты спрашиваешь, как с юридической частью? Да вот как-то не клеится, да я и не слишком забочусь: все-таки это подсобная (по курсовой программе, опять же) часть предметов.

Что касается литературной критики, то я был бы рад почитать Брандеса, но его нет тут. А других, признаться, я не очень уважаю, вообще критику. Вероятно, по «критическому» невежеству. Публицистику же я читаю, и читаю много — в газетах, журналах и отдельных книжках.

Ну а чтобы дополнить картину, должен же я рассказать про свои «художества». За это время я сделал еще две штучки из яичной скорлупы (мозаикой): девичью головку и пейзаж. У нее рыжие волосы (у головки, понятно, а не у пейзажа) — другого цвета скорлупок не было, а пейзаж — копия с известной открытки с крымским видом «Двугорбой скалы» (помните, Фимка когда-то срисовывал ее маслом?). Получилось «художественно». Я, таким образом, являюсь основателем нового жанра в прикладном искусстве: это жанр «выеденного яйца». Одно название чего стоит! Но работа отчаянная: над пейзажем (его размер 2×3 вершка) я просидел 3 дня!! Конечно, не целых, а свободных от занятий. Зато это одновременно и школа терпения: изволь-ка подбирать нужного цвета и нужной формы кусочки скорлупок, иногда величиной в булавочную головку! Что называется «полнэ-полнейшер мешугенер» (так говорил один мой знакомый). Ну вот. Теперь я «обписал» вам все (или почти все) свои работы и занятия... На днях поставлю точку ничегонедельню и возьмусь за книги.

Однако в других отношениях я успел за это время: сделал себе настольный прибор, на загляденье, затем вот еще что — сконструировал из дерева самодельную ручку для самобрейки и теперь, если у меня есть ножи от «Жиллетта», я могу сам бриться — а это большое приобретенье. К этому своему прибору я сделал и футляр — на вид совершенно не самодельная лакированная коробочка из дерева, а внутри укладка, как бывает в коробочках для драгоценностей — знаете? Вы себе представляете, что это за работа? Одна только отделка внешнего вида дерева состоит из следующих операций: 1) зачистка стеклом, 2) зачистка наждачной бумагой крупного номера, 3) зачистка бархатной шкуркой, 4) зачистка промасленной шкуркой, 5) суконкой, 6) покраска, 7) лаки-

ровка. Эх, нужда плачет, нужда скачет, нужда песенки поет! И не то еще можем делать!...

Да, а из прочих моих «вольных» занятий упомяну еще вот о чем: попытался я рисовать портреты. Ничего, получается. Во всяком случае, подходя к моему рисунку, еще издали можно безошибочно определить, кто нарисован — мужчина или женщина. Не смейтесь, это большой плюс, я бы сказал даже больше: это явное достоинство художника. Если художник лишен его, тогда у него один выход — начать торговать папиросами в разнос — знание «физики» тут не требуется. В крайнем уже случае можно рекомендовать таким художникам заняться спортом — это действует отвлекающе. Как видите, я гарантирован от обеих этих перспектив.

5

16.12.1927 г. ...читаю, перевожу и переписываю книгу Г. Мопассана при помощи словаря. Он (словарь, а не Мопассан) прекрасен, я еще ни разу не попал на слово, не имеющееся в нем... А мне очень хотелось бы достичь хотя бы свободного чтения с минимумом незнакомых слов.

...Имея такие несколько книг, как А. Смит, Миль, Рикардо, Жид, я не очень легко бросался бы ими. Их можно (и нужно, конечно) не прочесть, а читать неоднократно, и, по мере надобности, частями, возобновляя то или иное место. Если я теперь этого не делаю, то только потому, что мне необходимо держаться курсовой программы.

Дорогие мои, недавно я отправил вам через СО ГПУ музыкальную рукопись, содержащую четыре вещицы. Пару слов должен сказать, как «автор», так сказать. Во-первых: все эти вещи отнюдь не вводят меня в заблуждение относительно их достоинств. Далее, они беспомощны технически, до курьезов: я иногда просто не знаю, как обозначается та или иная музыкальная подробность — пауза, длительность, акцент и пр.; затем, надо полагать, что в мелодиях много, очень много бессознательных позаимствований. И так далее, и тому подобное. И за всем этим — я доволен: мне удалось хоть кое-как выразить немногие из тех музыкальных тем, которые есть у меня. Вы же должны подойти к этим вещицам, как к первым безобидным, ученическим, пачкающим рисункам — и только. Но в пафосе этой ученической пачкотни, я имел смелость посвятить «Verceuse» — вам, а дуэт — Баллужке.

II. ПИСЬМА РОДНЫМ ИЗ ССЫЛКИ

1

Ашхабад, 1.05.1929 г. Здравствуйте, дорогие!

Вчера в 4 часа дня я был освобожден местным ГПУ, в чье распоряжение я был направлен ПП Средней Азии из Ташкента. Мне заявлено, что пока я могу находиться в Ашхабаде. Четвертого числа, может быть, выяснится моя дальнейшая судьба. Возможно, что я буду оставлен в Ашхабаде, не исключена, однако, перспектива направления в провинцию. Должно все это выясниться в ближайшую неделю (не обязательно 4-го!).

Дорогие мои! Что вам сказать? Свобода, боже мой! Разве это опишешь? Это слагается из тысячи мельчайших ощущений, из которых постепенно (очень постепенно!) вырастает некое ощущение, а какое — трудно передать. Вчера вечером я ходил по улицам города, как в тумане. Сегодня, в день первого мая, пошел опять с раннего утра бродить среди праздничной толпы, музыки, веселья, детишек и шума — и мне было очень хорошо.

Но надо же Вам рассказать, как я пока устроился. В ГПУ я попросил адрес какого-нибудь ссыльного, мне его дали — и прием превзошел все мои ожидания. Я и мои товарищи по этапу обогреты, накормлены, напоены, устроены на ночлег — словом, Вы прекрасно представляете себе все остальное. Тут не один, а несколько ссыльных, большинство из них так или иначе устроены. Если мы останемся, в частности, я — то и мы устроимся: то ли на службе, то ли уроками или еще как. Жизнь тут дорогая, но разве можно променять жизнь в крупном городе (а Ашхабад — город крупный, республиканский центр), пусть даже бедную материально, на захолустье? Нет, если оставят, будет хорошо. Впрочем, неплохо будет и при других комбинациях — где наша не пропадала? Пока я доволен.

Вчера отправил Вам и Бэлле телеграмму об освобождении. Надеюсь, что Вы, предупрежденные мной еще из Ташкента, писали уже по адресу ГПУ Туркменистана. Сейчас, если Вы будете писать, пишите по моему адресу (временному): г. Ашхабад, ул. Кольцова, д. № 57, К. Топорову, для В. Ф. Бромберга. Если меня отправят дальше, Ваши письма будут мне пересланы. Вообще же по истечении праздничной недели я напишу Вам о назначении и, если таковым окажется Ашхабад, сообщу и адрес постоянный. Между прочим: по

путевке ГПУ я смогу получить место в квартире от комхоза, предоставляемой для политзаключенных бесплатно. Далее: на биржу труда также я получу путевку ГПУ, ибо без биржи труда устроиться невозможно. Но все это — дело ближайшего будущего, не настоящего.

Я передумал и писать Вам сейчас об этапе не буду. Как-то не хочется возвращаться мыслью к тому, что осталось позади, пусть на время, но уже позади. Конечно, описать его стоит, и я в этом удовольствии себе не откажу, но сделаю это в одном из последующих моих писем к Вам. Бэлле я пишу одновременно с письмом к Вам. Не знаю, должен ли я одновременно с ней подавать заявление. Буду ждать ее сообщения — ей это виднее.

Куда направлен Лева? Жду от Вас письма с извещением о месте его ссылки. Разрешили ли ему свободный проезд? Как его здоровье и самочувствие? Харьковчанам буду писать завтра, сегодня еще слишком много впечатлений внешнего порядка, и я устал немного.

Как только выяснится место моего назначения, я выпишу из Суздаля скрипку и книги. Собственно, я бы это сделал немедленно по освобождении, но придется все равно обождать, пока появятся первые деньги — ведь присылка вещей должна обойтись рублей 10—12, не меньше! Да, Вы знаете, конечно, что ежемесячно ссыльные получают 6 руб. 45 коп. от ГПУ, а раз в 3—4—5 месяцев «довольствие», т. е. пособие на одежду, рублей 5—10...

В этапе я имел возможность разика два поиграть на мандолине, но это же только так, развлечение, и при том — невысокой пробы. Тут, кажется, достану на время скрипку.

Город мне нравится: масса красивых персиянок!.. Откуда они берутся? Затем — прелестные дети, — я никогда детей не любил, а тут растекаюсь от восторга перед этими крошечными восточными человечками. Восточная архитектура тут лезет в глаза, хотя много европейских домов тоже. Вчера видел большое стадо верблюдов с верблюжатами, чрезвычайно смешные ребята! А верблюд — животное интеллигентное, его взгляд из-под нависших век очень замечательный. Видел тут и в этапе черепах — их тут тысячи, очень больших, средних и маленьких. Одну при мне мальчишки положили на рельсы, под поезд, я уж думал — погибла черепаха. Ан нет — то ли ее не раздавило, то ли сбросило с рельса — поползла себе в сторону!

Жара пока вполне сносная. Кушал уже местное мороженое и хвалил. Зайду еще в чайхану, спрошу плов и познакомлюсь с ним. Знаю уже слов 15 по-туркменски, делаю колоссальные успехи, язык очень бедный, а народ дикий, в

высоченных папах, каждая папаха — это целый баран. Персиянки ходят открытые, но в черных балахонах, узбеки — в парандже, узбеки — в тюбетейках, курды, афганцы и прочие — в чалмах. Кого только тут не увидишь! Я даже встретился в этапе с одним парнем — негром из Персии! Чудеса!..

2

Ашхабад, 25.06.1929 г. ...начинаю сразу с момента выхода из Суздаля. Как Вы знаете, я еще поездил немного из страны с 40° мороза в страну с 40° жары. Поездка эта длилась около 2-х месяцев, о ней подробно говорить не буду, это интересно в устной передаче, где (поток) «великого, могучего русского языка» звучит вольно и плавно, не стесняясь никакими знаками препинания и прочей грамматикой. В общем, скажу: ко всему более раннему опыту этот путь прибавил еще, и не мало. Выехал я Суздаля на санях, в огромной дохе, при 20 мороза. Когда я приехал в Ашхабад, тут уже отцветал урюк (род абрикоса), и соловьи в городском саду вспоминали об истекшей весне. Вышел я на свободу 30-го апреля, и когда первый раз прошел по улицам города, по вечерующим улицам города Ашхабада, и это оказалось не одним из многих снов, перевиданных за три года, — тогда я ощутил нечто совершенно особенное. Называть это не буду — оно «не называется». Но Вы меня поймете, правда? Да. А на второй день было 1 мая, город был в празднике, и я тоже. Ходил вместе с толпой по белым от солнца и пыли улицам, впивал в себя все эти краски, шумы и запахи. Я уже писал родным, что наибольшее удовольствие доставили мне в этот день (и по сей день) — детишки: туркменские, персидские и иные. Отцовских чувств у меня нет, но после 3-х лет взрослого мужского общества все дети вызывали у меня умиление, а все девушки и женщины казались невысказанными красавицами. Что касается детей, то они тут действительно прелестны, особенно персидские малютки, очень экономно одетые, грязные, коричневые и с копной блестящих черных волос на голове. А глаза! Куда там еврейским детям! И когда такое вот существо глазает на тебя, на «европейца», или решаете крикнуть вдогонку «урус адам яман» (первые два слова и так понятны, а «яман» — «плохой»), то на душе становится весело.

К городу я сразу как-то привык, к его плоским одноэтажным домам и длиннейшим заборам из кирпича-сырца, к его солнцу, к ишакам, верблюдам, к пестрому его населе-

нию. А население тут очень разношерстное — есть представители Европы, Азии (в том числе ближнего, среднего и дальнего Востока) и даже Африки. Тут персы, курды, афганцы, турки, армяне, туркмены, узбеки, русские, евреи, китайцы и даже японцы. Словом, если иметь время и силы, можно было бы изучить не один восточный язык, зарисовать не одну характерную фигуру.

Но вот к чему я никак привыкнуть не могу — это к здешней, чисто восточной пыли. Мои глаза отказываются работать, когда налетает ветер и приносит тучи тонкой пыли. На улицах она лежит толстым слоем (в персидской части города преимущественно) и от малейшего движения взлетает столбом. Боюсь, что придется надевать автомобильные очки. Что до жары, то этот год выдался «холодный»: свыше 50 на солнце температура не поднималась, а в тени — около 35. Более или менее можно переносить ее, эту жару, потому что она сухая, а не влажная, и потому, что ночи прохладные. А вот когда будет 65—70 на солнце и когда ночь будет палящая и душная — вот когда я узнаю кузькину мать! Тут это бывает — нечто вроде Вашего хамсина, только не на час, а дольше. А пока я хожу в тюбетейке под солнышком — и ничего.

Вокруг Ашхабада (а знаете ли Вы, что «Ашхабад» — это значит «город любви»?..) высятся горы Копет-Даг. Они кажутся мне очень высокими, эти горы, и очень близкими. Не знаю, как с высотой — на них все же есть снег, — но с близостью хуже: они на персидской границе, верстах в 35 от города. А кажется — вот они, греют в голубой солнечной дали свои морщины...

Да, но что я делаю в Ашхабаде? Прежде всего — я бегаю. У меня не катар желудка, нет: причина бегания иная. Я ищу работы. Помимо многих моих специальностей я еще чертежник. Так вот, недавно я поступил в Управление железных дорог чертежником. К сожалению, я проработал там только 6 дней, получил за них (т. е. за 5, не считая пятницы — дня отдыха) 15 р. с копейками и был уволен. Финал печальный, но не слишком... Я надеюсь, что зарабатывать на жизнь смогу — на службе ли, уроками или как иначе.

Затем — остается скрипка: или играть где-нибудь в оркестре или... ходить по дворам. А?.. Ничего, ничего, я шучу, по дворам ходить я не буду — это очень жарко, и потом — мне ведь понадобился бы помощник, который на коврик показывал бы партерные номера и обходил с шапкой уважаемых зрителей, а таковой помощник отсутствует. Пока я играю просто для себя, несколько дней тому назад получил из Суздаля скрипку, свои книги и рисунки. Конечно, горько

видеть, что за три года (фактически за пять...) пальцы сильно окостенели, но, во-первых, я ожидал увидеть худшее. А во-вторых, я же поставил крест на музыке, как основной моей «линии», и хочу сохранить ее «для себя», как отдых души. А для этого можно восстановить элементарную технику, и довольно легко. Между прочим, я лишь теперь смог сыграть свои 4 вещишки, написанные в Суздале. Как я и ожидал, 2 из них оказались ничего, 1 — так себе, а 1 — плохая. Но вот беда — в Ашхабаде нет нот. Есть такая чепуха несусветная, что и денег жаль на нее.

Был я пару раз на концертах. Один — вокальный концерт квартета из Москвы. Прекрасная музыка и большое мастерство певцов прямо восхитили меня. Зато другой — симфонический оркестр местных сил видал меня только в первом отделении: я поздно сбежал, ибо, хотя одно ухо (левое) у меня мало слышит, но другое, к несчастью, обладает абсолютным слухом. Поэтому я готов стать на четвереньки и завить по-собачьи в случае чего. А это был именно такой случай...

Был я много раз уже в кино, упивался цивилизацией и ее плодами после 3-х лет отрыва. А вообще часто хожу гулять — тут есть парк замечательный. Я видел известный гомельский парк графа Паскевича и заявляю, что ашхабадский не уступит в споре. Помимо всего, там — соловьи, хоть и не курские, но все же персидские. А скольких персидских поэтов вдохновили эти соловьи!

Затем можно ходить за город, на холмы — там простор, видны синие горы, и вечером там ровно и сильно дует ветер с гор. А так как там небезопасно вечером, то мы ходим с огромной собакой, волкодавом, его зовут Кучум, и он обладает огромной силой и мертвой хваткой: не лает, не ворчит, а прямо бросается и хватает — обыкновенно за горло — в глубоком молчании. Теперь он уже отучен от этой неприятной манеры, но раньше он был выдрессирован контрабандистами, очевидно. Я с ним подружился после некоторого предварительного периода, в течение которого Кучум кидался на меня со своей цепи, а я почтительно обходил его логово. Теперь он променял мое боязливое уважение на дружбу, и мы оба выиграли.

Живу я в комнате, отдельной, хозяева — персы. Комната — с земляным полом и балками на потолке, но обставлена прекрасно. Тут с комнатами очень трудно, особенно после землетрясения. Да! Забыл Вам рассказать! Ведь в первый день моего приезда «земля не выдержала и затряслась» — и очень сильно. Изумительное это ощущение — когда твердь земная шевелится под тобой, ворчит, волнуется и заставляет

тебя буквально танцевать, как на палубе дубка, идущего морем из Одессы в Херсон. А дома! Кряхтят, шуршат, трескаются и в раздумье обрушивают на твою голову кусок стены или забора. За-ме-чательно! Если бы не жертвы — а они были, — я ощущал бы больший интерес к подобным случаям. А в результате — квартирная теснота стала еще большей.

3

Ашхабад, 18.07.1929 г. ...Хочется мне только знать: если вы теперь, после того, как имели возможность из уст очевидца узнать про мою жизнь, считаете, что я валяюсь на улицах Ашхабада голодный, холодный (при $t = +50^\circ$), необутый и неодетый, то одно из двух: или очевидец плохо передал вам правду, или — тут никакие очевидцы не помогут: вам кажется, что раз Ашхабад — где-то у черта на рогах, а Воля там, — значит... и т. д., и т. п. ужасы.

...В общем (кажется, я писал вам уже об этом), я не хочу, чтобы про мою комнату и мой «быт» можно было сказать потом: «Конечно, приехала Бэлла, так у него стало по-человечески». Нет, у меня «по-человечески» уже теперь, до ее приезда, и приходящие ко мне констатируют это с удивлением. Вообще, папа, я сильно изменился: я уже не неряха и не грязнуха. Это появилось не сейчас, но сейчас я проверил это изменение в условиях свободного житья. Конечно, есть кое-какие «холостые» замашки, но это пустяки. Твоей педантичности в отношении чистоты, боюсь, я не достигну. Но по пути этому продвинулся значительно.

...Меня свою любимую пословицу: «Лучше поздно, чем еще позже», я думаю: «Лучше как можно скорее...»

Да, недавно был еще один толчок подземный, они вообще бывают тут часто, но этот был позаметней. Однако я его и не заметил: играл на скрипке. Вижу — мои персы выбежали. Ну, думаю, очередной «калмагал» (скандал). Однако хозяйка кричит: «Сосед, сосед, землетрясение!» Так я и «проиграл» его незаметно.

Вчера сыгрывался уже с знакомой пианисткой. Одна вещь стоящая — «Вальс-каприз» А. Рубинштейна, и выходит она у нас совсем недурно. Как хотелось бы тряхнуть стариной и поиграть под аккомпанемент свои старые вещи — «арии» Берио, его концерты, маленькие репертуарные вещи, которые игрывал... Но тут никаких нот нет. Впрочем, может быть, достану.

Я, дорогие мои, хочу послать вам скоро пару беллетристических вещей, которые я писал еще в Ярославле. Один мой товарищ, журналист, прочел их и советует мне обязательно послать их куда-нибудь, где печатаются подобные коротенькие рассказы. Кажется, я так и сделаю. Ведь этим я ничего не теряю. А вдруг их примут, как это ни дико? Тогда семья Бромбергов потерпит еще один удар: окажется в ее рядах писатель... Я шучу, конечно, но послать все-таки, вероятно, пошлю.

4

Ташауз. 23.09.1929 г. Дорогие мама и папа! Как видите, судьба моя еще раз вильнула хвостом, и я очутился в новом пункте — славном городе Ташаузе. Произошло это неожиданно... Наш с Бэллой переезд — не репрессивного характера (но и не по нашему ходатайству, понятно). Выехали мы с спецконвоем 18-го числа. До Чарджуя ехали часов 18 по железной дороге, не в арестантском, а в общем вагоне почтового поезда, в отдельном купе. В Чарджуе пересели на катер — подыматься (т. е. опускаться, я ошибся) по Амударье. Катерок маленький, 16-сильный, шел вниз по течению верст 400 с лишним в течение 3-х суток. Под жарким солнцем в 50 градусов было трудно, но зато свежие ночи компенсировали лишения. Доехав до Курт-Куля, мы сели в байдару (большая шаланда) и на веслах двинулись дальше по Дарье. Однако удалось под конец пересесть на моторную лодку, и 22 числа мы сошли на берег в Ташаузе.

Итак, 5 суток водного пути. Нелегко, но: 1) интересно; 2) могло быть и дальше вдвое, при неблагоприятных условиях; 3) надо и это испытать — пригодится для жизненного опыта. В отношении «психических» условий этап очень легко прошел, стеснений не было. А Бэлла ехала вообще на положении вольной гражданки, «добровольно сопровождающей своего мужа» и т. д., и т. п., совсем как в Писании сказано: «Жена да следует за своим мужем».

Что такое Ташауз? Окружной город в Т. С. С. Р. Расположен вниз по Амударье, собственно, по арыку — Шавату — в шестистах верстах от железной дороги. Сообщение по реке — долгое, а по воздуху до Чарджуя за несколько часов. Население — туркмены, киргизы, казаки, немного европейцев. Городок — типично восточный: грязный, улочки узенькие, дома глиняные и совершенно восточные, масса закоулков, переулков и тупичков, лавочки крохотные и весь товар — наружу. Бэлле очень он не понравился, а мне инте-

ресно. Да, кстати: в пути удалось сделать несколько зарисовок карандашом, осталась память о путешествии*. Попробую и тут то же, если не забуду.

Есть тут и новый город, построен чистенько, почти по-европейски (коттеджи), он растет быстро, но еще мал. А жилищный кризис очень тяжелый. Пока мы ютимся с друзьями в одной комнатенке, но на днях, может быть, достанем комнату. Насчет устройства: тут гораздо легче найти работу, чем в Ашхабаде. Кажется, и объективные условия тоже не затормозят. Мне тут говорят, что если не как чертежник, то как скрипач я, безусловно, «привьюсь»...

Учреждения тут есть все, которые полагается иметь окружному центру, а нужда в культурных и честных людях очень велика. В общем, я смотрю оптимистически на будущее. «Не место красит человека, а человек место», и отныне город Ташауз «украшен» мной и Бэллой... У меня, дорогие, к вам просьба: шлите ноты.

...Только что узнал, что смогу работать в местном кино в качестве скрипача. Есть тут пианист, но на горе — нет скрипача, ни одного во всем «городе». Итак, я начинаю свою музыкальную карьеру так же, как начал ее... Антон Рубинштейн. «Продолжение следует», и неизвестно, будет ли законна аналогия в дальнейшем. Пока оплата такая: 5 руб. за вечер, 1 1/2 часа игры. Рублей 90—100 можно заработать; но летнее кино будет еще недели две. Затем перерыв до 7-го ноября, и кино перейдет на зимние квартиры. Мне сказано, что: 1) я могу считать место за собой, 2) возможно, что в дальнейшем, после утверждения сметы, я буду считаться постоянным скрипачом с твердым окладом, руб. 100—125. Посмотрим. Завтра, если ничего не изменится, я должен приступить к работе.

5

Андижан, 8.09.1931 г. Дорогие Катенька, Шура, Лия!... Не знаю вот только, с чего же начать это письмо? С того, что выпало перенести зимой и весной — со смерти мамы и смерти сынишки? Трудно. Но, очевидно, о втором надо сказать: папа писал мне, что от тебя, Шура, он получил письмо по этому поводу и что в письме (он мне его не переслал) ты возмущаешься смертью малютки. Она произошла так: дитя после перенесенного зимой и весной начало поправляться.

* На запрос о возврате конфискованных при аресте в 1938 г. материалов получен ответ, что они не сохранились.

Лишенные физической возможности дать ему кормилицу или увезти к бабушке (когда-нибудь я расскажу тебе, что такое Ташауз и наша жизнь в нем), мы решили кормить его коровьим молоком. Ребенок хорошо принимал искусственное кормление — до наступления первой летней жары. Никакие меры предосторожности не могли исчерпать того, что несли с собой лето и подножный корм, изменяющий состав коровьего молока. Начался обычный понос. На руках у нас троих — его нянчила исключительно преданная и добросовестная женщина — он начал таять. К нашему ужасу, даже в элементарной медицинской помощи ему было отказано: он болел «на дому», а врач по детским болезням на дом отказывался идти. Ребенка нельзя было носить, у него начался воспалительный процесс в брюшине. В отчаянье мы понесли его — через несколько часов у него началась агония, и врач пришел, чтобы констатировать это. Второго июня, на руках у меня, бедный клоп скончался.

Теперь я знаю: преступлением было родить ребенка там. Преступлением было желать иметь ребенка в условиях, в которых мы с Бэллой находились. К большому горю, это знание далось ценой смерти малютки, ценой опустошения душевного — моего и Бэллиного. Что ж делать!

Вот так все это было. Я подал заявление после о переводе в Ашхабад, мотивируя обострившимся у меня к тому времени колитом. Через полтора месяца — вне зависимости от заявления — меня перевели сюда, в Андижан. Через месяц после нашего приезда сюда Бэлла поехала к матери и сестре в Москву, месяца на два. В Москве она проведет половину этого срока, остальную половину — с папой в Одессе. Уехала она 4.09., т.е. 4 дня тому назад, и сейчас — где-то около Оренбурга, а дня через три доберется до Москвы.

Сейчас, на положении соломенного вдовца, я чувствую себя неважно. Это наша первая разлука после первых двух лет жизни вместе и, главное, лишений, пережитых вместе. Но Бэлле после 6-и лет (впрочем, я ошибся: 7 лет) разлуки с родными; после всего перенесенного в последний год — эта поездка необходима, и я настоял на ней. Для меня же особое значение имеет то, что она побудет с папой хоть месяц — папино состояние ничего, кроме тяжелой горечи, внушить не может. Может быть, Бэллино преживание, слово и уход хоть немного возвратят ему равновесие.

Что слышно у меня вообще? После периода неопределенности я устроился на службу. Служба моя — в Андижанском отделении Государственного банка, в кредитно-расчетном отделе, секторе сельского хозяйства.

Обязанности — консультанта (или кредитного инспектора), но звание... «старшего бухгалтера», по причинам, от редакции не зависящим. В моем ведении находятся: машинотракторная станция, районный союз с/х кооперации, районный колхозный союз, а через некоторое время перейдут ко мне и хлебоснабжающая организация, и мясозаготовительная, и пр. Со стороны чисто банковской дело для меня новое, но зато я рад, что не отрываюсь от с/х экономики. А банковская практика — не повредит, наоборот: она расширяет круг моих прикладных экономических знаний и навыков.

...Читать приходится мало, а писать в журналы больше пока не тянет. Вот и вся внешняя сторона жизни здесь. Чтобы писать о внутренней, пришлось бы начинать очень издалека и вдаваться в подробности, маложелательные. Поневоле — в который раз, и до каких пор? — оставляю это...

...Простите, что написал такое сухое письмо. Ждать, пока душевное состояние позволит писать прежние письма, не решаюсь.

III. ИЗ ПИСЕМ КОЛЫМСКОГО ЭТАПА

1

Владивосток, 29.03.1940 г. Бэллуженька, милая!

...я счастлив тем, что наладилась связь письменная с тобой, что, хоть скупо, просачиваются твои письма ко мне и мои — к тебе, но мы уже обменялись приветом за 10 тысяч километров, и я имел счастье читать твое письмо о тебе и Гусенке. А посылка! Теперь и Ика, и Герц получили их, и мы стали богачами, а я могу петь, как поют колымчане:

Я живу близ Охотского моря,
где кончается Дальний Восток,
я живу без нужды и без горя,
строю новый стране городок...

Пока я, правда, живу не близ Охотского моря. Но уже скоро наступит весна, придет пароход, и я, верно, «загремлю» на Колыму.

Все больше и больше я знакомлюсь с Гусенком по твоим письмам. Да, Лужик, — ведь он уже совсем не тот, крошка, каким я его оставил. Как быстро он вырос! Может быть, это

только кажется мне, потому именно, что «часы жизни» для меня остановились 2 года тому назад? Нет, видно, на ребенке... сказалось все, что пришлось пережить этому маленькому человечку за его еще такую коротенькую жизнь. Чего стоят одни его путешествия! Родиться в Новосибирске, ехать в 1/2 года в Москву, оттуда в Калинин, потом Алма-Ата, затем опять в Москву, — это не проходит бесследно. А о всем остальном я уж не говорю... Ну, я верю в то, что из нашего ребенка будет хороший, интересный и полезный человек. А пока — пусть растет, крепнет и не знает забот под твоим крылышком, любя, — если не суждено и мне растить его вместе с тобой.

Когда я читал те строки твоего письма, в которых ты описываешь его счастье от обилия подарков, — мне так живо вспомнилось мое детство. Ружье! Оно является рано утром в день рождения, и, просыпаясь, ты в сладкой дреме чувствуешь, что оно вот тут, у постели, лежит — новенькое, блестящее, несущее тебе радость твоего праздника, неповторимого праздника, когда весь мир любит тебя и дарит тебе такие желанные и недоступные в будни вещи... Эх, хорошо! Я даже скажу тебе по секрету, Лик, что именно с таким чувством я жду сейчас, когда будет готова моя скрипка. Это будет мой день, и скрипка будет моим ружьем. Как я рад за сынишку, как тепло думать о его детском счастье! Это ведь и твое, и мое счастье — сынишка.

Ты пишешь, Лик, о воспоминаниях накануне 7/11. Родная, я живу этими же воспоминаниями и — немножко — надеждой. Твое «сегодня», реальное, — я, конечно, представляю себе, думаю о нем много и часто. Но эмоционально мне ближе воспоминания, они действительно жгут сердце. Почему? Верно, потому, что твое сегодня — и мое сегодня; а оно никак не радует, не мило оно, а горько и темно. Да. Многое об этом можно бы написать, но зачем заглядывать в будущее?

Меня очень обрадовало твое сообщение, что защитник пока в вопросах материальных держится корректно. Это хорошо, очень хорошо, — меня часто тревожила мысль об этом, я ведь знаю, как многие из них выманивают последнюю копейку у семей подзащитных. Значит, он честный человек. О нем я здесь слышал — и хорошее. Я думаю, что сейчас он уже закончил ознакомление с делом? Очевидно, он теперь подает жалобы — свою и подзащитных? Не думает он официально написать мне, если ему есть о чем писать? Сейчас ведь, после решения о допуске защиты к поднадзорным делам, это вполне осуществимо, если есть необходимость. Возможно, что ознакомление с делом

требует от меня каких-нибудь дополнительных объяснений? Напиши мне об этом. Ну и, конечно, хотелось бы знать, каково его мнение о перспективах защиты после ознакомления с делом и когда, примерно, он ждет результата жалоб. Надеюсь, что ты все это сможешь у него узнать и написать мне.

О себе — что писать? Работать продолжаю там же. Сейчас у нас полный рабочий день — до 7 часов вечера. Ну, все же я по привычке, и потом совершенно иначе работается, когда... когда «кувалда покушала». Вот Герц, который работает в мастерской, сказал мне, что как-то пришлось 15 минут поработать ломом — и бедняга выдохся. Я доволен, конечно, тем, что умею теперь работать ломом не 15 минут, а 10 часов, но ничего отрадного, честное слово, не вижу в ломе. Пока вопрос о переходе на одно кустарное производство не удастся решить. Может быть, удастся. Впрочем, маловероятно, чтобы я вообще тут остался, — лед в заливе уже дает первые трещины... Между прочим, калининцы, уехавшие в Находку, во всех отношениях выиграли, и очень серьезно. Ну, не повезло, что ж сделаешь. Я очень рад за них. Если предстоит Колыма — ее не «заговоришь». Что она представляла из себя в 37—38 гг., я знаю. Некоторые изменения к лучшему — тоже. А что готовит судьба сейчас — узнаю и никуда от нее не денусь.

Бэллочка, поговорим лучше о хорошем: скоро будет готова моя скрипка. Это будет настоящий инструмент, сделанный мастером под руководством специалиста. Я живу сейчас этим делом. Мой чертеж полностью забракован, по нему получился бы урод, а не скрипка. Я боюсь только, что струн не достану. Луженька, если будешь что-нибудь высылать, или даже специально, — вложи пару аккордовых скрипичных струн, авось они до меня дойдут и найдут меня.

Я писал уже тебе, что мне посчастливилось тут несколько раз поиграть и выступать в бараках. В клуб пока не выпускают, мешают некоторые особенности моего приговора. Сейчас владелец скрипки уехал в этап.

Между прочим, я показывал одному музыканту «Воспоминание» — он сказал, что самое отрадное — это то, что сохранен «благородный стиль пушкинского романса», и только в одном месте отметил, как он сказал, влияние оперного стиля. Мне странно слушать все это — такие серьезные слова! Правда ли это? Когда-нибудь узнаю.

Наконец-то я узнал от тебя, что комнату тебе дали все же. Как бы взглянуть одним глазком на нее, на эту комнату!

И — хоть на миг — на тебя, на Гуську! Лик, сколько раз я уже был мысленно у вас, в этой комнате...

А радио есть у вас? Проведи, Лужайка, если это возможно и не очень обременительно материально, — пусть тебе и Гусенку звучит музыка... Работать до 12 часов ночи — это, конечно, очень весело... Люба, обрадуй меня, напиши, что была в театре или на концерте, что ты прочла книжку интересную, и не в поезде, а дома, при свете лампы, отдыхая. Моя милая крошка, жизнь ведь идет, и может статься, наше с тобой «сегодня» растянется на годы...

Р. С. Лужик! Вчера вечером, после того, как кончил письмо, за мной прибежали от начальства: выступать в клубе! Хотя выступление и не состоялось — не смогли достать скрипку, она была заперта, а нач. хоз. отсутствовал, но на 5/IV на вечере самодеятельности в клубе я должен выступать. Ну, Луженька, пожелай мне успеха — этот день может многое решить в моей лагерной жизни!

2

Владивосток, 26.04.1940 г. Бэллонька, родная!

...ты выражаешь опасения, что я, не получая от тебя писем, могу сам перестать писать. Люба! Как это? Эту мысль выкинь из головы: пока я жив, пока есть хоть какая-нибудь возможность, я не перестану дышать мыслями о тебе, о Гусенке, буду писать и надеяться получать твои письма... Что это значит для меня — я не должен говорить тебе. Ты тоже получаешь мои письма, правда, только часть их, потому что пишу я не реже раза в неделю. Я получил от тебя, Лик, 4 посылки — все в целостности и сохранности. И радостна мне такая твоя забота, и горько тоже. Все это стоит денег — и больших, времени и сил, а многое из присланного, я уверен, ты сама не видишь, не ешь, и Гусенок — тоже...

Ну вот, значит, связь наша наладилась, пусть со скрипом. Если только эти дни не принесут с собой этапа в Колыму для меня — то мы эту связь не потеряем. Первый пароход отойдет через пару дней. Ничего определенного о том, что меня ждет, я тебе не могу сказать. Дело обстоит так: я уже несколько дней работаю в столярной мастерской — подручным у скрипичного мастера. Первая пробная скрипка, сделанная мастером, одобрена начальством лагеря, и сейчас мы начали сразу несколько инструментов.

3

Владивосток 9.05.1940 г. Бэллужка, дорогая!

А отсюда так долго и плохо доходят письма! Больше того, только несколько дней тому назад ушли телеграмма и письмо, которые я три раза переписывал, а они все не уходили! Вот оно, Лужик, — 10 тысяч километров и Дальний, очень Дальний Восток... Бэллонька, но не отчаивайся, ведь, когда мы с тобой прощались, мы условились не поражаться молчанию, помня, что оно может быть случайным. Я вижу по твоему письму, любя, что ты устала очень — и физически и душевно.

...о себе я могу вот что сообщить. Вчера ушел первый пароход на Колыму, и пока я не попал на него. Отсюда еще нельзя делать никаких обобщений — я могу попасть хотя бы на следующий рейс. Есть, правда, кое-какие основания думать, что эта возможность немного отдалилась от меня: я начал работать в столярной мастерской, которую до сих пор не трогали на этапы. Работаю у скрипичного мастера, и на нас начальство обращает, по-видимому, немалое внимание — это дело их заинтересовало. Сейчас работаем над 6-ю инструментами. Лужик, как я рад, что попал на эту работу! Если бы мне удалось полгода, год поработать там — кто знает, куда повела бы потом меня эта дорожка и в лагере, и вне лагеря. Кто знает? Говорят, что будет выделена в мастерской особая бригада по муз. инструментам. Если так — это еще более укрепляет это дело, и, может быть, мне повезет и меня не повезет (нечаянно вышел лагерный каламбур). Загадывать не буду, т. к. это бесполезно. Колыма всегда реальна, все остальное — будет или нет.

Моя собственная скрипка делается, теперь при моем непосредственном участии. Будет готова (если ничего не помешает) недели через две. Я тебе как-то писал, Лик, что у меня есть тайная надежда — а вдруг я смогу удержаться на поверхности, а не под нею, — благодаря музыке? Таких примеров в лагерях я знаю много. Правда, мне мешает многое, а именно — особенности приговора. Но я надеюсь на судьбу. Поэтому я решаюсь просить тебя, Лужик: вышли мне мои струны, в два приема, хотя бы (но поаккордно, ты ведь знаешь, какие в аккорде 4 струны: одна витая, две жильные и тонкая стальная «МИ»). Может статься, я их получу. Это будет недорого стоить, а может сослужить мне хорошую службу.

Что еще о себе? Я здоров, болел только от противотифозных уколов; я стал, видно, выносливее, чем был, хотя выгляжу не лучше. Работаю, по-лагерному, немало, прихожу в барак вечером, к 8-ми, ухожу утром в 8. К внешнему своему виду привык, Лужик; к обстановке — тоже. Бодрости не потерял нисколько; да, вот мой мастер — парень

28-ми лет, крестьянский самоучка, очень талантливый и интересный, но страшный младенец душой и к тому же очень смешливый; я, как тебе известно, тоже люблю посмеяться; вот мы и «хохмаемся» друг с другом, даже тогда, когда бываем в очень не смешной обстановке (а это бывает).

Ну, Лик, о себе все, потому что дальше я неизбежно начну говорить о том, что не следует говорить — о чем думается, когда думается вообще...

...Лучше поговорим о том романе, героев которого ты описывала в прошлом письме (от 16/III). Ты хочешь знать мое мнение? Я отделяю поведение героев в романе от того, как автор пишет о них; пусть такое разделение и условно и им нельзя аргументировать. Но я могу так рассуждать и могу так аргументировать, ибо считаю (пусть это звучит и странно), что герои этого романа не отвечают за манеру автора писать о них: автор вкладывает свои мысли в уста героев, а это в беллетристике — признак низкого уровня мастерства. Ну, вот.

То, что ты написала мне о Гусенке в последнем письме — о его новой игре с тобой «в папу», — меня, признаюсь, надолго выбило из колеи. Я так ясно представил себе вас обоих, моего крошку и тебя, так защемило сердце, так стало все дико и противно, все впереди стало таким ненужным и неизмеримо тяжелым...

4

Владивосток, 2.06.1940 г. Бэллонька, родная!

Я все еще здесь, жив и здоров. В ближайшие дни, вероятно, буду отсюда увезен и, как только смогу, сообщу тебе свой адрес. На всякий случай, по получении этого письма, телеграфируй по адресу: Магадан, почтовый ящик № 3 СВ ИТЛ НКВД, для меня, и письмецо черкни туда же.

5

Колыма, 28.11.1940 г. Бэллонька, родная!

Да, когда стоишь на заснеженной сопке, смотришь в бескрайнюю, жестокую даль таких же снеговых сопок, думаешь о себе и о тебе — тогда, Лик, жизнь кажется опустошенной и ненужной, признаюсь тебе без гримас и

наигранной бодрости. Но за нее цепляешься, за нее борешься в надежде — авось?..

6

Колыма, 11.04.1941 г. Дорогая Бэллонька!

Мне кажется, что я уже целую вечность не писал тебе. Зима кончается, сегодня по-настоящему пригрело солнце — и я решил, что нет сил больше молчать, что надо написать тебе, пусть даже это письмо и не скоро дойдет, если дойдет вообще. Навигация открывается здесь с середины мая, — еще месяц... Луженька, так много хочется написать, такое большое ощущение одиночества, и так сильно вместе с тем ощущение невозможности передать тебе суть чувств и дум. Почему? По многим причинам. Часть из них «прозаического», так сказать, характера. А главная причина — это глубокая пропасть, незаполнимая разница в том, что называется жизнью моей и твоей. Внешнюю сторону твоей жизни я знаю. Внутреннюю — могу себе представить, мне кажется, достаточно ясно. Внешнюю сторону моей жизни — ты не знаешь, и я тебе не могу ее представить. А уж внутреннюю... Куда уж! Но, Бэллонька, пусть это будет так, здесь ничего не поделаешь. Что могу — буду тебе писать, а ты не скупись в письмах, пойми, что значит для меня каждое твое письмо!

Зиму, начиная с 4-го октября, провожу здесь, на этом прииске, на его центральном участке. До этого я побывал на других двух участках и к концу сентября был в состоянии более или менее жалком. Но вот уже 6 месяцев я не на общих работах (недавно только на 1 месяц попал на дровозаготовки, но опять восстановлен в прежнем положении). Я дневаю в музкоманде; руковожу джазом и играю в пьесах (и даже — женские роли!). Морозы прошли (и 40, и 50, и 60 градусов), но я их провел в тепле, а это здесь на 75% определяет твою судьбу зимой. Я имею возможность не нуждаться в хлебе — это остальные 25%.

Вчера, Луженька, была у нас кинопередвижка. Я пошел. Фильм — «Моя любовь». И вдруг на экране — малыш, лет 3-х, толстячок — боже, как стало тепло на сердце и как заболело оно: «А мой где? Какой он?..» И мне уж не смотрелось на этих молодых людей, я слушал, как он говорит «мам-ма», и те, кто рядом со мной, — тоже о нем, о ребенке, заговорили после картины.

...20/IV... Дорогие вы мои, представьте же себе на минутку, что не принимают не только писем, но и телеграмм...

Как трудно, как невозможно трудно хоть на миг представить себе, что я еще смогу когда-нибудь слушать вместе с тобой эту музыку и это радио, что я увижу еще тебя и ребенка! А надежду на это надо как-то поддерживать, пусть искусственно, иначе все сегодняшнее окончательно теряет смысл, а завтрашнее становится ненужным и тяжким грузом.

Может быть, потому с таким острым ощущением тоски и надежды слушается этот «чувствительный» романс:

Проходят годы безвозвратно,
но продолжаю я грустить;
я жду тебя, мой друг, обратно
в надежде снова полюбить.
Веселья час настанет снова,
вернешься ты, и вот тогда
давай дадим друг другу слово
не расставаться никогда...

Так. Надо кончать письмо, я вижу, что можно писать и писать...

7

28 мая 1941 года (последнее). Бэллонька, моя родная!

Вчера получил твою телеграмму с ответом относительно того, следует ли мне писать отсюда самостоятельно жалобу. Твой ответ я понял, как отрицательный... Я продумал многое и вижу, что защитник придерживается слишком осторожной линии. Он выжидал год до подачи своей жалобы; этот год оказался решающим — положение с аналогичными моему делам резко ухудшилось... Я не утврждаю, что он и на этот раз просчитается, но я имею ряд оснований предполагать это...

Я уже не дневалю, а работаю. Ношу с сопки дрова. Пусть мне тяжело, но если все лето удержусь на этой работе и не попаду в забой — значит, мое счастье. Я здоров, Бэллонька. Я не отчаиваюсь, хотя на душе очень тяжело. По-прежнему я мечтаю лишь о том, чтобы хоть как-нибудь попасть на материк. Но путь один — это пересмотр дел. Только...

Тут есть дети, я их вижу, и это лишний раз напоминает мне, как мерзко и страшно изуродована наша с тобой жизнь. Крепко, крепко обнимаю тебя и целую вас обоих. Твой Воля.

Анатолий Васильев

ПЬЕСА, СЫГРАННАЯ САМОЙ ЖИЗНЬЮ

(Хроника времен Леонида Ильича)

У него были белоснежные зубы и такие же белоснежные манжеты — на пол-аршина из рукавов. Он любил хорошую беседу, наливки и настойки, которые сам делал и называл «Васильевкой», друзей, врагов, женщин, науку, искусство. Ну, что там еще? Да все на свете любил. Он беспрестанно, простодушно и насмешливо улыбался жизни. И она улыбалась ему в ответ.

Потом ей надоело. Она вспомнила, где родился, жил и дышал этот, не влезавший ни в какое прокрустово ложе Анатолий Васильев. Разом вспомнили об этом и Толино начальство, и большинство его приятелей. Впрочем, было немало и настоящих друзей, которые остались до конца.

В обнинский Дом ученых пригласили Каверина (Васильев первый пробил дорожку в «Новый мир», дружил с Лакшиным). Каверин как-то не так сказал о Солженицыне (вон у меня на стенке фото — Толя с Солженицыным). Надо было кого-то покарать.

Вот тут-то начальство и выбрало Толю.

Васильев не мог ни понять, ни смириться с тем, что они всерьез. Что вся эта комедия, в которой участвовали знакомые люди, мгновенно превратится в трагедию. Он не мог ни понять, ни смириться с тем, что вчерашние товарищи, которым, по существу, ничего не грозило (ну разве что временная отмена заграничных командировок — не 37-й), так легко, бездумно и даже беззлобно предали его. Он все думал, что это какая-то игра, что не посмеют, не решатся. А его бросили в водопроводчики. И самое страшное было понять, что и сегодня, в 68-м, все они способны на такое. Значит, и на другое способны, на кровавое.

Васильев умер. (После многих мытарств, смерти жены, тяжелой болезни покончил с собой.) Но сам оставил свое жизнеописание.

Протоколы всяких собраний и допросов приведены: одни по документам, другие — по памяти (естественно, там писать не разрешали). Поэтому все это вовсе не писалось как пьеса, он не учитывал, да и не знал никаких законов драматургии. Но это — пьеса, сыгранная самой жизнью.

Надежда Григорьева

З аписка из зала писателю А. И. Шарову*

Некоторое время назад тов. из ЦК КПСС Решетов сказал, что нам не надо вскрывать последствий культа личности, заострять внимание молодежи на неприятных страницах прошлого. По его мнению, важно не совершить ошибок в дальнейшем.

Как, по вашему мнению, стоит ли молодежи осветить эти «несолнечные» стороны или пусть эти стороны молодежь узнает в зрелом возрасте?

(Записка без подписи)

20 янв. 1968 г.

Копия: В горком КПСС г. Обнинска
В Совет «Дня ученых» г. Обнинска

9 января 1968 г. на «Дне ученых» мы стали свидетелями некрасивой сцены, которая произошла между секретарем горкома партии тов. Лесничим** и приглашенным из Москвы на вечер известным писателем Шаровым А. И.

* Тексты из архива А. Васильева даны без редакторской правки, сокращены только некоторые повторы.

** Секретарь горкома КПСС по идеологии.

Тов. Лесничий В. Е. в резкой, оскорбительной форме отчитывал писателя за то, что тот, по его мнению, неправильно ответил на присланную из зала записку.

Не вдаваясь в существо вопроса, о котором шла речь (по нашему мнению, этот вопрос является дискуссионным), мы считаем, что подобная форма ведения «дискуссии» вообще не допустима в отношениях между людьми, а тем более со стороны такого ответственного товарища, как Лесничий В. Е.

Этим фактом члены «Дня ученых» поставлены в тяжелое положение, так как вряд ли кто-нибудь еще согласится приехать к нам в гости для того, чтобы выслушивать в свой адрес грубые нотации.

Мы отнюдь не против откровенного высказывания гостям своего мнения, но грубость и бестактность при этом недопустимы.

Мы считаем, что Совет «Дня ученых», пригласивший писателя Шарова, должен принести ему извинения за этот прискорбный случай, а тов. Лесничий — сделать соответствующие выводы.

Зав. лабораторией ФХИ
канд. физ. мат. наук
Инженер, сотрудник ФХИ
Зам. зав. лабораторией ФХИ
канд. химических наук
Старш. научный сотрудник ФЭИ
Зав. кафедрой
иностранных языков МИФИ
Доктор, профессор зав. лаб. ФЭИ

*А. Г. Васильев
И. П. Васильева*

*С. Э. Вайсберг
Ю. В. Конобеев*

*С. Л. Романова
С. Г. Цыпин*

Бланк Обнинского городского Дома ученых

Копия

Уважаемый Александр Израилевич!

Совет Дома ученых г. Обнинска на очередном заседании 23 января 1968 г. рассмотрел письмо ряда членов Дома ученых от 20 января.



Проведение. Осень 1967

Почетная ГРАМОТА

НАГРАЖДАЕТСЯ
БАСИЛЬЕВ Анатолия Георгиевич за высокие показатели
в социалистическом соревновании и активное участие в
качественной работе

ДИРЕКТОР ЗАВЕРКА НИКОЛА
или Л.А.КАРПОВА:

СЕКРЕТАРЬ И.А.А.

Карпов

И.С.КАРАФОВ

Александр
Е.А.А.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕСТОМОВА:

С.А.БЕЛЫХ *Белых*

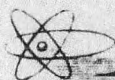


г.Обнинск, 1967г.

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ



Вениамин Каверин и Анатолий Васильев



Вперёд

ОРГАН ОБНИНСКОГО ГОРНОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

12-й год издания
№ 6 (1331)

СЕГОДНЯ — ВУОРНИК, 14 ЯНВАРЯ 1969 г.

Цена 2 коп.

ВОСПИТЫВАТЬ УБЕЖДЕННОСТЬ, КОММУНИСТИЧЕСКУЮ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Бюро городского комитета партии исключило из рядов КПСС бывшего сотрудника теоретического отдела ФХИ **В. Павленчука** за распространение антисоветской литературы. Этот человек ничем не прославил труд обнинских ученых, но у него нашлись защитники и среди них — коммунисты, научные сотрудники института гг. **Станислав Александрович Тощинский Работнов**. И в этом повинны руководители института и ряда научных подразделений, недооценившие значения идеологической борьбы.

За нарушение Устава КПСС, за идейную неактивность, потерю политической бдительности, неискренность перед партией исключены из партии бывший редактор городской газеты «Вперед» **М. Лохвицкий** и бывший преподаватель кафедры марксизма-ленинизма филиала МИФИ **Р. Левента**.

Сотрудник ФХИ, кандидат физико-математических наук **И. С. Работнов** имел возможность в своем коллективе противостоять распространению антипартийной литературы. Но он этого не сделал и встал на защиту отрицательных явлений, лиц, исключенных из рядов КПСС, объясняя это естественным стремлением физика-теоретика к анализу «через собственную свободу мыслей».

Окончание на 4 стр.

Одобрение
Начало на 1 стр.

Подобное игнорирование классового, партийного подхода к общественным явлениям привело коммуниста **В. Е. Казача** — сотрудника Института медицинской радиологии — к ложному обвинению руководителей филиала ФХИ в произвольных действиях по отношению к бывшему заведующему лабораторией филиала ФХИ **А. Васильеву**, к ложным измышлениям в адрес партийных коллективов филиала ФХИ и ИМР.

Дирекция филиала Физико-химического института имени Карпова осудила **А. Васильева** от обязанности заведующего лабораторией. Суммой своих поступков **А. Васильев** доказал, что он не отвечает политическим качествам руководителя — игнорировал общенинститутские политические мероприятия, с похвалой отзывался о людях, протаскивающих чуждые советской действительности взгляды.

ИЗВЕСТИЯ
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

РЕДАКЦИЯ

Москва, Пушкинская пл., 5

196 г.

Уважаемый тов. ВАСИЛЬЕВИ

Ваше письмо (наш № 42-26599I) редакция направила в Капужский обком КПСС,

откуда Вы и получите ответ.

Литсотрудник отдела
писем

Р. Озерская

/Р. Озерская/

Никаких откликов на это письмо А.Г. Васильев не получил.



Анатолий Васильев (второй слева) с бригадой сантехников

Совет единогласно одобрил предложение авторов письма и приносит Вам глубокие извинения за ту неприятность, которая имела место после Вашего выступления в Доме ученых.

По поручению Совета ДУ

В. Нозик

24 января 1968 г.

Обсуждение работы Совета Дома ученых.

**В кабинете Лесниченко В. Е.
20 февраля 1968 г.**

Лесничий. Восьмого февраля Бюро городского комитета партии заслушивало отчет о работе ДУ. Были отмечены положительные стороны и недостатки. Положительные стороны в том, что люди получают эстетическую радость. Вечера ученых имеют познавательное значение, люди получают информацию, которую больше нигде получить не могут. Проводится большая работа на энергии, энтузиазме.

Отмечены и недостатки. Бюро горкома, обком партии обеспокоены тем, что в город приезжали люди, которые неправильно вели себя со сцены.

Не нужно бояться критических замечаний. Вот, например, Быков*. Он преследовал позитивную цель. Нужно, чтобы не было проблем, порождающих пессимизм, неправильные эмоции в душах людей. Мы — не изолированная система. Существует капиталистическая пропаганда. Не можем быть вне политики и идеологии. Проводя выступления, должны знать: какова цель? Были Снегов, Тендряков, Шаров. Никого не напугали — нелегко посеять зерно резкого и недоброжелательного отношения. Но нельзя допустить явления — приглашать товарищей, негативно высказывающихся об определенных сторонах нашей жизни. Одно дело — ты беседуешь с кем-то один на один. Другое — сцена при отсутствии оппонента. Это не боязнь. Но мы слушаем и не можем высказать нашу точку зрения.

* Имеется в виду выступление артиста Ролана Быкова 17 февраля 1968 г.

На бюро горкома было высказано беспокойство относительно последних приездов товарищей. Быков хорошо отвечал на вопросы о задержке «Комиссара» и «Андрея Рублева». Нелегко затрагивать привычные взгляды. Иногда нельзя сразу, а только со временем. Ни одно государство (Америка, Франция, Германия) не выпускает советской пропаганды. Если бы большевизм был на всем земном шаре, может быть, мы говорили бы по-другому. Высказывания в резкой форме — «должно быть опубликовано!», «должно быть поставлено!» — недопустимы. В решении бюро горкома сказано: не приглашать людей, сенсационные выступления которых произвели фурор. Они члены Союза советских писателей. Время покажет, кто прав. Приглашать только через официальные каналы. Ко мне приезжала женщина, инструктор Бюро пропаганды художественной литературы [литконсультант Нефедова О. А.]. Приглашать можно только через них.

Бюро осудило практику, когда заключение по выступлению дает один человек — ведущий. Отзыв в путевке должен обсуждаться.

Слаба связь с партийными организациями на местах. Нужно усилить идеологическую направленность ДУ. Дом ученых — наша пропаганда. Он должен стать одним из центров идеологической пропаганды.

Как быть с вопросами? Мы не хотим их фильтровать или прятать. Вопросы должны быть в плане направления выступления. Остальные вопросы должны обрабатываться на Совете. Подбираться и приглашаться специалисты, которые могут вопросы разъяснить. Например, КГБ по делу Гинзбурга^{**}. Нужно объявлять: поступили вопросы не по теме выступления, постараемся пригласить специалиста, он ответит.

Решено дополнить состав Совета пятью-шестью членами КПСС. Это — ответственное партийное поручение. Другого, пожалуй, не надо бы и давать. Нужно ввести товарищей от ИПГ, ФХИ, ЦГО, ФЭИ.

Нужно разработать положение о ДУ. Предложено до 15 марта разработать положение и представить его в отдел пропаганды и агитации.

Мы не хотим загнать все в угол, чтобы выступал только Осипов^{***}. Будем еще приглашать. Но приглашать тех людей, в которых мы уверены. Одно дело — приглашать домой и

* Отзывы в путевках всегда обсуждались.

** Группа из КГБ приезжала 13 февраля 1968 г.

*** В. Д. Осипов — бывший корреспондент «Известий» в Англии.

один на один задавать вопросы. Другое дело, когда мы — общественная организация — предоставляем слово. Вот Быков! Как красиво рассказал о том, как слушал его партком — его товарищи*. Очень хорошо по форме и содержанию, очень смело и открыто. Такое выступление не оставит ненужного осадка. Потому что человек социальные вопросы прекрасно понимает.

Бюро решило руководство и контроль за ДУ возложить на меня. Я с удовольствием это принимаю.

Мы — интеллигенты, если можно в какой-то степени себя к ним отнести. Нельзя избежать вопросов, брать за горло. Может быть, после выступления для ответов на некоторые вопросы предоставлять специальную комнату.

Нужно накал снимать. Идут передачи «Голоса Америки», в том числе и правдивая информация, не публикуемая у нас, которая у нас распространяется и создает накал. Снимать накал, как статическое электричество с крыльев самолета! Объяснять научным работникам нашего города. Приглашать людей интересных и хороших. Снегов пошел вразнос, в экстаз. Он-де пишет книгу-правду, но ее не опубликуют. В семнадцать лет он якобы видел то, чего другие не видели. Но ты же коммунист. Пройдет время — оно напишет книгу.

Кример. Почему отчет ДУ слушался прямо на бюро горкома? Отчет Абрамова** в Совете не обсуждался.

Лесничий. Бюро может послушать коммуниста, председателя Совета. Теперь, кстати, он утвержден.

Кример. Мы не знаем, о чем говорилось в отчете Абрамова.

Лесничий. Абрамов сообщил, что Совет разбит по секциям. Сказал о перспективном плане. Персонально вопрос не стоял, работа за два с половиной года не рассматривалась. Совет Советом, а бюро городского комитета спрашивает!

Абрамов. Отчет был коротким. Мы с полгода тому назад отчитывались на собрании членов ДУ. Это было повторение, но более короткое. С добавлением некоторых моментов по новому году. Кстати, был не один я, а семь человек членов Совета — коммунистов.

* Быков сказал: этот сюжет (сценарий фильма «Соблазнитель») возник, когда меня обсуждали на партбюро. И обсуждали не посторонние люди, но мои товарищи, которых я уважаю. Но я ни в чем не был виноват. Говорили они горячо, убедительно, очень правильно. Переходили на мировые проблемы. Но к делу это не имело никакого отношения.

** Председатель Совета ДУ.

Лесничий. Еще раз о приглашениях. Они должны быть не по личной договоренности. Когда есть путевка, это уже не один человек, а организация.

По просьбе членов Совета Лесничий зачитывает текст решения бюро ГК КПСС. В решении, в частности, отмечается, что секция литературы приглашала писателей, используя личные связи, а не через Союз писателей*. Писатели допускали политически неверные высказывания. К 15 марта 1968 г. предложено пересмотреть перспективный план приглашений и согласовать его с отделом пропаганды и агитации. Довести до сведения Союза писателей СССР о политически неверных высказываниях некоторых писателей.

Лесничий. Мы никого не хотим загонять в угол. Но нужен более строгий отбор. Вот если бы предварительно поговорили в Союзе писателей, то Каверин здесь бы не был. [С кем поговорили? По поводу приглашения Каверина Совет обратился в надлежащий орган СП — Бюро пропаганды художественной литературы.] Знаем ли мы, как пишутся эти путевки.

Романова. Нужно организовывать дискуссии, чтобы высказывались две-три точки зрения. Выступление Каверина, ответы на вопросы для меня, например, были неожиданностью.

Лесничий. О Каверине. Когда пришел Александр Иванович [Абрамов], мы не возражали, так как знали Каверина по его книгам с детства. Это ж наш любимый писатель. На вопросы можно по-разному отвечать. Не исключена возможность, что кто-то сорвется. Нужно, чтобы человек чувствовал ответственность. Помните, приезжал «Военно-исторический журнал»? Два полковника и другие. Их занесло. После Обнинска год или два не выступали. Были неприятности.

Ярошевич. Что плохого было в выступлении «Военно-исторического журнала»?

Лесничий. Нас все интересует. Интересует в деталях, что происходит в Чехословакии. Но нужна щепетильность. Вот в «Правде» взвешивают не только, что написать, но и сколько, какой объем. Сколько о Японии. Сколько о

* Все писатели, выступавшие в сезоне 1967/1968 г., имели путевки Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей СССР.

Румынии. Например, они нефть продавали болгарам по цене такой, что кружка нефти стоила дороже кружки пива. Кроме того, говорили, что они-де сами себя освободили. Их рабочий класс. Мы же все понимаем. Но что скажешь? Опять будут говорить, что давим. Все имеет значение. Нельзя разжигать страсти. Вот, например, Китай. Все внутри кипит. Но нужно сдерживаться. Определенные моменты не позволяют освещать международная обстановка. Возьмем съезд писателей. Это большой праздник, гости. Есть высказывания, например, Анны Зегерс в интервью, что хотелось бы большей остроты. Но сейчас настолько тяжелая международная обстановка, она прямо накалена. Какое внимание стало уделяться гражданской обороне! Вводится военная подготовка в школе. Однако появился фильм «Твой современник», где много острых высказываний, например, Ниточкина, что у нас слишком много членов партии, и другое.

Иванов. Фильм «Наш современник» был отдан на сжигание. Я это точно знаю. Но такие фильмы необходимы.

Кример. Многие гости отстоят далеко от глобальных проблем. Они высказывают свою точку зрения. Информация должна быть правдивой. Это главный критерий.

Лесничий. Правда бывает разная. Одно видит солдат из окопа, другое — полководец. И все это правда. Мы против того, чтобы один человек безапелляционно высказывался. Это можно делать дома, с женой, с приятелем. Я знаю, и Солженицын так приезжал.

Кример. Главное — не безапелляционная форма. Главное — содержание.

Лесничий — Кримеру. Не надо! Я прекрасно вижу, чего ты от меня хочешь. И ты меня тоже понимаешь. Не надо! [Больше Кример реплик не подавал.]

Иванов. Я хочу сказать о чести ДУ. В калужской областной газете «Знамя» приведена оценка ДУ Назаровым. Считаю, что так нельзя оценивать*.

Ключ. Кто к нам после таких заметок приедет? Это, значит, и Жукова [Маршал Советского Союза] считают заезжим гастролером?

* «Серьезные просчеты, — сказал директор филиала Физико-химического института П. С. Назаров, — были допущены в работе клуба ученых, где перед аудиторией выступали с развязной, безответственной болтовней сомнительного свойства заезжие гастролеры». Из статьи Б. Обновленского «Главное — рост партийного влияния». «Знамя», № 21 (15118), 26 января 1968 г. В статье идет речь об Обнинской городской партийной конференции.

Лесничий. Я передам ваши возражения, будучи в Калуге. Каверин действительно выступил, как гастролер. Не ожидал, что он так пренебрежительно выступит.

Иванов. Назаров тенденциозно выступил и на бюро. Вы согласны с этим выступлением?

Лесничий. О бюро мы здесь говорить не будем!

Ключ. Все-таки к какой пришли технике с записками?

Абрамов. В этом вопросе решение Совета совпадает с решением горкома. Не относящиеся к теме вопросы задавать в кулуарах. Кроме того, приглашать специалистов для ответов на вопросы.

Лесничий. Вот, например, вопрос о Солженицыне. Пригласить товарища, который разъяснит.

Иванов. Нужно пригласить Солженицына.

Ключ. Его приглашали в ЛИПАН*.

Лесничий. Солженицына здесь не будет!! Не для того создавали клуб, чтобы заниматься такими делами. Я знаю, что делалось при приглашении Солженицына полтора года тому назад и что при этом говорилось. Это не наше с вами частное предпринимательство! Ходили по институтам, устраивали инсценировки, что «Лесничий запрещает». Я знаю, кто ходил.

О работе ДУ будет статья в газете «Вперед». Ничего страшного в этом нет. Я говорил с Лохвицким. Пригласим Чаковского, того, что вел диспут с англичанами и получил первый приз.

Вайсберг. Вот ему можно задавать любые вопросы.

Лесничий. Он не скажет «неправильно думаете», а объяснит.

Ярошевич. Была дискуссия двух министров с Чаковским на телевидении. Речь шла о нефти и пожарах. Чаковского министры забили.

(После обсуждения ряда хозяйственных вопросов заседание закрывается.)

* Лаборатория измерительных приборов Академии наук. Так в прошлом назывался институт атомной энергии им. Курчатова.

30 сентября 1968 г. в 9 час. 30 мин.

в кабинет директора филиала
физико-химического института им. Карпова
были приглашены:

1. Секретарь парткома филиала Дмитриев В. П.
2. Зам. директора филиала Соколов В. М.
3. Руководитель отдела Брегер А. Х.
4. Зав. лабораторией Васильев А. Г.

Директор филиала Назаров П. С. Я пригласил вас по неприятному делу. Дело в том, что заведующий лабораторией Васильев Анатолий Георгиевич не оправдал оказанного ему доверия. Я имел с ним беседу относительно Шарова, относительно Солженицына. Мы остались при своем мнении, но это Бог с ним. Но Анатолий Георгиевич явился инициатором приглашения в Обнинск Каверина. И здесь следует разделять личное отношение и нормы общественного поведения. Вот в этом у нас к Анатолию Георгиевичу серьезные претензии. Первое. Смерть Павлинчука. Кто такой Павлинчук — наверное, все знаете^{**}. Зачем была организована демонстрация, зачем собирали подписи? [Собирали деньги.] Второе. Собрание — линия поведения по поводу отношения к чехословацким событиям: отказался выступать, лично не пошел на собрание, никто из лаборатории не соизволил быть. Третье. Редакционная статья «Литературной газеты», кажется от 26 июня, — заявление Солженицына. Анатолий Георгиевич счел нужным заступиться — направил письмо, что на Солженицына организовано гонение, что он выдающийся писатель. Это не установленный факт, что он «Пир победителей» и «Раковый корпус» отправил через Теуша за границу. Сказанное выше не позволяет оставить тов. Васильева в качестве руководителя лаборатории. Требования к руководителям лабораторий, цехов, отделов изложены еще в решениях XXII съезда партии. Это является законом. Приятного мало. Это наша вина — недостаточная идео-

^{**} *Валерий Павлинчук* — один из первых правозащитников из Обнинска. Умер, затравленный начальством, в тридцатилетнем возрасте. Травили за распространение самиздата, за письмо во время чехословацких событий Дубчеку. Лишили допуска (он был младшим научным сотрудником и аспирантом теоротдела обнинского ФЭИ). Лишили работы и заработка, объявили тунеядцем.

логическая работа среди коллектива. Мы предлагаем Анатолию Георгиевичу остаться в качестве руководителя группы. Если его это не устраивает, он волен поступать, как знает.

Соколов. Я хочу сказать, что я не могу занимать нейтральную позицию и смотреть сквозь пальцы. Поэтому я и просил, чтобы меня пригласили. Я не могу ему доверить закрытую работу при таких идеологических вывертах. Есть общая тематика, пусть он на общей тематике и сидит.

Назаров. Может быть, Анатолий Георгиевич хочет что-то сказать?

Васильев. А как, собственно, вы хотите сформулировать причину моего снятия? Шаров, Каверин, письмо в «ЛГ» — какое это имеет отношение к филиалу, к дозиметрии мощных потоков излучений?

Назаров. К дозиметрии мощных потоков излучений не имеет, а к филиалу имеет. Важно политическое лицо руководителя.

Васильев. А как вы думаете поступить с конкурсом? Я избран по конкурсу. Может быть, поставить этот вопрос на Ученом совете, которому я тоже подотчетен?

Вопрос. А когда вы были избраны?

Васильев. В 65-м году. Срок моего переутверждения наступит в 70-м году.

Назаров. Ну уж это наше дело, где этот вопрос ставить. Конкурс не только проводится, но утверждается. Вас утвердил городской комитет партии, я туда обращусь, чтобы он свое утверждение пересмотрел.

Васильев. Собственно, что же от меня зависит? Вы поступайте, как знаете. Я же оставляю за собой право выразить свое несогласие.

Назаров. Ваше дело.

Васильев. Мотивировки какие-то странные. При чем здесь Шаров? Речь шла о том, что один из наших городских руководителей проявил грубость, письмо не касалось существа. Уж, во всяком случае, к отделу, к лаборатории это не имеет никакого отношения. Об этом никто и не знал. Инициатор приглашения Каверина — легенда. Я был курьером. Кто-то, скажем, Иванов, предлагает кандидатуру приглашаемого, Совет утверждает, потом горком утверждает. Каверин и утвержден, кажется, не за мою память. За Кавериним два раза ездил Абрамов, но он болел. Едет тот, кто свободен. Я не поклонник Каверина, я не был инициатором его приглашения. Я это говорю безотносительно к содержанию его выступления.

Назаров. Легенды зря не бывают. Случайному человеку не доверят быть ведущим и потом делать заключение. Ведь вы сказали «теперь нам есть над чем подумать»?

Васильев. Вот это я действительно сказал. Вообще если уж обсуждать, то факты — работы производственной и общественной.

Назаров. По производственной работе мы к вам претензий не предъявляем. А если говорить об общественной, то ваш Совет подбирал тех, кто хотел опорочить достижения советской власти. Якир — раз...

Васильев. Якира приглашало общество «Знание». Отогните палец.

Назаров. Снегов — два...

Васильев. Снегов был не за мою память в Совете. Я, как и вы, был зрителем.

Назаров. Ну, раз зрителем, тогда так.

Васильев. Я, как член Совета, конечно, несу ответственность за недостатки в работе Дома ученых. Односторонняя направленность в работе действительно была. Однако при обсуждении работы Совета в горкоме партии лично ко мне не высказывалось претензий.

Назаров. А когда было это обсуждение?

Васильев. Весной. Повторяю, хотя лично ко мне претензий не было, я сам наказал себя — подал в отставку в Совете. Странно, что тут говорили о моем письме в «ЛГ». Это не коллективное письмо, оно не опубликовано за границей. Я ожидал, что «ЛГ» даст обзор писем, даст новые аргументы. Может быть, они меня убедят? В принципе, можно было бы ответить и мне. А сейчас, в рабочее время, в служебном кабинете мы обсуждаем этот вопрос. И с этим связывается снятие с должности. Откуда вообще вы знаете о моем письме?

Назаров. Вот, как видите, знаем! Скажите, как, по-вашему, зачем писалась редакционная статья?

Васильев. Не знаю.

Назаров. Так-таки и не знаете? Не может быть.

Васильев. Я не могу сформулировать в двух словах — зачем писалась. Я высказал свои вопросы и замечания, с чем несогласен.

Назаров. Писалось затем, чтобы показать политическое лицо Солженицына.

Васильев. Солженицын — советский писатель, член Союза писателей. Я являюсь поклонником его таланта.

Назаров. Большинство, девяносто девять процентов, считают его несоветским писателем. Это вопрос политики, и таланта у него никакого нет. И вот какой хитрец — готовит

письмо в 250 копиях и рассылает во все концы. Знает, что попадает за границу, а может быть, и сам отдает. А Васильев его защищает.

Васильев. В моей записке в «ЛГ», раз она уже здесь фигурирует, нет речи о письме. Там идет речь о судьбе «Ракового корпуса» на родине, о том, что «ЛГ» — газету писателей — этот вопрос будто бы не интересует. Идет речь о недопустимости изложения архивной записи «Пира победителей» в многомиллионной прессе. Эту вещь писал не писатель Солженицын, а безымянный зэк, не писал, а запоминал. У нас нет оснований сомневаться в искренности отречения писателя Солженицына от «Пира победителей». Но не в этом дело. Опубликование дневниковых записей при живом авторе без его согласия — это недопустимо, это граничит с уголовным преступлением — нарушением тайны переписки. Так нельзя.

Брегер. Многомиллионным нельзя. А стотысячным можно.

Васильев. Если бы вы послали в «Атомную энергию» статью и ее не опубликовали бы, а опубликовали разнос? У Булгакова есть пример. Роман о Понтии Пилате попал к редакторам и критикам, они его не опубликовали, а опубликовали призыв «Ударить, и крепко ударить по пилатчине!». Если бы я потерял дневник (я дневника не веду), и там была бы какая-нибудь запись, неужели ее можно оглашать, обсуждать?

Соколов. Если бы там были антисоветские записи, то можно и нужно.

Вопрос Васильеву. Вы знаете, у кого изъяли рукописи? У Теуша, который арестован.

Васильев. Теуш не арестован.

Вопрос. Вы это точно знаете? Можете ручаться?

Васильев. На девяносто девять процентов. Я знаю только из статьи, но из статьи никак не видно, чтобы Теуш был арестован.

Назаров. Вы были на клубе «Новости», где докладчик говорил о Солженицыне?

Васильев. Не был.

Назаров. Докладчик говорил о Солженицыне как об антисоветском писателе. Было 450 человек, и ни один человек не возразил.

Васильев. Все-таки как-то странно. Речь идет о снятии меня с должности, а мы говорим о Солженицыне. Это вообще тема для читательской конференции. Я прежде всего технический работник: Своим сотрудникам я, во всяком случае, не хочу навязывать свои литературные вкусы. Этот

вопрос и не обсуждался. Возможно, у нас в лаборатории поклонников Солженицына нет.

Брегер. Не знаю, не знаю.

Назаров. Это вопрос прежде всего политический. Солженицын — антисоветский писатель.

Брегер. Вы организовали сбор денег Павлинчуку без разрешения общественных организаций. Вы знали, что Павлинчук исключен из партии.

Васильев. Павлинчук был членом общественной организации — Совета Дома ученых. От нашего филиала там были Вайсберг, Максимов и я. Я дал импульс на собрание денег. Собирали во всех институтах. Сам я денег не собирал, не знаю, делалось ли это достаточно тактично.

Назаров. Павлинчук никаким членом Совета не был.

Васильев. Не знаю, по моим представлениям — был.

Брегер. Мне очень не понравилось поведение Анатолия Георгиевича, когда был митинг. Это такой вопрос, на котором скрестилось все! Нельзя занимать нейтральную позицию, когда идет война.

Васильев. Мы далеко пойдем, если будем привлекать к ответственности не за действия, а за бездействие. Могла быть тысяча причин, почему кто-то не выступает. Может быть, горло болело. Может быть, была предотпускная суматоха (я в отпуск уходил). Нет такого закона — ни юридического, ни морального, который бы обязывал выступать. Вероятно, человека три — пять выступили, а человекам пятнадцати предлагали. Что же, всех прорабатывать? Это вопрос деликатный.

Брегер. Недействие в такой момент, когда идет война, это тоже действие. Вы ничего тогда не сказали, что горло болит. Вы категорически отказались выступить. Есть разные формы проявления несогласия. Некоторые вот до того дошли, что с чехословацкими флагами вышли на Лобное место.

Васильев. И все-таки ко мне нет претензий по производственной работе и по воспитательной работе в филиале. Мы проводили семинары даже тогда, когда их никто не проводил. Были обзоры газет, пересказ выступлений в клубе «Новости», обсуждение статей в «Вопросах философии». По этой части претензий не было. Может быть, есть претензии к сотрудникам? К Трусовой? К Ткаченко? К другим? Вроде бы нет.

Брегер. Вот и его сотрудники. Когда спросили, какая воспитательная работа проводится, первым делом вспомнили искусство.

Васильев. Обсуждался вопрос о модернизме. Это готовил я. По книге Лифшица и статье в «Вопросах философии». Кстати, Лифшица я сюда привозил.

Бреггер. Или неявка сотрудников на митинг.

Васильев. Вам, Александр Хононович, объясняли, что сотрудников задержали — заставили закрывать лабораторию. Вообще их оставалось всего три человека — отпускная кампания. Неужели вы думаете, что я говорил им — не приходить? Я сам этому удивился.

Бреггер. Я так не думаю. Но это факт плохой воспитательной работы. Они не поняли, какой это момент. И что нужно было быть во что бы то ни стало. Да и вы не пришли.

Соколов. Васильев разделяет. В филиале я хороший, так что, мол, надо? Надо быть хорошим не только в филиале, но и на общественной работе за филиалом, и в отпуске. Нам важно политическое лицо руководителя, а Васильев этого никак не хочет понять. Все ему кажется мелочью. Не понимает серьезности.

Дмитриев. Да, здесь непонимание еще глубже, чем я думал.

Васильев. Ну что же. Ваша точка зрения мне ясна. Я не считаю этот разговор секретом — я таких обязательств не давал. Я могу обсуждать все здесь сказанное.

Дмитриев. Но прошу строго держаться фактов.

Васильев. Разумеется.

Дмитриев. Я понимаю, что он пойдет кое-с-кем советоваться.

Назаров. Мы сами не собираемся делать секрета и сообщим общественности.

Васильев. Я ожидаю ваших распоряжений.

[Разговор велся около полутора часов.

Запись основана на заметках, сделанных во время разговора, и на впечатлениях сразу же после заседания.]

Резолюция

от 30 октября 1968 г.

очередного открытого партсобрания отдела

В числе вопросов повестки дня был доклад зам. руководителя отдела Козлова Ю. Д. «Идеологическая работа коммунистов в современных условиях».

1. Не провели запланированную для всех беседу о пользе соцсоревнования.

2. Сказано, что руководство (?) недостаточно проводило воспитательную работу, особенно с сотрудниками лаборатории, которые отсутствовали на митинге в связи с событиями в Чехословакии.

**Выдержка из доклада Шаньгина Б. В.,
члена парткома филиала научно-исследовательского
физико-химического института им. Карпова**

**«О состоянии идеологической работы в филиале
и мерах по ее улучшению»**

на открытом партсобрании 19.11.68 г.

...на фоне общего улучшения идеологической работы в отделе приходится, однако, с сожалением констатировать, что в этой работе из поля зрения был упущен руководитель лаборатории тов. Васильев. А между тем Васильев, будучи членом Совета Дома ученых, явился инициатором приглашения в Обнинск на вечера ученых писателей Каверина и Шарова, о которых заранее было известно, что в своих выступлениях они допускают высказывания, порочащие нашу действительность. Мало того, Васильев, будучи ведущим на этих вечерах, не счел нужным сделать критические замечания по поводу таких недопустимых высказываний этих писателей, а наоборот, когда такие замечания были сделаны по адресу писателя Шарова со стороны члена горкома, счел нужным взять под защиту писателя Шарова.

Далее, Васильев явился организатором сбора денег с сотрудников филиала на похороны умершего Павлинчука, никакого отношения к нашей организации не имеющего и исключенного из рядов КПСС. За последнее время в Обнинске умерли несколько очень уважаемых всеми людей, однако никаких сборов денег с сотрудников на их похороны не производилось.

Наконец, Васильев не сумел вовремя правильно понять политическое значение вступления советских войск в Чехословацкую Социалистическую Республику и не явился сам, а также не организовал явку сотрудников вверенного ему коллектива на митинг, организованный по этому поводу в филиале 23 августа с. г.

Таким образом, длинная цепочка перечисленных поступков Васильева характеризует его поведение как противоречащее линии нашей партии, и сейчас разбирается вопрос о том, что Васильеву нельзя доверять политическое воспитание вверенного ему коллектива.

21 ноября 1968 г. Васильев был приглашен в отдел кадров и ему было объявлено: 20 ноября административная комиссия под председательством директора филиала решила лишить Васильева допуска к закрытым работам.

В связи с этим Васильев снимается с должности зав. лабораторией и должен сдать дела в трехдневный срок. Васильеву при его согласии может быть предоставлено трудоустройство на должности инженера ЖКО в филиале.

Копия

**Приказ
по филиалу физико-химического института
им. Л. Я. Карпова**

г. Обнинск № 381/ОК

от 22 ноября 1968 г.

В связи с невозможностью использования в пределах филиала института старшего научного сотрудника Васильева А. Г. от должности зав. лабораторией № 14 освободить.

До 29/XI.68 года дела лаборатории передать мл. научному сотруднику Ткаченко В. В.

Назначить тов. Васильева на должность инженера ЖКО с окладом 100 рублей в месяц.

Директор филиала

П. С. Назаров

**Директору филиала научно-исследовательского
физико-химического института им. Карпова
тов. Назарову П.С.
Васильева А. Г.**

Заявление

21 ноября 1968 г. я был приглашен в отдел кадров, где тов. Мусатов объявил мне, что административная комиссия

под Вашим председательством 20 ноября 1968 г. решила лишить меня допуска к закрытым работам.

В ответ на мои вопросы о причинах такого решения тов. Мусатов не сказал ничего определенного, а лишь сослался на беседу со мной в дирекции (30.X.68) и на открытое партсобрание (19.X.68). За разъяснениями тов. Мусатов адресовал меня к Вам как председателю комиссии.

Следствием решения комиссии явился Ваш приказ № 381/ОК от 22 ноября 1968 г. об освобождении меня от должности зав. лабораторией без предоставления мне другой научной работы.

Считаю Ваши решения необоснованными.

За время работы в филиале я не имел никаких взысканий ни по производственной, ни по общественной работе. Моя квалификация как научного работника установлена Высшей аттестационной комиссией присвоением мне ученой степени кандидата наук и ученого звания старшего научного сотрудника. Я являюсь автором 45 печатных работ. Руководимые мной работы отмечались премиями на конкурсах научно-исследовательских работ филиала. Замечания, высказанные в последние дни в мой адрес, в большинстве случаев не имеют никакого отношения ни к моей производственной, ни к воспитательной работе в лаборатории.

Настоятельно прошу дать указание ознакомить меня с решением административной комиссии от 20 ноября 1968 г. или ответить на мое заявление письменно. Я имею право знать точную формулировку причин, по которым я был лишен допуска и отстранен от научной работы в филиале.

23.XI.68.

25 ноября 1968 г. Мусатов П. Т. по поручению директора Назарова мне объявил:

1. Письменного ответа на мое заявление не будет.

2. С решением административной комиссии я ознакомлен не буду, т. к. оно секретное. Если затребуют вышестоящие инстанции, решение им перешлют.

3. Директор поручил еще раз разъяснить причины лишения допуска устно. Хотя все говорилось в дирекции и на партсобрании. Причины следующие:

а) Связь с представителями литературы г. Москвы по линии Дома ученых. Им делали замечания на их неправильные действия в том плане, что они допускали прямо-таки антисоветские выступления, а вы встали на их защиту.

б) Неправильно реагировали в отношении мер в Чехословакии.

в) Неправильно вели себя в отношении сотрудника ФЭИ, умершего Павлинчука. У нас в городе за последнее время умирали уважаемые люди, и им денег на цветы не собирали. Зачем собирали деньги на цветы антисоветчику?

Таким образом, здесь налицо политические ошибки. Ответственность за допуск несет директор. Лиц, отрицательно проявивших себя в служебном, моральном и другом смысле, директор может лишить допуска в нашем институте.

г) Фигурировало также незначительное техническое нарушение, но это пункт второстепенный. Предыдущие, можно сказать, занимают 99%.

Да за одни похороны Павлинчука можно было лишить вас допуска.

Примечание: вопрос о нарушении (якобы) техническом ни на дирекции, ни тем более на партсобрании не подымался.

29 ноября 1968 г. я попросил в отделе кадров отпуск за фактически проработанное время — 28.X.68 + 29.XI.68 (31 рабочий день).

Мне объяснили, что по правилам это не положено, т. к. я уже был в отпуске (за период 28.II.67 + 28.II.68), но отпуск дадут, если разрешит директор. Директор не разрешил.

2 декабря 1968 г. по моей просьбе главный бухгалтер (!) вторично ходил к директору и просил разрешить мне отпуск. Директор не разрешил («Законов нарушать не будем...»).

Отпуск мне обещан с 1.I.69.

2 декабря 1968 г. я приступил к работе в ЖКО. Мне подчинили бригаду дежурных и сменных слесарей-сантехников. Я отправился к ним в подвал. Великая пролетарская культурная революция началась.

А. Васильев

* * *

Мы, члены Совета Дома ученых сезона 1967/1968 г., по просьбе А. Г. Васильева излагаем известную нам ситуацию с проведением вечера встречи с писателем В. Кавериним.

А. Г. Васильев не был инициатором приглашения В. Каверина, т. к. приглашение состоялось до избрания А. Г. Васильева в Совет ДУ. Это приглашение было утверждено горкомом КПСС.

Разными лицами — членами Совета — неоднократно совершались попытки реализовать это приглашение. Был, например, случай, когда выступление В. Каверина было объявлено, но в связи с болезнью В. Каверина вместо него был привезен критик В. Соколов.

Надлежащий орган Союза писателей — Бюро пропаганды художественной литературы — беспрепятственно выписывало В. Каверину путевки как на состоявшиеся, так и на несостоявшиеся его выступления (путевки должны предварительно оплачиваться).

Выступление В. Каверина состоялось 22 января 1968 г. Оформление путевки и обеспечение доставки В. Каверина в Обнинск на этот раз было поручено А. Г. Васильеву. Ведение вечера являлось обычной процедурой, выполненной А. Г. Васильевым в соответствии с решением Совета о том, что вместе с приглашенным на сцене должен находиться член Совета, который вез гостя из Москвы. В его обязанности входит:

1. Представить гостя.
2. Вести техническую работу (принимать записки, следить за регламентом и т. д.).
3. Поблагодарить гостя от имени аудитории за проделанный труд.

Кроме того, член Совета обычно произносит несколько слов — например, желает дальнейших успехов, выражает пожелание о дальнейших встречах.

На вечере 22 января такими словами были: «Вы дали нам пищу для размышления». По существу, эти слова — единственное, что может обсуждаться как личное действие А. Г. Васильева. В остальном он выполнял техническую работу.

*Нозик В. З.
Филиппов В. В.
Ключ В. Е.*

19 декабря 1968 г. А. Г. Васильев был приглашен ко второму секретарю Калужского обкома КПСС А. В. Аксенову. При разговоре присутствовал (не все время) помощник А. В. Аксенова, по-видимому, зав. отделом пропаганды и агитации.

Темой разговора явилось письмо А. Г. Васильева секретарю ЦК КПСС М. С. Соломенцеву. Текст письма передан в обком по телефону, записан стенографисткой. На письме

штамп с входящим номером, резолюция первого секретаря обкома А. Кандренкова, адресованная А. В. Аксенову. Обком должен сообщить свое мнение по письму в ЦК КПСС.

Аксенов (зачитывает письмо). Здесь все правильно?

Васильев. Да, все точно. За исключением, может быть, некоторых падежей.

Аксенов. Нам нужно представить себе, что вы считаете неправильным в том, как с вами поступили. Признаете ли вы, что предъявленные вам обвинения, если бы они соответствовали действительности, являются достаточным основанием для выражения политического недоверия и невозможности доверить вам руководство коллективом, или вы считаете, что эти обвинения не соответствуют действительности?

Васильев. Да, признаю, что если бы формулировки соответствовали фактам — действительно бы знал о каких-то нехороших выступлениях Шарова и Каверина и брал бы под защиту какие-то неверные их политические высказывания, собирал бы деньги на цветы постороннему только потому, что он исключен из КПСС, — а именно так сформулированы обвинения, то тогда основания есть. Для лишения политического руководства коллективом, но, конечно, не для лишения допуска и изгнания с работы. Дело в том, что обвинения не соответствуют действительности. Если разрешите, я представлю вам мои объяснения в письменной форме (*передает А. В. Аксенову копию материалов, направленных министру химической промышленности СССР Л. А. Костандову*).

Аксенов (просматривает приложения №№ 1—5 к письму. Объяснительную записку не читает). Вы были на этом партсобрании [19.XII.68]?

Васильев. Нет, не был.

Аксенов. А вы вообще ходите на открытые партсобрания?

Васильев. Не всегда, но хожу. А на этом партсобрании не был.

Аксенов. Тогда запись выступления товарища Шаньгина откуда?

Васильев. Эту запись сделал мой товарищ по моей просьбе. Я ее показывал другим товарищам, бывшим на собрании. Там все совершенно точно.

Аксенов. А зачем вам эта запись?

Васильев. Дело в том, что мне не показали решения административной комиссии, по которому я был лишен

допуска и снят с должности заведующего лабораторией. Сказали, что перешлют в вышестоящие органы, если будет требование. Но мне объявили, что в основании лежат причины, изложенные на открытом партсобрании, и они на бумаге. На первом месте московские писатели. Я составил объяснительную записку по существу предъявленных мне «обвинений», и мне не на что больше сослаться.

Аксенов. Вряд ли Шаров и Каверин записаны в основание лишения вас допуска. У вас было два (!!!) нарушения режима.

Васильев. Не было нарушений режима. Была одна попытка, но вопрос этот мелкий, дело происходило в другом секторе. Я знаю, этот вариант прорабатывался еще в июле. Прошло 4 месяца, но ни Верещинский — руководитель сектора, ни Мусатов — начальник первого отдела, тем более я никаких взысканий не получили.

Аксенов. Да, вы должны были чувствовать. Не всякому можно доверять работы специального значения. Вот вы пишете, что Шаров никаких неправильных мыслей не высказывал. Вы его приглашали?

Васильев. Да, я был инициатором его приглашения. Разумеется, я не мог знать ни о каких его выступлениях, т. к. Шаров не выступает. За последнее время ездил только в Сибирь с Б. Ахмадулиной и другими. Я считаю работы Шарова по проблемам воспитания самыми интересными после Макаренко. Выступление Шарова было дистиллированным.

Помощник. Что значит «дистиллированным»?

Васильев. Он излагал свои мысли по проблемам воспитания. Воспитывать правдой, переводить с двойками и т. д. Никаких претензий к его выступлению я не слышал.

Аксенов. Нет, и он говорил не то. Слушали его товарищи, нам говорили.

Васильев. Речь, очевидно, шла об его ответе на один из вопросов. Ни выступление, ни ответы на вопросы — за исключением одного, никаких претензий не вызвали. И по этому-то единственному злосчастному вопросу... (*Передает сохранившуюся записку из зала.*)

Претензия Лесниченко была не к существу вопроса, а к форме — «Вы не шаржируйте, когда говорите о работнике Центрального Комитета!» — на что Шаров ответил: «Я ученик Лепешинского, друга Ленина. Меня не учили при оценке высказываний примеряться к чину! Или вы укажите мне уровень...» и т. д. К сожалению, на этом дело не остановилось.

Аксенов. А почему записка без подписи?

Васильев (показывает сохранившийся комплект записок Шарову). Здесь все записки без подписи.

Аксенов. А вот у нас, в партийной среде, записки без подписи вообще недопустимы.

Помощник. А ведь вам говорили, что вы должны были следить за содержанием записок. Вы член Совета. Вы активное лицо. Не то можно было бы просто девочку посадить — записки передавать.

Васильев. Записок было немного, и все по существу выступления.

Аксенов. Вот Каверин. Все-таки вы его привезли?

Васильев. Но я не был инициатором его приглашения. Мне просто «повезло». За ним ездил, например, Абрамов.

Аксенов. Мы занимались этим вопросом. В Бюро пропаганды художественной литературы говорили, что они знали, кто такой Каверин, вам не советовали его брать, но вы уговорили и настояли.

Васильев. Никаких уговоров не требовалось. Путевки выписывались беспрепятственно — и мне, и, например, Абрамову. Я слышал, что руководство Союза писателей, если бы к нему обратились, не рекомендовало бы выступать Каверину. Но мы обращались по принадлежности — в Бюро пропаганды художественной литературы. Неужели мне нужно было идти, скажем, к Федину? Был случай, когда Совет Дома ученых просил путевку на покойного Эренбурга и ее не дали, т. к. Эренбург был у них в соответствующем списке. Я не знаю, почему руководство Союза писателей не сообщает своего мнения в свой рабочий орган.

Аксенов. Не знаю, работают ли сейчас там те люди. Но нам известно, что вам не советовали брать Каверина. Кстати, вы ходили в кафе с женой и Кавериним?

Васильев. Опять слухи! Не ходил я в кафе. Жена варила кофе, который был предложен Каверину после выступления. Все это было в помещении, где выступал Каверин.

Помощник. Вы человек политически грамотный. Неужели вы не знали, что на многих выступлениях Каверина произвело неправильное в политическом смысле впечатление, например, высказывание о съезде писателей — «плохо отрежессированный спектакль»? Скажите, вы согласны с тем, что говорил Каверин?

Васильев. Я не согласен со многим в его выступлении. Он допускал ненужную резкость.

Помощник. Так почему вы никак не высказали своего отношения?

Васильев. Мои заключительные несколько слов говорили о том, что мы не принимаем безоговорочно высказываний

Каверина. Я сказал: «Вы дали нам пищу для размышлений». Потом эти слова переврали и уже у Назарова это звучало как: «Вот спасибо, что вы нас просветили». Это разные вещи. Права же вести дискуссию мне никто не давал, да я бы за это и не взялся. Я технический работник. Таких случаев в практике ДУ и не было.

Помощник. А после, на другом вечере, почему вы не высказали своего отношения?

Васильев. С чего бы это я вышел и сказал: «Вот прошлый раз приезжал Каверин...» Такого у нас не было. В зале был Лесничий (А. В. Аксенов тоже был). Он мог бы прислать записку — с чем он не согласен. Безусловно, она была бы зачитана.

Помощник. Вы избрали аморфную позицию.

Аксенов. А что вообще написал Каверин?

Васильев. Как же — известные с детства «Два капитана», «Исполнение желаний». Последний его роман — «Двойной портрет», на мой взгляд, неудачен.

Аксенов. А что говорил Виноградов?

Васильев. Ничего. Он приехал со своим учителем Лифшицем, марксистом-эстетиком. В основном, хотел его послушать. Виноградов сидел с Лифшицем на сцене. Он ответил на вопрос, касающийся литературы. Говоря о выдающихся произведениях литературы, высоко оценил творчество Солженицына.

Аксенов. А зачем брали путевку на Виноградова?

Васильев. Нас в это время уже строго предупреждали об обязательности путевок.

Аксенов. Нам известно, и кто такой Виноградов. Вы писали письмо в «Литературную газету» по статье «Идейная борьба...»?

Васильев. Писал как подписчик «Литературной газеты». Об этом письме мне говорил Назаров, но не мог сказать, что там плохого. И главное — откуда он об этом письме знает?

Аксенов. Видите, и мы знаем. Солженицыну разные пишут письма. Одни его хвалят, другие, наоборот, критикуют. Для нас сейчас не так важно наличие путевок. Важна тенденциозная направленность в подборе писателей.

Васильев (показывает план работы ДУ, утвержденный горкомом КПСС. Отпечатан на ротатипте). В плане:

Литература и журналистика

1. Солонович и Томашевский.
2. «Неделя».
3. «Новый мир».

4. Каверин.
 5. Аксенов.
 6. Вечер поэтов (Кашежева, Костров и др.).
 7. Ахмадулина.
 8. Андроников.
 9. Евтушенко.
 10. Вознесенский.
 11. АПН.
 12. Сохнин (писатель, о контрразведке).
 13. Соколов.
- [Дописаны чернилами.]
14. Шаров.
 15. Лифшиц.
 16. Виноградов.
 17. Чаковский.

«Мои» кандидатуры — это Шаров, Лифшиц, Виноградов. Они плюс Каверин — вот и все мероприятия, в которых я успел участвовать.

Аксенов. А где у вас здесь серьезные писатели? Вон Чаковский — дописан чернилом, уже после выступления Каверина. Кто вообще к вам еще приезжал?

Васильев. Симонов...

Аксенов (помощнику). Это из «Юности».

Васильев. Дудинцев.

Помощник. А Рождественского кто приглашал?

Васильев. Не мы. Возможно, общество «Знание»?

Аксенов. Вы были руководителем литературной секции. Вы давали на это согласие?

Васильев. Не давал. Я голосовал против.

Аксенов. Все же вы были руководителем литературной секции ДУ. А в Обнинск приезжали тенденциозно подобранные писатели. Кого подбирали? Хотя бы вот этот список. Что хотели от них почерпнуть? Возможно, и не все обосновано точно. Но налицо ряд фактов, характеризующих ваше лицо таким образом, что вы не заслуживаете политического доверия — нет уверенности в политической благонадежности. Вы дружили с Павлинчуком?

Васильев. Дружил.

Аксенов. И деньги на похороны собирали.

Васильев. Лично я денег не собирал. Сбирал другой член Совета ДУ — Максимов. Но пожелание о сборе денег в филиал передал я.

Аксенов. Кто бы там деньги ни собирал, а вы и к этому делу причастны. Вы знали хорошо, кто такой Павлинчук. Он теперь покойник, не будем о нем. Приездом Литвинова, жены Даниэля, Дремлюги похороны Павлинчука превраще-

ны в политическую демонстрацию. Знаете, что эти люди в тюрьме сидят?

Васильев. Знаю.

Аксенов. И вы не явились на митинг, посвященный событиям в Чехословакии, не пришли ваши сотрудники.

Васильев. Я на митинг пришел, но он не начинался вовремя. А я в этот день в отпуск уходил и спешил закончить ряд дел. Мои сотрудники — их оставалось всего четыре человека — не пришли, т. к. их задержал персонал, ответственный за закрытие здания. Этот факт проверен. Вообще же мои сотрудники за все время существования лаборатории во всех смыслах проявили себя как безупречный коллектив.

Аксенов. И вы еще отказались выступить на митинге.

Васильев. Меня приглашали выступить на митинге отдела. Действительно, я отказывался. Однако митинг отдела не состоялся.

Помощник. Потому что на него не пришли вы и другие?

Васильев. Нет. Я не слышал, чтобы этот митинг собирали. По-видимому, его отменили, т. к. мало было людей — отпускная кампания. Состоялся общеинститутский митинг.

Аксенов. Вот у вас получается, что вроде вы один стали козлом отпущения. А почему так? Потому что вы нигде не показали своего отношения, например, к выступлению Каверина. А все-таки Каверина привозили вы. И в других случаях вели себя так, что вырисовывалось определенное политическое лицо. Вот сейчас — ведь вы не можете назвать ни одного вашего выступления в защиту советской власти, против врагов советской власти! Ваша фамилия уже не раз упоминалась в обкоме, хотя лично вас мы не знали. Все это не случайно. По-товарищески не советую вам идти за людьми, в какой-то степени противопоставляющими себя обществу, хлеб которого они едят. Апрельский пленум указал на усиление классово-идеологической борьбы. Апрельский пленум нам указал, что мы упустили из внимания определенные течения. Они обречены, наше положение неколебимо! Но впредь мы ничего подобного не допустим. Сейчас вопросы стоят необычайно остро и применяется весь арсенал средств воздействия. Обнинский ДУ ославил нашу область на всю страну — была статья в «Советской России». А на Западе из таких фактов делают выводы о каких-то оппозиционных течениях среди технической интеллигенции в нашей стране. Естественно, что ваш директор не хочет иметь с вами дела. Нельзя вам доверить специальную работу.

Васильев. В институте все говорят, что здесь дело в горьком. Об этом, например, прямо говорил на политбеседе в своем секторе член горкома Соловьев. Это все идет от Лесничего Виктора Емельяновича.

Аксенов. Обком, во всяком случае, прямого распоряжения Назарову не давал, не мог такого распоряжения дать и горком. Во всяком случае, документа такого вы нигде не увидите. Горком может просто спросить с директора за политическое лицо кадров. Лесничий сейчас становится вашим злым гением.

Васильев. Лесничий был руководителем ДУ, санкционировал приглашение Каверина, но никаких взысканий за это не понес.

Аксенов. За прошлые ошибки ему крепко влетело. Как ему пришлось краснеть в ЦК за свою грубость по отношению к Шарову! А та работа, которую он ведет сейчас по нормализации обстановки, — это к его чести.

Васильев. Однако Виктор Емельянович распускает слухи, что Шаровы, Каверины и прочие — это только «верхушка». Что существовала чуть ли не группа с участием Лохвицкого и Васильева. Очевидно, это была настолько тайная группа, что даже ее участники ничего о ней не знали. Я, например, Лохвицкого даже в лицо не знал.

Аксенов. А почему вы думаете, что слухи распускает Лесничий?

Васильев. Он говорил об этом, например, когда вызывал Ключа в горком. При этом были исполняющий обязанности ИМРа Балуда и товарищ из ИМРа Виденский.

Аксенов. Если это так, то напрасно. Никакой группы, конечно, не было. Это самое страшное, и если бы это было так, то этим бы занялись административные органы.

Васильев. Циркулируют и другие слухи, самые невероятные. Людям не верится, что за те вещи, что объявлены, можно снять с работы.

Аксенов. Да, слухи могут ходить. Поэтому вам лучше уехать.

Васильев. Поскольку я уволен с помощью лишения допуска, то это закрывает для меня девяносто девять процентов возможностей. Я специалист по прикладной ядерной физике. Где я сейчас буду искать работу? Разве что у каких-нибудь медиков.

Аксенов. Да, я скажу, ваше положение трагично. Но вы в номенклатуре МХП (не вхожу, — А. В.), они должны предложить вам работу в соответствии с вашей квалификацией. Сейчас вопрос стоит необычайно остро. В МХП, как только поймут, что дело касается политического

доверия, не станут в этом вопросе разбираться — что там было и как. И никто вам не поможет. По-видимому, и в ЦК не будут копать в деталях, а отправят ваше письмо в МХП с рекомендацией дать вам соответствующую работу. Вы можете обратиться в Министерство высшего образования. Вам дадут положительную производственную характеристику. А на новом месте сказать: «Был виноват, но вас я, товарищи, не подведу!» Сейчас будем серьезно братья. Речь не идет, конечно, о возврате к тридцатым годам. Но подбор кадров идет по деловым и политическим признакам. Если политическое лицо человека вырисовывается определенным образом, ему нельзя доверять руководящую работу.

Васильев. Ладно, пусть руководящую работу. Я и не прошу в своих заявлениях о возврате мне должности заведующего лабораторией. Прошу о восстановлении меня на научной работе. Назаров мне объявил — переводим в руководителя группы. Откуда эта эскалация? Начальник отдела обсуждал со мной ряд вариантов, вплоть до написания справочника (несекретного). Сейчас я подал документы в ИМР [Институт медицинской радиологии. Обнинск]. Там вообще допуск не требуется.

Аксенов. Наиболее целесообразно вам уехать в другой город. Ваша жена кем работает?

Васильев. Инженером.

Аксенов. Работает там же?

Васильев. Да, в филиале.

Аксенов. Вот видите. Вы оба квалифицированные специалисты. Можете работать по специальности в другом месте. Дети у вас есть?

Васильев. Есть.

Аксенов. Вам нужно посоветоваться с семьей — устраивать свою жизнь.

Васильев. Ко всему прочему, на новом месте всегда в первую очередь — квартира.

Аксенов. В случае надобности можно обменять квартиру. Я думаю, в этом вам мешать не будут. Вам нужно работать по специальности. Иметь не какую-нибудь работу, а полностью соответствующую вашим возможностям. Государство в вас средства вкладывало, вас учило. Вы, наверное, эти средства уже отработали, но зачем же государству терять? Вы не должны себя считать ущербным. А на этой работе, что сейчас, это все больше будет проявляться с каждым прожитым днем. Вы дали согласие на работу в ЖКО?

Васильев. Когда мне сказали, чтобы я дал письменное согласие, я отказался. Тогда мне сказали, чтобы я

написал, что я отказываюсь от ЖКО. Я и этого не сделал. Конечно, мне давали возможность не портить трудовой книжки.

Аксенов. А что записано в трудовой книжке?

Васильев. Не знаю.

Аксенов. Как так не знаете? Почему?

Васильев. Трудовая книжка мне пока не была нужна.

Аксенов. Вы оформлены переводом?

Васильев. Да. Я не хотел идти в ЖКО. Я просил отпуск хотя бы за проработанное время — 31 рабочий день. Но мне не дали. Зацепка была — я в этом году был в отпуске за прошлый год. Но обычно на это не смотрят. И премии за III квартал не дали. Я надеялся за время отпуска как-то устроить свои дела. А уходить «по собственному желанию» и становиться безработным я по целому ряду причин не хочу. Видел пример Павлинчука — обвиняли в туеядстве.

Аксенов. Я поговорю с Назаровым. Отпуск вам надо, конечно, дать.

Васильев. Спасибо. До 3 января Назаров в отпуске. Исполняет обязанности директора Карпов.

Аксенов. Да, пожалуй, с вами поступили очень круто. Но сейчас очень серьезная обстановка. Я спрошу Карпова и горком — почему нельзя вам дать работу, не связанную с политическим руководством коллективом и с важными закрытыми работами. Почему нельзя было так решить.

Васильев. Спасибо. Я еще подал документы в ИМР, но это практически также зависит от Лесниченко.

Аксенов. Конечно, Лесничий может сказать Зедгенидзе — зачем ты его берешь? В Обнинске все также зависит от того, будет ли ясно ваше политическое лицо. И я очень не советую вам искать сочувствия. Вы себе лучше не сделаете, а товарищей подведете. Это письмо, где Ключ, подписали ваши сотрудники?

Васильев. Нет. Ключ из ИМР, другие товарищи не работают в филиале. Это не письмо, а справка о ситуации с приглашением Каверина.

Аксенов. А почему к Абрамову не обратились?

Васильев. Абрамову показывали, он сказал, что все верно и что он подпишет или сам то же напишет, но только если ему будет запрос сверху.

Аксенов. Боялся ответственности? Я завтра или в понедельник буду говорить о вас с Обнинском. Проверю, действительно ли вы не имели замечаний по производственной и воспитательной работе в лаборатории. То,

что коллектив вашей лаборатории был и есть хороший, — это тоже серьезный факт. Все учтем и сообщим в ЦК наше мнение.

* * *

Беседа продолжалась более двух с половиной часов. В. А. Аксенов придерживался весьма корректного и даже сочувственного тона. Во время беседы А. Г. Васильевым записи не велись. Конспект беседы записан по памяти сразу же после окончания беседы.

**В конфликтно-расценочную комиссию
филиала института им. Карпова**

**инженера ЖКО филиала
Васильева**

Заявление

В III квартале 1968 г. я работал в должности заведующего лабораторией.

Мой отчет за III квартал утвержден министерством, в связи с этим исполнителям темы и мне, как руководителю, полагается премия.

Руководство отдела совместно с общественными организациями отдела установило мне премию за III квартал в размере 100 рублей.

Однако директор филиала тов. Назаров П. С. вычеркнул меня из списка при подписании приказа. Такое действие является актом произвола, так как ни приказом по филиалу, ни распоряжением по отделу не было предусмотрено лишение меня премии за III квартал ни полностью, ни частично.

Прошу КРК обязать дирекцию выплатить мне премию за III квартал 1968 г.

А. Васильев

23 декабря 1968 г.

После получения заявления Васильева А. Г. о незаконном лишении его премии отделу было предложено пересмотреть свое решение о выделении премии в размере 100 руб.

Вопрос обсуждался на цехкоме. Из 9 членов цехкома присутствовали 6. В первом чтении за лишение премии проголосовали 2 человека и 4 человека воздержались. После настоятельных уговоров председателя цехкома Ларионова М. Д. (премия-де дается не только за производственную работу, но и за общественную работу, а в общественной работе Васильева нашли недостатки) при повторном голосовании за лишение премии проголосовали 4 человека и 2 человека воздержались.

На заседании партбюро отдела, где затрагивался этот вопрос, член партбюро Ларичев А. В. упрекнул руководителя отдела проф. Брегера А. Х. в непоследовательности — он выделял Васильеву премию, а сейчас он же Васильева премии лишает. Проф. Брегер ответил в том духе, что он ошибался, а сейчас его поправили. Что бывало-де, что не только один человек — вся партия ошибалась и потом исправляла свою ошибку.

**Директору института
медицинской радиологии АМН СССР
Васильева Анатолия Георгиевича**

Заявление

Прошу включить меня в число кандидатов на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника по специальности: «Дозиметрия и радиометрия излучений высоких энергий» в соответствии с объявлением в «Медицинской газете» от 11 февраля 1969 г.

10 марта 1969 г.

УС/7 — 642 _____ 14/III-69 г.

г. Обнинск,
ул. Жолио-Кюри, д. 4-а, кв. 53
Васильеву А. Г.

Уважаемый Анатолий Георгиевич!

В связи с тем, что вы не допущены к участию в конкурсе на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника лаборатории дозиметрии и радиометрии излучений высоких энергий Института медицинской радиологии АМН СССР, возвращаем документы.

Приложение: на 15 листах

Ученый секретарь института

Г. Ф. Палыга

14 марта 1969 г.

СССР
филиал Научно-исследовательского
физико-химического института
им. Л. Я. Карпова

Тов. Васильеву А. Г.
Тов. Васильевой И. П.

Ваше заявление (без номера) в части разрешения обмена занимаемой вами жилплощади дирекцией и местным комитетом рассмотрено.

В связи с тем, что первоначальные договорные условия в части работы Васильева А. Г. изменились и учитывая острую нужду в жилье, в результате чего филиал не может пригласить на работу нужных филиалу научных сотрудников без гарантии предоставления жилплощади, как в свое время была предоставлена гарантия на жилплощадь вам, и руководствуясь инструкцией Министерства комму-

нального хозяйства РСФСР от 20.VI.1959 г. № 164 и приказа МКХ РСФСР от 7.XII.1959 г. № 318, дирекция и местный комитет ФХИ не могут удовлетворить вашу просьбу в части обмена жилплощади.

Зам. директора филиала
Председатель месткома

П. С. Назаров
Ю. А. Кузьмин

Главному редактору
«Литературной газеты»
А. В. Чаковскому

Вам пишет Васильев А. Г., присутствовавший на Вашем выступлении в г. Обнинске 13 мая 1969 г.

Я конспектировал выступление, особенно подробно — ответы на записки и хочу Вам напомнить следующий эпизод.

Записка. Некоторых граждан Обнинска уволили с работы и исключили из партии за то, что они писали к вам письма в «Литгазету» о Солженицыне.

Ответ. Я не знаю никаких таких фактов. Мне неизвестно, чтобы кто-то за то, что он написал мне какое-то письмо, мог быть подвергнут каким-то репрессиям...

Хочу Вам сообщить, что в этой записке явное преувеличение. «За это» уволили лишь одного — меня, — да и то по совокупности с другими преступлениями. Из партии же не исключили никого.

Дело обстояло так.

30 октября 1968 г. в 9 час. 30 мин. я, в то время безупречный (как мне казалось) заведующий лабораторией филиала н.-и. физико-химического института им. Карпова (г. Обнинск), был приглашен в кабинет директора филиала П. М. Назарова. Там же присутствовали зам. директора Н. М. Соколов, руководитель моего отдела проф. А. Х. Брегер и секретарь парткома филиала В. П. Дмитриев. Непосредственно во время разговора я делал заметки в блокноте, на их основе составил более подробную запись. Привожу цитаты, относящиеся к затронутому Вами вопросу (о репрессиях за письмо в «ЛГ»).

Назаров. Я пригласил вас по неприятному делу. Дело в том, что заведующий лабораторией Васильев Анатолий Георгиевич не оправдал оказанного ему доверия.

[Вчиняется иск по пунктам:

Общественная работа в качестве члена Совета Дома ученых. В связи с этим упоминаются фамилии писателей А. Шарова и В. Каверина (выступали в ДУ) и бывшего члена Совета ДУ В. А. Павлинчука (Васильев принимал участие в его похоронах).

Неучастие в митинге, посвященном вводу войск Варшавского договора в Чехословакию.]

Редакционная статья «Литературной газеты», кажется, от 26 июня, — заявление Солженицына. Анатолий Георгиевич счел нужным заступиться — направил письмо, что на Солженицына организовано гонение, что он выдающийся писатель.

Это же установленный факт, что он «Пир победителей» и «Раковый корпус» отправил через Теуша за границу. Сказанное выше не позволяет оставить тов. Васильева в качестве руководителя лаборатории. Мы предлагаем Анатолию Георгиевичу остаться в качестве руководителя группы. Если это не устраивает, он волен поступить, как знает...

22 ноября 1968 г. вышел приказ о моем переводе, но не на должность руководителя группы (что было бы связано с уменьшением моего оклада ровно на 1/4), а на должность инженера жилищно-коммунального отдела (ЖКО) с уменьшением моего оклада ровно в 4 раза, с отстранением от научной работы и препоручением мне наблюдения за исправным функционированием отопления, водоснабжения и канализации в жилых домах филиала.

19 декабря 1968 г. я был приглашен ко второму секретарю Калужского обкома КПСС А. В. Аксенову. Темой разговора явилось мое письмо (жалоба) на имя секретаря ЦК КПСС М. С. Соломенцева. Текст письма был сообщен Калужскому обкому КПСС. Во время беседы кратко упоминалось и мое письмо в «ЛГ»...

Перечень моих злодеяний корректировался (после моего снятия с должности заведующего лабораторией). Дело в том, что некоторые обвинения были основаны не на фактах, а на совершенно непроверенных слухах и даже не имели под собой фактического основания. Так, например, мне был вчинен иск в том, что я явился инициатором приглашения в Обнинск В. А. Каверина, выступавшего на вечере Дома ученых. Мои коллеги по Совету ДУ дали письменную справку, подтверждающую мое алиби. (Один из авторов справки, В. К. Ключ, является членом КПСС. Он схлопотал строгача с занесением.) В сухом остатке, «на сите» осталось два пункта (в формулировке обнинской городской газеты «Вперед» от 14.I.69, повторенной в моей характеристике от 14.III.69).

Причина:

1. ...игнорировал общеинститутские политические мероприятия.

2. ...с похвалой отзывался о людях, протаскивающих чуждые советской действительности взгляды.

Следствие:

Дирекция филиала физико-химического института имени Карпова освободила А. Васильева от обязанностей заведующего лабораторией.

Оргвыводы на будущее (в характеристике):

Учитывая указанные выше грубые политические ошибки тов. Васильева А. Г., дирекция и общественные организации филиала ФХИ им. Л. Я. Карпова не рекомендуют допускать тов. Васильева А. Г. к конкурсу на занятие должностей в научных учреждениях.

О ЖКО газета стыдливо умалчивает.

Об игнорировании каких мероприятий — во множественном числе! — идет речь, никто сказать не смог бы. Я обвинялся в неучастии в одном мероприятии (см. выше).

О каких людях я отзывался с похвалой? При снятии меня с должности, как я уже отмечал, назывались (в разных аспектах) имена А. Шарова, В. Каверина, А. Солженицына, В. А. Павлинчука. Очевидно, имеется в виду либо весь этот список, либо часть его.

Но дело в том, что я не имел случая давать оценку личности и деятельности А. Шарова, В. Каверина, В. А. Павлинчука ни в печати, ни в публичных выступлениях, ни в письмах в газеты.

Таким образом, есть все основания полагать, что п. 2 «причин» целиком или, во всяком случае, главным образом подразумевает мое письмо в «ЛГ».

В заключение остановлюсь на вопросе о том, откуда же все-таки стало известно о моем письме.

Наиболее простое предположение — пересылка всех критических писем, пришедших из Обнинска, в обнинский горком КПСС. Такая методика применяется. Мне известен, например, следующий случай. Группа ученых из Тарту направила в «Комсомольскую правду» письмо с критическими замечаниями по поводу статьи о сионизме (оспаривались, главным образом, некоторые числовые данные статьи). Редакцией газеты это письмо было переслано в тартуский

горком КПСС с просьбой разъяснить товарищам вред сионизма.

Однако указанное предположение в отношении «ЛГ» кажется мне маловероятным, т. к. письмо в «ЛГ» писал не только я, а другие товарищи подобных «откликов» не получили.

Может быть, мое письмо выделялось резкостью тона? И это не так, мое письмо написано было в стиле весьма интеллигентном. Нашлись и такие наши товарищи, которые длинных писем не писали, но не пожалели затратить время и деньги на переадресовку своей подписки на «ЛГ» лично в Ваш адрес. Уж не знаю, как Вы с этими комплектами распорядились. Я от подписки не отказался. Конечно — и статья возмутительная, и «1000 мелочей», и «Мужчина и Женщина» — все это так, но все же есть и крупницы полезной литературной информации.

Может быть, посчитали неудобным вчинять иск только за критику статьи в «ЛГ», а мне уж присоединили по совокупности? Маловероятно и это. Была ситуация, когда собирали все возможные поводы для иска в адрес одного товарища, тоже «написанта», но этот пункт не фигурировал.

Более вероятно предположение, что моя единственность связана с тем, что только я послал копию своего письма на домашний адрес А. И. Солженицына в Рязань (письмо было вручено адресату).

Вот такая история.

В своем выступлении 13.V.69 Вы сказали, что подобные факты Вам неизвестны. Не знаю, как бы Вы прокомментировали их тогда, если бы о них знали. Крайне любопытно было бы узнать Ваше мнение и сейчас. Если соотнести эти факты с Вашими формулировками в статье «О свободах мнимых и действительных» в «Правде» от 28.III.69: «Но мы и сейчас пользуемся поистине великими завоеваниями свободы и демократии...» и т. п., и т. п.

Мне хотелось бы думать, что те методы, которые по отношению ко мне применяются, следовало бы списать на чрезмерное усердие местных руководителей. Но надежды на это остается все меньше.

А. Васильев,

инженер ЖКО

29.V.69

Газета «Известия»
Отдел науки

Дорогие товарищи!

Считаю необходимым обратиться к вам в связи с незаконным увольнением меня с должности заведующего лабораторией в филиале н.-и. физико-химического института им. Карпова (г. Обнинск).

Основанием для этого послужили не служебные проступки, а ряд «обвинений», связанных, в основном, с моей общественной работой в качестве члена Совета обнинского Дома ученых (ДУ):

1. Участие в организации и проведении творческих вечеров писателей А. Шарова и В. Каверина (январь 1968 г.).

2. Участие в похоронах члена Совета ДУ В. А. Павлинчука (август 1968 г.).

Несмотря на то, что указанные события происходили давно и, во всяком случае, не имеют ни малейшего отношения ни к моей научной работе, ни к воспитательной работе в лаборатории, они поставлены во главу угла при моем увольнении.

Кроме того, мне в вину поставлена неявка моя и сотрудников (их и оставалось-то 4 человека, остальные были в отпуске) на митинг 23.VIII.68, хотя было известно, что сотрудники не смогли явиться по технической причине.

Произвол в отношении меня завершился тем, что после освобождения с должности зав. лабораторией я назначен, видимо, для «исправления» по китайскому методу, на должность инженера ЖКО. Сейчас я руковожу бригадой сменных и дежурных слесарей-сантехников.

Прошу вашего вмешательства и содействия в восстановлении меня на научной работе.

Мои основные данные: канд. наук с 1954 г., ст. научн. сотр. с 1960 г., 45 печатных работ.

Трудовой стаж 17 лет, из них в должности ассистента — 3 года, в должности ст. научн. сотр. — 2 года, в должности заведующего лабораторией — 12 лет.

В случае необходимости я могу в письменной или устной форме дать подробные объяснения.

С уважением
5 декабря 1968 г.

*Васильев
Анатолий Георгиевич*

На бланке газеты «Известия»

Уважаемый тов. Васильев!

Ваше письмо (наш № 42-265991) редакция направила в Калужский обком КПСС, откуда Вы и получите ответ.

Литсотрудник отдела писем

Р. Озерская

**Воспитывать убежденность,
коммунистическую сознательность
(Статья из газеты «Вперед»,
№ 6 (1331) от 14 января 1969 г.)**

...Бюро городского комитета партии исключило из рядов КПСС бывшего сотрудника теоретического отдела ФЭИ В. Павлинчука за распространение антисоветской литературы. Этот человек ничем не прославил труд обнинских ученых, но у него нашлись защитники, и среди них — коммунисты, научные сотрудники института тт. Стаханов, Агранович, Тошинский, Работнов. И в этом повинны руководители института и ряда научных подразделений, недооценивших значение идеологической борьбы.

...Сотрудник ФЭИ, кандидат физико-математических наук И. С. Работнов имел возможность в своем коллективе противостоять распространению антипартийной литературы. Но он этого не сделал и встал на защиту отрицательных явлений, лиц, исключенных из рядов КПСС, объясняя это естественным стремлением физика-теоретика к анализу «через собственную свободу мысли».

...Подобное игнорирование классового, партийного подхода к общественным явлениям привело коммуниста В. Е. Ключа — сотрудника Института медицинской радиологии — к ложному обвинению руководителей филиала ФХИ в произвольных действиях по отношению к бывшему заведующему лабораторией филиала ФХИ А. Васильева, к ложным измышлениям в адрес партийных коллективов филиала ФХИ и ИМР.

...Дирекция филиала физико-химического института имени Карпова освободила А. Васильева от обязанностей заведующего лабораторией. Суммой своих поступков А. Васильев доказал, что он не отвечает политическим

качествам руководителя — игнорировал общеполитические мероприятия, с похвалой отзывался о людях, протаскивающих чуждые советской действительности взгляды.

**О судьбе отрицательных персонажей статьи
«Воспитывать убежденность,
коммунистическую сознательность»**

Перечислены в том порядке, как они названы в статье.

1. В. А. Павлинчук. Физик-теоретик. Уволен с работы. От трудоустройства в должности бухгалтера жилищно-коммунального отдела (ЖКО) или инженера транспортного цеха отказался. Умер в возрасте 30 лет.

2. И. П. Стаханов. Освобожден от должности заведующего кафедрой теоретической физики Обнинского филиала МИФИ (работал по совместительству). Лишился должности заведующего лабораторией (в связи с ликвидацией лаборатории как структурной единицы). Исполняет обязанности ст. научного сотрудника.

3. В. М. Агранович. Освобожден от должности профессора кафедры теоретической физики Обнинского филиала МИФИ (работал по совместительству). Лишился должности заведующего лабораторией (в связи с ликвидацией лаборатории как структурной единицы). Уезжает из Обнинска.

4. Г. И. Ташинский. Работает в прежней должности.

5. Н. С. Работнов. Переведен с должности старшего научного сотрудника на должность младшего научного сотрудника.

6. М. Ю. Лохвицкий. Член Союза писателей СССР. Уехал из Обнинска.

7. Р. Я. Левита. Кандидат экономических наук. Живет в Обнинске, работает в Москве. В Москву сделаны настойчивые представления об увольнении Р. Я. Левиты. Ему предложено трудоустройство в должности рядового экономиста в г. Людиново (Калужская обл.).

8. А. Е. Ключ. Работает в прежней должности.

9. В. Г. Васильев. Переведен с должности заведующего лабораторией на должность инженера ЖКО (с изменением оклада с 400 на 100 руб. в месяц). Назначен ответственным за санитарно-техническое оборудование жилых домов филиала, руководителем бригады дежурных и сменных слесарей-сантехников.

* * *

**Характеристика
Васильева Анатолия Георгиевича,
1927 г. рождения, русского,
беспартийного,
кандидата химических наук**

Васильев Анатолий Георгиевич в филиале физико-химического института им. Л. Я. Карпова работает с 28.II.63 г. До 3.VII.64 г. работал в должности старшего научного сотрудника, а с 3.VII.64 г. по 22.XI.68 г. в должности заведующего лабораторией. За время работы в филиале тов. Васильевым А. Г. (лично и в соавторстве с сотрудниками) опубликовано и послано в печать около 20 работ и докладов в области дозиметрии ионизирующих излучений. В течение первых лет работы в филиале тов. Васильев А. Г. принимал участие в общественной работе (член цехкома, член бюро об-ва «Знание»).

В течение последних двух лет тов. Васильев А. Г. как руководитель лаборатории и как член Совета Дома ученых совершил ряд грубых политических ошибок — игнорировал общеинститутские политические мероприятия, с похвалой отзывался о людях, протаскивающих чуждые советской действительности взгляды. Своими действиями создавал общественное мнение, противоречащее политике нашей партии и правительства. С 22.XI.68 г. тов. Васильев в связи с невозможностью использования его в пределах филиала института от должности зав. лабораторией освобожден и назначен инженером ЖКО.

Характеристика выдана по просьбе тов. Васильева А. Г. в связи с подачей им документов на конкурс в институт медицинской радиологии АМН СССР.

Учитывая указанные выше грубые политические ошибки тов. Васильева А. Г., дирекция и общественные организации филиала ФХИ им. Л. Я. Карпова не рекомендуют допускать тов. Васильева А. Г. к конкурсу на занятие должностей в научных учреждениях.

Директор филиала
Секретарь парткома
Председатель месткома

*П. С. Назаров
В. П. Дмитриев
Ю. А. Кузьмин*

3-вн
14.III.69 г.

Газета «Известия»

Отдел науки

Дорогие товарищи!

Я, Васильев А. Г., бывший заведующий лабораторией в филиале научно-исследовательского физико-химического института им. Карпова (г. Обнинск) обращался к Вам в связи с переводом меня со 2 декабря 1968 г. на должность инженера жилищно-коммунального отдела (ЖКО) по необоснованным политическим обвинениям, исходящим из горкома КПСС (фактически — от второго секретаря тов. Лесниченко В. Е.).

Мое письмо поступило к вам в начале декабря 1968 г. (ваш № 42-265991). 9 января 1969 г. вы сообщили мне, что мое письмо направлено в калужский обком КПСС, откуда я получу ответ.

До настоящего времени ответа на мое письмо я не получил.

Тем временем я продолжаю работать в ЖКО, где назначен ответственным за сантехническое оборудование жилых домов филиала. В мои служебные обязанности входит, в числе прочего, обеспечение исправности унитазов в квартирах моих бывших коллег по Ученому совету. В общем — «культурная революция с близкого расстояния».

Хотя упомянутые выше обвинения относятся к прошедшему времени, мое имя стало «переходящим» на 1969 год. И каждый раз, когда оно упоминается, появляются все новые и более зловещие формулировки. 14 января 1969 г. городская газета «Вперед» инкриминировала мне два преступления (причина):

1. ...игнорировал общеинститутские политические мероприятия.

2. ...с похвалой отзывался о людях, протаскивающих чуждые советской действительности взгляды.

И следствие:

«Дирекция филиала физико-химического института имени Карпова освободила А. Васильева от обязанностей заведующего лабораторией».

О ЖКО газеты стыдливо умалчивает.

Об игнорировании каких мероприятий — во множественном числе! — идет речь, никто сказать не смог бы. Я обвинялся в неучастии в одном мероприятии — митинге, посвященном вводу войск стран Варшавского договора в Чехословакию.

О каких людях я отзывался с похвалой? При снятии меня с должности, как я уже отмечал, назывались (в разных аспектах) имена А. Шарова, В. Каверина, А. Солженицына, В. А. Павлинчука. Очевидно, имеется в виду либо весь этот список, либо часть его.

Но дело в том, что я не имел случая давать оценку личности и деятельности перечисленных выше лиц ни в печати, ни в публичных выступлениях. Так где же я «отзывался»? О Солженицыне — в личном письме в «Литературную газету», подписчиком которой я являюсь. («Откуда вообще вы знаете о моем письме?» — спросил я. Директор филиала тов. Назаров П. С. мне ответил: «Вот, как видите, знаем!») И все тут.)

11 февраля 1969 г. институт медицинской радиологии АМН СССР (г. Обнинск) объявил конкурс на замещение вакантных должностей старших и младших научных сотрудников, в том числе и по моей специальности. Я подал на конкурс все необходимые документы, за исключением характеристики. По моей просьбе характеристика была подготовлена в отделе, где я работал, и утверждена партбюро отдела. Я претендовал на должность младшего научного сотрудника (хотя из этого ранга я вышел еще в 1956 г.).

После подачи мною документов происходило оживленное движение: в горком вызывали разных лиц, в том числе ученого секретаря ИМРа, принявшего мои документы, бывшего моего руководителя отдела, секретаря парткома филиала. В результате руководитель отдела проф. Брегер А. Х. получил выговор, а характеристика была кардинально переделана. Та часть характеристики, где мне, как специалисту, давалась высокая оценка, была изъята. Политическая часть характеристики приобрела вид:

«В течение последних двух лет тов. Васильев А. Г. как руководитель лаборатории и как член Совета Дома ученых совершил ряд грубых политических ошибок — игнорировал общеполитические мероприятия, с похвалой отзывался о людях, протаскивающих чуждые советской действительности взгляды».

(Копия характеристики прилагается.)

Новое здесь — утверждение о грубых политических ошибках — во множественном числе! — в руководстве лабораторией «в течение последних двух лет», т. е. с 22.XI.66 по 22.XI.68, когда вышел приказ о переводе в ЖКО. Это утверждение совершенно произвольно (см., например, прилагаемую копию Почетной грамоты, выданной мне к 7.XI.67. Уже один этот документ «съедает» половину указанного двухлетнего срока).

И новая зловещая формулировка: «...создавал общественное мнение...»

Что еще может быть мне приписано в будущем?

Но и в настоящем довольно. Венцом характеристики является добавленная после обсуждения «на высшем уровне» концовка:

«Учитывая указанные выше грубые политические ошибки тов. Васильева А. Г., дирекция и общественные организации филиала ФХИ им. Л. Я. Карпова не рекомендуют допускать тов. Васильева А. Г. к конкурсу на занятие должностей в научных учреждениях».

Таким образом, я получаю «волчий билет» и без всякого суда лишуюсь права на труд в соответствии с моей квалификацией.

Разумеется, после вмешательства горкома ИМР расторг со мной отношения на самых дальних подступах к конкурсу.

Я надеюсь, что те методы, которые по отношению ко мне применяются, будут признаны не нормой, но отклонением от норм отношений в социалистическом обществе.

Еще раз прошу вашего вмешательства и содействия в восстановлении меня на научной работе.

С уважением

Васильев А.Г.

**Культурная революция с близкого расстояния
(только факты)**

Приложение

**Обнинск
июль 1969 г.**

**Председателю ВЦСПС
товарищу А. Н. Шелепину**

Глубокоуважаемый товарищ Шелепин!

Я, Васильев А. Г., кандидат химических наук, старший научный сотрудник по специальности «радиометрия», автор 45 печатных работ, был переведен с должности заведующего лабораторией на должность инженера жилищно-коммунального отдела (приказ по филиалу н.-и. физико-химического института им. Карпова от 22 ноября 1968 г. № 361/ОК). При этом мой оклад был уменьшен в 4 раза.

В ЖКО мне поручено наблюдение за исправным функционированием отопления, водоснабжения и канализации в жилых домах филиала. Моему руководству подчинена бригада дежурных и сменных слесарей-сантехников.

В связи с тем, что указанные действия серьезно нарушили мои профессиональные интересы, а выданная мне характеристика представляет собой «волчий билет», с помощью которого я без всякого суда лишаюсь права на труд в соответствии с моей квалификацией, считаю необходимым обратиться к Вам как к председателю ВЦСПС.

Основанием для указанных выше действий послужили не какие-либо служебные проступки или претензии к моей квалификации. За все время работы в филиале (с февраля 1963 г.) я не имел никаких взысканий. Напротив, руководимые мною работы отмечались премиями на конкурсах научно-исследовательских работ филиала.

Моя история показывает, как можно создавать «дело» буквально из ничего. Для подтверждения этого прилагаю подборку чисто информационного материала (в том числе копию упомянутой выше характеристики).

Я не прошу Вас рассматривать историю этого «дела» и восстанавливать справедливость; по-видимому, это неосуществимо.

Я прошу Вас использовать Ваш авторитет для изменения бессмысленного (при любых исходных предпосылках!) положения, в которое я поставлен моим новым назначением.

В мои новые должностные обязанности входит, в числе прочего, надзор за исправным функционированием унитазов в квартирах моих бывших коллег по Ученому совету филиала («культурная революция с близкого расстояния»). Но я не стыжусь этого.

Мне не было доверено руководство научными сотрудниками, но доверено руководство рабочими (правящий класс). Я не стесняюсь общения с ними. (Между прочим, наш слесарь-сантехник — фигура совсем не райкинская. Как правило, это колхозник, с помощью многостадийной и многолетней процедуры выслуживающий постоянную городскую квартиру.) К этим людям я отношусь с искренним уважением.

Нелепость и унижительность моего положения заключаются в том, что любой опытный слесарь-сантехник знает в 10 раз больше моего. В конфликтных ситуациях («большой засор») моя роль сводится к созерцанию по классической схеме:

«Это — как положено: один работает, один смотрит».

Я прошу Вас:

1. Не направлять мое письмо в калужский обком КПСС, как это делалось при моих предыдущих обращениях в другие инстанции.

2. Найти возможность оказать мне содействие в устройстве на работу в соответствии с моей квалификацией, которая установлена Высшей аттестационной комиссией МВССО СССР присуждением мне ученого звания старшего научного сотрудника.

3. Если это невозможно, то оказать содействие в устройстве на работу ниже моей квалификации, но по специальности.

4. Если и это невозможно, прошу оказать содействие в устройстве на работу, практически не требующую никакой квалификации, например, сторожа.

При моей попытке занять вакантную (временно) должность кладовщика ЖКО я получил отказ на том фарисейском основании, что у меня есть высшее образование — как будто оно имеет хоть малейшее отношение к моей нынешней служебной деятельности! Между тем подобная работа,

как я надеюсь, позволила бы мне, на самый худой конец, все же завершить работу над монографией «Дозиметрия мощных потоков излучений», которая частично написана и материал для которой у меня полностью собран. «Работа» сантехнического «руководителя» не создает для этого благоприятных условий.

5. Я был бы благодарен за совет, стоит ли мне предложить свои услуги как специалиста международной организации типа МАГАТЭ или ЕВРАТОМА.

Мне хотелось бы думать, что те методы, которые по отношению ко мне применяются, следовало бы списать на черзмерное усердие местных руководителей. Но надежды на это остается все меньше.

Прошу Вас ответить на мое письмо или лично принять меня.

Разумеется, я являюсь членом профсоюза с многолетним непрерывным стажем.

Приложение: на 21 листе «Культурная революция с близкого расстояния».

А. Васильев

8.VI.69

На бланке ВЦСПС

№ 295-06-Щ от 19 июня 1969 г.

**г. Обнинск, Калужской области
ул. Жолио-Кюри, 4а, кв. 53
тов. Васильеву А. Г.**

Ваше заявление о неправильном переводе с должности начальника лаборатории на должность инженера ЖКО рассмотрено.

Сообщаем Вам, что на основании действующего законодательства трудовые споры профессорско-преподавательского персонала высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений, должности которых замещаются по конкурсу, по вопросам увольнения, восстановления в должности, перевода на другую работу и

наложения дисциплинарных взысканий не подлежат рассмотрению в комиссиях по трудовым спорам, а разрешаются вышестоящими в порядке подчиненности органами.

Следовательно, по вопросу освобождения от занимаемой должности Вы можете обратиться в Министерство химической промышленности СССР (Москва, ул. Кирова, 20).

Секретарь ЦК профсоюза

В. Седенко

**Секретарю ЦК профсоюза рабочих
нефтяной и химической промышленности
товарищу Седенко**

на № 295-06-Щ от 19 июня 1969 г.

Я получил Ваш ответ на мое письмо в ВЦСПС от 8.VI.69. Вы пишете:

«Ваше заявление о неправильном переводе с должности начальника лаборатории на должность инженера ЖКО рассмотрено...

Следовательно, по вопросу освобождения от занимаемой должности Вы можете обратиться в Министерство химической промышленности СССР (Москва, ул. Кирова, 20)».

Из этого видно, что мое письмо было неправильно понято, поэтому я обращаюсь в ВЦСПС вторично.

Разумеется, с заявлением о неправильном переводе с должности начальника лаборатории на должность инженера ЖКО я в первую очередь обратился в МХП СССР (см. Приложение). Обращался я и в другие инстанции. Я вполне убедился, что восстановление справедливости в этом деле невозможно, и совсем не за этим я обращался в ВЦСПС.

Я обращал внимание ВЦСПС на нелепое (при любых исходных предпосылках!) положение, в которое я поставлен, и просил помощи в трудоустройстве в соответствии с моей квалификацией; либо ниже квалификации, но по специальности; либо в устройстве на работу, не требующую никакой квалификации (даже в этом я встречаю препятствия).

Прошу Вас оказать содействие в моем трудоустройстве в одном из вариантов, изложенных выше.

Приложение: копия письма Министерства химической промышленности СССР, № 02/2-3-132 от 16 января 1969 г.

22.VI.69

А. Васильев

На бланке ВЦСПС

№ 295-06-Щ 9 июля 1969 г.

г. Обнинск, Калужской области
ул. Жюлио-Кюри, 4а, кв. 53
Тов. Васильеву А. Г.

Ваше заявление о неправильном освобождении от занимаемой должности рассматривалось в Министерстве химической промышленности СССР.

ЦК профсоюза не находит основания изменить решение руководства института о Вашей работе.

Председатель ЦК профсоюза

Н. Светцов

Обнинск,
2 августа 1969 г., суббота

Дорогой Владимир Яковлевич*!

Ровно год тому назад хоронили Валерия Алексеевича. Тогда я писал Вам. Захотелось написать и сейчас. Копии прошлогоднего письма нет, не помню некоторых деталей. Но и без них ясно — много воды утекло!

Наклонная плоскость просматривалась уже тогда, но такого никто предсказать бы не смог. Лучшие, ближайшие и старейшие друзья Чука [Павлинчука] не пришли на поминки в день смерти — 31 июля. Один из них — Филимон, имя коего произносилось в Ялте. Это еще полбеды. Большая беда — это Р., опора. Ему не позавидуешь. 31-го он стал другим человеком — здесь вспоминаются, конечно, виноградская и Ваша траковка Пилата.

Вначале считалось, что поминки — дело традиционное и само собой разумеющееся. Предполагалось подобрать квартиру поудобнее, на худой конец, я предлагал и свою. Потом решили поосторожничать, застраховать от дальнейших придинок таких людей, как Р. (при строгаче с занесением, из старших научных сотрудников переведен в младшие — защищал Лохвицкого, Левиту, Васильева).

* В. Я. Лакшин.

Решили собраться у мамы — в однокомнатной квартире, но не в обиде. [...] На той стадии беспокоились, в основном, о памятнике, и вопрос о поминках пропустили как бы мимо ушей. Что за памятник? Просто плита или, не дай Бог, что-то претенциозное? («На высокой колонне юноша в заломленными руками?!») На какие деньги? Ответы не удовлетворили. И. о. директора института вызвал из отпуска Женьку, младшего брата Чука, дал ему легковой выезд и задание: съездить в Москву и привезти фотографию памятника. Женька ездил, но ничего не привез. После этого мать с причитаниями «Загубили моего сына, взялись за второго» срочно отправила Женьку к родственникам в Винницу.

На следующих стадиях стали допытываться, известно ли, кто может приехать на поминки из Москвы? Никто, кроме Турчина, назван не был (Фильку за язык потянуло). А коль скоро и списка нельзя было составить, то и тем более подозрительно. Вдруг кто-то скажет не такие слова и не получит должной отповеди из ложного представления об особенностях момента. Тем самым некоторые товарищи могут быть поставлены в ложное положение и подведут не только себя, но и «коллектив» (при этом более чем прозрачно намекалось на радиофикацию, как на дело, само собой разумеющееся).

«Слова, вот чего всегда боялись в России, слова, даже сказанного шепотом».

В данном-то случае и боялись зря. Кто скажет? Иные теперь далече.

Итак, вышло указание: нигде и никакой группы. Допускалось, чтобы бывшие личные друзья покойного поодиночке зашли к матери и выразили сочувствие материнскому горю: сын все-таки.

Главное — ясная постановка задачи. Остальное — работа. Наверное, был какой-то инструктаж, т. к. с великой назойливостью повторялись одни и те же слова наподобие «Ипримкнувшего к ним шепилова»: «Павлинчуку была дана политическая оценка» и т. п. Исполнителями были начальники от кандидатов наук до академика исключительно на основе «персональной ответственности». Подход был строго индивидуальным. С каждым подозрительным беседовал весь сонм начальников по прямой восходящей линии. Один из Филькиных начальников лежал в больнице, так Фильку сводили и туда. Наконец, он беседовал с академиком — впервые за 10 лет службы. Академик Фильке сообщил, что Павлинчуку была дана политическая оценка, что вопрос стоит необычайно серьезно и т. п. Филька наряду

с другими проявил понимание. В Р. же уверенности не было. Поэтому был призван его папа. Папе пообещали перевод на пенсию, если он не повлияет на сына (33 года, двое детей, покупатель магазина «Богатырь» — 47-й размер обуви). Такую развернули работу. Надо сказать, что объектов обработки было, по-видимому, очень мало. Кто потрусливее (поумнее?) — смылся в отпуск, благо и время-то явно отпускное.

На могиле установили мраморную доску с именем и земными пределами. Было порядком цветов в букетах, одна корзина «От родных и близких» и один венок: «Дорогому Валерию от товарищей» (тоже будет забота).

На поминках были мать и жена, трое друзей (двое из них — с женами, тоже близкими), всего девять человек, но ни одного нынешнего сотрудника института, где Чук работал.

Кажется, очень длинно. Но хотелось показать детали картины — Обнинск (!) сегодня.

Ну, ладно. Пока вы живы, и нам жить можно. Еще остается надежда.

Домашние дела мои пакостны. Мой сыночек Мямлик добегался-таки за кошками — подхватил на лапу лишай. Неделю я считал этот лишай какой-то травмой. Еще неделю заливал йодом, прятал от живодерной службы. Но вчера вынужден был свезти к ветеринару. Кошек и собак лишайных наш живодер убивает, исключения делаются для законнорожденных (с родословными) псов. Но окончательно судьба Мямлика еще не решена. Живодер уехал с отчетом в Калугу и там пропал. Мямлик в клетке. Сегодня я был у него. Мямлик просидел 21 час (в живодерне не было персонала), но не нарушил домашних правил поведения. Выводил его в лесок на прогулку. Вспоминался по близкой ассоциации недавно опубликованный и так обстоятельно отработанный регламент для человеков. Весьма насущный вопрос в нашем подлунном мире. Кстати, я потрясен гениальностью Валентули Пряничкова. Его предсказание можно приравнять к свифтовскому предсказанию спутников Марса.

Как Мямлик кричал, меня завидя, и как он плакал, когда я уходил, описывать не буду. Плакал и я. Совесть у меня неспокойна. Наверное, я должен не слезы лить, а караулить живодера дома, кому-то четвертной билет совать. Но я не умею. Пытаюсь вызвать к Мямлику сочувствие живодеровой помощницы, пока Мямлик в ее распоряжении.

На одной из ЖКОвских пятниц (предработное политико-просветительное чтение) выступал сам живодер (Леонид

Андреевич!). Призывал нас организовать отлов бродячих кошек, изготовив специальные ящики, и т. д. Но при этом призывал к известной осторожности:

«Я раньше работал в сельском хозяйстве. Наша задача была — увеличивать производство молока и мяса. Когда я сюда приехал и встала задача борьбы с разносчиками заболеваний, то я действовал очень решительно. Пойманных на улице кошек — больных, здоровых — уничтожали. Кошки продукции не производят. Так меня вызвали в горсовет и разъяснили:

«Здесь живут ученые — золотой фонд нашей страны. Эти кошечки помогают им отвлечься и отдохнуть, набираться сил. И если вы этого не понимаете, то подавайте заявление».

Речь эту мы выслушали со вниманием. Дворникам (женщинам) ветеринар (рыжий) понравился.

Пещеру мою залили хлорамином, а на дверях всех подъездов повесили позорящие меня дацзыбао, обращенные к родителям детей. Двое, по-моему, со мной уже не раскланиваются. Меня и Шустрика будут таскать еженедельно и будут разглядывать наши хвосты, в лучшем случае, этим ограничится. Но вряд ли. С Мямликом мы жили в обнимку.

Иоанна с Галкой в Харькове уже две недели. Иоанна там втянулась в дискуссию по своим болячкам. Собиралась домой в середине августа.

Прошедшие две недели служебные дела были тяжелы. Моя начальница ушла в отпуск и оставила меня на съедение отставной козы барабанщику — начальнику ЖКО. Еще предстоит две недели.

Обменные дела теплятся. Прорабатывается два варианта, один из них довольно смехотворный — частная избушка, в огороде баня, вблизи Акулова. Оба варианта при счете 2:3 (два пенсионера и нас трое). Публичного запретного закона на такой счет для Московской области нет, но есть ли твердое беззаконие — вот что выясняется. Если окажется, что проходит только 3:3, то дело плохо. Вариант такой нужно будет искать, но это дело долгое. Так что придется что-то изобретать с трудоустройством при обнинском жительстве. Нынешняя деятельность, по-видимому, себя исчерпала.

Вот так невесело нынче выходит. Выбила меня годовщина из оптимистической колеи.

Наилучшие пожелания семейству.

Ваш А. Васильев

**Директору филиала н.-и. физико-химического
института им. Карпова
Васильева А. Г.**

Заявление

Прошу освободить меня от работы в филиале с
1 сентября 1969 г.

15.VIII.69.

**Генеральному секретарю Союза писателей
товарищу Константину Федину**

Глубокоуважаемый тов. Федин!

Ваш орган — «Литературная газета» — много пишет о связи литературы с жизнью. Причем всегда пишет в положительном смысле. При этом забывается связь в отрицательном смысле. На эту сторону обращается явно недостаточное внимание. Последнее время я размышлял над этим (в электричке) и позволю себе обратить Ваше внимание на эту проблему в узком, но весьма важном аспекте — в аспекте литературной критики. Причем позволю себе осветить эту проблему в сугубо личном смысле — так будет понятнее.

Я, Мямликов А., 40 с лишним лет, по официальной номенклатуре технический работник высокой квалификации, в 60-е годы жил и работал в одном из городов науки Подмосковья.

В молодости довольно много читал художественных произведений, но потом мало — заедала текучка. О литературной же критике знал, что это — весьма солидное дело и занимаются им люди высокоидейные, которые и направляют нашу литературу по пути социалистического реализма под руководством партии. Конкретно же, если бы меня попросили назвать критиков (а тогда не было этих анкет), то, пожалуй, назвал бы только В. Рюрикова. Но и

Рюрикова я тоже, конечно, не читал, а так знал — что главный критик.

Никаких литературных журналов я не выписывал, а читал от случая к случаю, что попадалось. Первого необычного критика я встретил на страницах «Юности» — Ст. Рассадин. Но он воспринялся как оригинальный эпизод.

Здесь следует со всей прямоотой сказать, что я, как теперь вижу, проведя сравнительно благополучную молодость, не получил крепкой идейной закалки. На меня оказали заметное влияние демагогические крайности критики «эпохи культа личности». Поэтому ядовитые семена (см. ниже) уже падали на взрыхленную почву.

И вот однажды, в январе 1963 г., я увидел одну-две строчки, сильно меня поразившие. Это была повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Тем же порядком я прочел эту повесть с середины до конца, потом, уже в свою очередь, — с начала до середины. Потом выпросил домой на ночь и переписал изрядную часть — посылал отцу. Несколько дней ходил, как пьяный.

Затем мне попадались различные отзывы, прохладные или даже негативные. Я не воспринимал их, но и не смог бы спорить против их логики.

В надежде на новые произведения Солженицына я подписался на «Новый мир». Надо сказать, что ранее для меня все толстые журналы были на одно лицо и в равной мере в них попадались небезынтересные вещи. А критических статей я, конечно, не смотрел, разве что «Об искренности в литературе» В. Померанцева — очень уж о ней шумели.

И вот уже в начале 1964 г. я получил первый номер первого в моей жизни подписного журнала. В нем не было Солженицына, но была большая статья безвестного для меня В. Лакшина «Иван Денисович, его друзья и недруги». И здесь я опьянел вторично.

Стал интересоваться и узнал, что существует целое явление «молодых критиков» («великолепная пятерка», как потом метко окрестил их известный наш писатель), а еще был предтеча — Марк Щеглов. Что все они тяготеют к журналу «Новый мир» и что это якобы не просто один из толстых журналов, а антипод «Октября».

Ходил к подъезду «Нового мира», посмотреть — что видят они из окон? Определил, что видят церковь. А Лакшина представлял себе молодым, модным, спортивным, весьма уверенным в себе человеком (потом узнал, что многие именно так представляли себе М. Щеглова). Словом, стал читать журнал почти что от корки до корки (теперь осознал — не читаю), а критику — в первую очередь.

Имея заведенную привычку систематически смотреть «Летопись журнальных статей» и «Книжную летопись» (раздел «Физика» и некоторые другие технические разделы), стал смотреть и раздел «Литературоведение» — вылавливать критиков «пятерки» и иже с ними, а на самого Лакшина составил и ретроспективный список (см. Приложение). Что мог найти — читал. И дочитался.

А надобно сказать, что у начальства я состоял на хорошем счету и по производственной, и по общественной линии. Зарплата моя с надбавками и премиями составляла около 500 руб. в месяц. Летом 1967 г. утверждался я в горкоме КПСС в должности зав. лабораторией (состоял уже много лет) с единственным замечанием-пожеланием — подумать о своей беспартийности.

В сезон 1967/1968 г. по общественной линии я был членом Совета городского Дома ученых (ДУ).

Так вот. В январе — августе 1968 г. произошло несколько случаев, в которых мое поведение показало, что благополучным аксалом я уже был только внешне. А внутри, и в значительной мере, конечно, под влиянием новых литературных увлечений, я уже значительно отстал от требований времени. Требования эти не формулировались явно. Я рискну их обозначить как курс на решительное преодоление упомянутых выше демагогических крайностей критики «культы личности», на борьбу с проявлениями ревизионизма. Теперь уже всем ясно, что «Новый мир» занимал по отношению к этому курсу политику пассивного сопротивления. А поскольку это был «мой» журнал и моя «духовная родина», то я соответственно вел себя, когда произошел

случай **первый**. В январе в ДУ выступал приглашенный мною от имени Совета новомирский писатель А. Шаров (Нюренберг Ш. И.). Я был с ним на сцене. Секретарю горкома КПСС по идеологии, который был на вечере в компании с гостем — фотокорреспондентом «Правды», не понравилось одно место из выступления А. Шарова. Секретарь после выступления подошел в кулуарах к А. Шарову и сделал ему замечание не в очень сдержанном тоне. Произошла перепалка. Я же пытался «успокоить» секретаря горкома — «да что вы, да ничего-де Шера Израилевич такого не имел в виду» и т. д. В этом случае я проявил себя не как сознательный и принципиальный работник органа нашей пропаганды — Дома ученых, а, в лучшем случае, как обыватель, обеспокоенный в первую очередь соблюдением «приличий» по отношению к гостю из новомирского авторского актива. Более того, я поставил свою подпись

под коллективным кляузным письмом в горком о «нетактичном поведении» второго секретаря горкома. А от Совета ДУ Шарову было послано извинение. Нужно отметить, что к подписантам этого письма было проявлено гуманное отношение и никто из них прямым образом не пострадал. Но я в своем закоснении не оценил этого, и произошел

случай второй. В том же январе в том же месте выступал тоже новомирский писатель, классик советской литературы В. А. Каверин. Хотя Каверин был и не мною приглашен, но я его привез и был в той же роли «ведущего» на сцене. Выступление Каверина повергло руководство горкома в ужас. Этот большой ребенок упомянутые выше явные веяния игнорировал начисто. Хотя моя роль была, в основном, технической, но мое вежливое поведение — теплое представление, заключительные благодарности, даже кофе с коньяком после вечера, — все свидетельствовало о крайней политической незрелости, если не сказать больше. И уже после этого первый секретарь горкома КПСС при обсуждении инцидента промолвил: «А мы еще поговорим с дирекцией и парторганизацией института, может ли этот Мямликов там лабораторией заведовать». Тут бы мне показать свое политическое лицо в положительном смысле. Но я нигде не высказал, какое бы следовало, отношение к выступлению Каверина, продолжал штудировать «Новый мир» и в июле произошел

случай третий. Я написал хотя и сдержанное, но критическое письмо в «Литгазету» по поводу редакционной статьи о Солженицыне. Об этом стало известно. И с этим было принято правильное мнение — нельзя мне доверять руководство коллективом, хотя бы и небольшим. Ибо аксиомой является — не только технический руководитель, но и воспитатель. И стал прорабатываться вопрос о форме претворения этого мнения в жизнь. По-видимому, и на этой стадии я мог смягчить свою участь, но упорствовал в своих заблуждениях. И в первых числах августа произошел

случай четвертый. Я принял деятельное участие в похоронах молодого физика, бывшего моего коллеги по Совету ДУ, незадолго до скоростной смерти уволенного с работы и исключенного из партии за самиздат. Я проявил крайнюю политическую незрелость — дал команду собирать деньги на цветы в своем институте, к которому покойный, как справедливо указывалось, не имел никакого отношения. Кстати сказать, покойный был «ведущим» на вечере в ДУ в марте 1967 г., когда у нас выступал

В. Я. Лакшин. Справедливости ради отмечу также, что к выступлению Лакшина в свете требований того момента времени претензий не было.

Но вернемся к историческому августу 1968 г.

Не будем греха таить. Хотя идеи пресловутого «социализма с человеческим лицом» прямо не пропагандировались в «моем» журнале, но весь строй мыслей и чувств, внушаемых читателям и полностью разделявшихся мною тогда, не позволил мне своевременно оценить и правильно понять братскую помощь вооруженными силами чехословацкого народу. И тут произошел

случай пятый. Я игнорировал общеинститутские политические мероприятия, связанные с выражением единодушной поддержки действий партии и правительства.

Чаша была переполнена. Вскоре я был снят с должности зав. лабораторией и тем же приказом назначен на должность инженера ЖКО. Начальник ЖКО поручил мне руководство бригадой дежурных и сменных слесарей-сантехников. И на меня возложил персональную ответственность за исправное функционирование водоснабжения, отопления и канализации в жилых домах и детских учреждениях.

Но и тогда я сразу не осознал. Писал кляузы — министру, в ЦК КПСС, в газету «Известия», председателю ВЦСПС. Качал права — я-де и избран был по конкурсу, и «произвол», и «культурная революция с близкого расстояния» (позаимствовано из «Нового мира» — таков был заголовок одной из статей).

Потом стал осознавать. Этому способствовали:

1. Близкое общение с рабочим классом — слесарями-сантехниками на производстве.

2. Строгость моего нового руководителя — начальника ЖКО капитана в отставке тов. Агейкина.

3. Скромное, хотя и достаточное денежное содержание (100 руб. в месяц).

4. Отношение бывших коллег по Ученому совету института, с которыми мы встречались уже в их квартирах в связи с их насущными житейскими потребностями. Мой пример, как оказалось, еще больше укрепил их высокую политическую сознательность.

5. Задушевные беседы за рюмкой водки с другом-конформистом. Он — талантливый инженер и математик. Хаживал в директорах. Загодя предсказал мои неприятности. Потом настоятельно предлагал писать покаянную. Брался составить текст оной.

На новой работе я пробыл до 31 августа 1969 г. Потом уехал из города науки в другой — промышленный в дальнем

Подмосковье город. Не без мытарств и случайной удачи нашел скромную должность младшего научного сотрудника за 70 с лишним километров от дома.

И теперь я осознал окончательно.

И всем доволен.

Веду здоровый образ жизни. Ежедневно с утра около полтора часов английского языка и ядерной физики в электричке. Читаю статьи из журналов и сборников.

Днем экспериментальная работа в сугубо прикладной области и расчеты, выполняемые собственноручно.

Ревностно отношусь к общественной работе в качестве члена редколлегии стенгазеты. Пишу заметки — и ни малейших претензий к их содержанию не имею. Не упустил случая выступить с политинформацией о международном положении — опять никаких замечаний.

Все это на работе.

А после работы в электричке снова полтора часа английского языка и физики. Не гнушаюсь также статьями на немецком, французском, испанском, японском, польском и сербохорватском. А вечером дома пишу краткие рефераты на русском языке и печатаю их на машинке. И вписываю от руки знаки, коих нет в шрифте. А за каждый реферат имею получить, грубо говоря, 2 рубля от реферативного журнала «Физика», который печатает рефераты для всеобщего пользования. И за 10 месяцев текущего, уже 1970 года, сдал рефератов — 270. Немалый таки труд, но и вознаграждение вполне внушительное. (И это, конечно, сверх ставки М.Н.С.)

И я еще раз подчеркну — всем доволен.

На «Новый мир», разумеется, подписку в этом году прекратил — не до того, да и от греха подальше.

И все же бывают у меня перебои с рефератами. И тогда нечего читать в электричке. Вот тут у меня и появилась идея — вновь, но уже с позиций осознавшего посмотреть некоторые статьи В. Лакшина, благо журналы за 1964—1969 гг. у меня под рукой. Так я и поступил. Обновил список (см. Приложение). И перечел для начала две статьи — «Мастера» и «Мудрецы». И до чего же ясной стала мне та самая связь литературы с жизнью в отрицательном смысле, о чем я писал в начале этого письма. И немалая вина в этом тех наших почтенных критиков, которые пишут антилакшинские статьи. До чего же они беззубы и интеллигентны! До чего же стесняются называть-таки вещи своими именами!

И хотя я не владею литературным слогом, хочу частично восполнить этот пробел.

В знак чего направляю Вам изложение истинного смысла статьи В. Лакшина «Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита».

Если сочтете возможным, распорядитесь передать материал по принадлежности.

А заодно не мешало бы проверить, со всех ли доходов литературных вносятся положенные взносы в партийную кассу. Такие случаи бывали. К сожалению, библиография наша весьма несовершенна.

К сему — *А. Мямликов*

09.XI.1970.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ В ЧУСОВОМ

Полдень 8 сентября. Поезд Москва — Нижний Тагил. В конце лета девяносто шестого года Семен Виленский — председатель «Возвращения» и я — редактор издательства приглашены Пермским отделением «Мемориала» на Международную конференцию «Спротивление тоталитаризму в России (СССР). 1917—1991 гг.»

Наш объемистый багаж — книги, изданные «Возвращением», везем их в подарок Пермскому «Мемориалу» и участникам Конференции.

Езды до станции Чусовая — ровно сутки.

День первый

На станции Чусовая выгружались под дождем, пачки книг сложили горой на мокрый асфальт. Нам помогал мужчина из соседнего купе, который ехал дальше, и с которым до этого мы и словом не перемолвились; его *разрешите вам помочь* и по смыслу и по интонации прозвучало, как из прошлой жизни. Виленский пошел искать встречающих, я держала зонт над книгами. «Что за книги?» — спросил попутчик. «О ГУЛАГе». Оказалось, ему безразлична эта тема. Подарила ему сборничек Елены Владимировой, говоря торопливо (проводница ему: «Садись давай, сейчас трогаемся»), что книги издаются «Возвращением», что автор — колымчанка. «Ну да сами увидите...» — «Спасибо! Счастливо!»).

Вскоре на платформу въехал посланный за нами рафик.

Город Чусовой вырос в прошлом веке вокруг металлургического завода, расположен в котловине, на него оседают весь дым и смрад многочисленных заводских труб. Нам рассказали, что весной, когда жители убирают снег, он напоминает слоеный пирог: выпавший снег тут же становится черным; можно сосчитать, сколько снегопадов было за зиму.

Мост через реку.

Чусовая... Весной 1927 года Артем Веселый, работая над исторической повестью «Гуляй, Волга», предпринял первое из нескольких путешествий *по следам Ермака*: на рыбацкой лодке, под парусом и на веслах, он проплыл по Чусовой, Каме и Волге до Каспия. Его впечатления о реке, бегущей в горах («Чусовая металась в камнях, как щука в сетке. По реке рубцом вилась струя толщиной в руку»), не совпали с моими: в пределах города река спокойная и мелкая...

Рафик привез нас в профилакторий металлургического завода, дирекция которого предоставила его под жилье для участников конференции. Нас ждали — и чувствовалось, что нам искренне рады.

Первым делом пошла на почту — позвонить домой. Сидевшая в вестибюле сотрудница заводоуправления вызвалась показать дорогу. Под дождем и ветром, рвущим из рук зонты, она проводила меня сначала «до уголка», потом «до поворота», кончилось тем, что подвела к самым дверям почты.

Постепенно съезжались участники конференции — из Москвы, Петербурга, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, с Украины, из Эстонии, — всего человек пятьдесят. Со многими мы вскоре познакомились — все они остались в памяти как люди, бесконечно преданные «многотрудным мемориальским делам», по выражению журналиста Александра Михайловича Калиха — председателя правления пермского «Мемориала».

Были на конференции и несколько совсем молодых людей: Аня Пастухова — председатель екатеринбургского «Мемориала», из Перми — научный сотрудник Мемориального музея Яна Зыкова и телеоператор Андрей Калих, его товарищ Тим — немец из бывшей Восточной Германии. Прошлым летом Тим работал в международном трудовом лагере: волонтеры из России, США, Англии, Шотландии, Франции, Германии и Австралии принимали участие в ремонтно-восстановительных работах по воссозданию в рамках музейно-архивного комплекса бывшего политического лагеря «Пермь-36». Нынче Тим приехал снова — это его альтернативная армейская служба...

День второй

Утром были открытие конференции и пленарное заседание, со второй половины дня до позднего вечера шли доклады. Назову лишь четыре общие темы секционных заседаний:

«Сопrotивление большевистскому режиму (1917—1930-е гг.)».

«Трагедия российской и национальной интеллигенции. Репрессии и террор».

(Две эти темы обсуждались на секции «Становление тоталитарной системы: сопротивление и террор»).

«Инакомыслие и репрессии после войны».

«Инакомыслие в условиях разложения тоталитаризма и борьба за права человека».

(Секция «Послевоенный тоталитаризм: сопротивление и репрессивная политика»).

На этой секции с сообщением выступил С. С. Виленский.

«Шесть лет существует общество «Возвращение», объединяющее бывших узников сталинского ГУЛАГа и гитлеровских концлагерей, — говорил он. — Мы издаем книги, журнал «Воля», провели три международные конференции «Сопrotивление в ГУЛАГе». Что касается наших контактов с политзаключенными 60-х—80-х годов, они случайны и неглубоки. Мы разобщены, как и все демократическое движение в России.

Многие заключенные-диссиденты хрущевских, брежневских, андроповских времен знали, что они не забыты. В СССР набирало силу независимое общественное мнение, «Голос Америки», «Свобода», «Немецкая волна» 24 часа в сутки повторяли их имена. КГБ и администрация лагерей действовали с оглядкой, все чаще оказываясь на свету. По мере налаживания экономических и прочих контактов с Западом все заметней становилось стремление властей ограничить число осужденных за инакомыслие, их стали чаще прятать в психушках, высылать из страны.

Ничего подобного не было в сталинские времена: тогда уничтожалась сама память об арестованных людях. И было их не сотни, не тысячи, а миллионы — голодные вымирающие трудовые армии.

Но при всей разности двух поколений лагерников мы должны действовать сообща, должны осознать свою силу — ведь в России миллионы семей узников ГУЛАГа».

Эти мысли Виленский развивал и на заседании «круглого стола», и в частных беседах.

Отрадно было узнать, что впервые в России политический лагерь превращается в Музей истории политических репрессий и тоталитаризма при содействии администрации и губернатора области, что посильную помощь в этом оказывают директора нескольких заводов, и в первую

очередь металлургического завода в Чусовом. Некоторые из этих людей непосредственно участвовали в работе конференции.

День третий

Едем в Мемориальный музей истории политических репрессий и тоталитаризма. От Чусового — автобусом — около 35 километров.

Восстанавливаемый лагерь «Пермь-36» — главная часть музейно-архивного комплекса «Мемориал жертв политических репрессий». Созданный в 1946 году, лагерь с 1972 года стал основным политическим лагерем СССР, через него прошли практически все репрессированные видные диссиденты, лидеры правозащитного и национальных движений, Хельсинских групп.

Впервые об этом лагере я услышала два года назад, когда издавала сборник Василия Стуса в серии «Поэты — узники ГУЛАГа». Переводчик его стихов Лена Санникова (отбывшая ссылку за правозащитную деятельность) принесла для публикации фотографию лагеря «Пермь-36», вернее, того, что осталось от него к 1989 году: обломки дощатого забора, поваленная вышка...

Теперь из статьи директора музейно-архивного комплекса Виктора Александровича Шмырова, опубликованной в брошюре «Мемориальный музей истории политических репрессий и тоталитаризма. Отчет 1994/1995», я узнала некоторые подробности об этом лагере. Привожу фрагмент статьи:

«Волею судьбы и властей репрессивная история Пермской области не закончилась, как в большинстве других, развенчанием «культы личности» и реабилитацией 50-х годов. В начале семидесятых здесь появились новые политлагеря — ВС-389/35 и ВС-389/36 («Пермь-35» и «Пермь-36»), заключенными которых стали, в основном, осужденные по политическим мотивам за «антисоветскую агитацию и пропаганду», т. е. те, кого стали называть правозащитниками, диссидентами, узниками совести. Позднее к ним добавился еще один политлагерь — ВС-389/37.

В 70—80-е годы политлагеря ВС-389/35, ВС-389/36, ВС-389/37, прозванные заключенными «пермским треугольником», вместе с Чистопольской тюрьмой замыкали, в основном, тот порочный круг, в котором происходило вращение судеб осужденных по печально знаменитой

«антисоветской» 70-й статье УК РСФСР и аналогичным статьям УК республик бывшего СССР, тех, кто был признан режимом особо опасными государственными преступниками.

Пермская политзона, безусловно, была лишь вершиной репрессивного политического айсберга. Его основной массив составляли сотни и сотни заключенных, отбывавших наказание в уголовных зонах по ст. 1901 («Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»), сфальсифицированным уголовным статьям, а также «пациенты» психушек. Но в пермских лагерях концентрировались те, кто с точки зрения режима представлял для него наибольшую опасность, последовательные и бескомпромиссные активисты Сопротивления.

За почти двадцатилетний период существования пермских политлагерей узниками их застенков стали практически все известные правозащитники как России, так и бывших «союзных» республик, сотни малоизвестных и вовсе безвестных общественности людей, сознательно выбравших для себя путь борьбы с режимом и, как правило, отчетливо отдававших себе отчет в несоизмеримости сил и характере неизбежных репрессий. Пермская политзона аккумулировала лучшие, совестливейшие силы общества. Тех, кому недостаточно было «кухонного» сопротивления, тех немногих, кто уже видел за признаками стагнации и маразма неизбежную и скорую гибель режима, и тех, кто считал его глубоко и незыблемо прочным, но выбирал почти безнадежную борьбу с ним.

Репрессивное прошлое составляет если и не основное, то весьма значительное содержание нашей недавней истории. И, конечно же, оно не должно быть забыто.

В 1992 г. при Пермском отделении общества «Мемориал» был создан научно-исследовательский центр. За время его существования сотрудники центра выявили основные материалы по истории политических репрессий в центральных и местных, государственных и ведомственных архивах, провели с помощью администрации области совещание руководителей и работников архивов тех правоохранительных органов, в которых хранятся материалы по истории политических репрессий.

Как оказалось, многие из этих документов хранятся в абсолютно непригодных условиях. Они не только недоступны исследователям, репрессированным или их родственникам, но многим из них грозит почти неизбежная гибель. Кроме того, все лагерные архивы вплоть до настоящего

времени остаются ведомственными, правила и сроки хранения материалов в них регулируются не правилами государственного хранения, а ведомственными инструкциями, что не гарантирует безусловной и бессрочной их сохранности.

С целью выявления, сохранения и изучения всех возможных материалов по истории политических репрессий на Урале 30 августа 1994 г. администрация области и областное отделение общества «Мемориал» учредили музейно-архивный комплекс «Мемориал жертв политических репрессий», в который войдут Мемориальный центр в Перми, Мемориальный музей истории политических репрессий и тоталитаризма в бывшем политлагере ВС-389/36 и исследовательский центр.

В Мемориальном комплексе в Перми планируется сконцентрировать большую часть всех доступных архивных материалов, связанных с историей политических репрессий, вне зависимости от их ведомственной принадлежности, здесь же разместятся читальные, экспозиционные и выставочные залы и библиотека.

Первоочередной задачей музейно-архивного комплекса на настоящем этапе является создание Мемориального музея, поскольку оказавшие ныне бесхозными бывшие лагерные постройки и сооружения стремительно разрушаются и, если немедленно не заняться их консервацией и восстановлением, им грозит неминуемая гибель».

Автобус подъехал к лагерным воротам.

Новый дощатый забор. До ликвидации лагеря его ограждение шло в 7 (семь!) рядов: доски, колючая проволока, противотаранное устройство «еж»... И это при том, что лагерь тюремного типа: заключенные были заперты в камерах.

Сам барак почти восстановлен, покуда нет решеток на окнах, нет решетчатых дверей (двери в камерах были двойные — деревянная сплошная и железная решетчатая).

По бараку, рассказывая о своих тюремных товарищах и вспоминая различные эпизоды из проведенных тут семи лет, нас вел Василь Овсиенко, ныне сопредседатель республиканской партии Украины.

Показал камеру № 12, где сидел Стус. Узкая, с окном на север, самая скверная из всех жилых камер: постоянный полумрак, сырость и холод. Камера на двоих — железные кровати одна над другой. Сокамерником Стуса был писатель Леонид Бородин, ныне — главный редактор журнала «Москва».

Василь Овсиенко считает, что Стус не умер и не покончил жизнь самоубийством, о чем ходили смутные слухи. Его убили.

В 1985 году Генрих Белль выдвинул Василя Стуса на Нобелевскую премию — чтобы избежать международной огласки, его, уверен Овсиенко, решили убрать.

Стуса незадолго до смерти дважды наказывали карцером.

Однажды ночью охранник — узбек или казах, стоявший на вышке, чтобы развлечь себя, затянул заунывную песню. Это продолжалось долго — Бородин постучал в дверь и пожаловался дежурному надзирателю, что пение мешает спать. Наутро Стуса потащили в карцер: его обвинили в том, что он ночью безобразничал: стучал в дверь, разбудил всю тюрьму.

Леонид Бородин добился приема у начальника тюрьмы, заявил, что Стус ни при чем, на что тот ответил: «Какой бы я был начальник, если бы не доверял рапорту своих подчиненных!»

Через несколько дней после возвращения Стуса из карцера — новая придирка. Устав сидеть на табурете, как положено (садиться или ложиться на кровать до отбоя было запрещено), он читал стоя, прислонившись грудью к верхней кровати, пристроив книгу на подушку. Надзиратель сделал ему замечание, мол, «нарушена форма заправки постели», и тут же подал рапорт, что Стус в неположенное время лежал на кровати.

Когда его уводили в карцер, Стус сказал Бородину, что объявит голодовку.

— Какую?

— До конца.

Больше Василя Стуса никто из заключенных не видел...

Все это происходило уже в горбачевское время. Год 1985-й.

Овсиенко рассказал о своих товарищах — Юрии Литвине и Олексе Тихом, погибших в этом бараке.

Их, как и Василя Стуса, впоследствии перезахоронили на Украине.

«Чемпионом по сидению в карцере наравне со Стусом», по словам Овсиенко, был Март Никлус, приехавший на конференцию из Эстонии. Немолодой, но необычайно подвижный и улыбчивый человек, он ходил по бараку с фотоаппаратом — и снимал, снимал...

Барак тюремного режима отличался от тюрьмы тем, что тут заключенные были обязаны работать. Рабочие камеры — в том же коридоре, что и жилые. Овсиенко показал какую-то плашку, к которой были привинчены провода; за смену надлежало привинтить 540 проводов.

По торцевой стене барака расположено четыре карцера.

Заключенные, никогда не встречаясь с заключенными из других камер, общались с соседями через форточки; если в коридоре не было охранника, можно было крикнуть в открытую форточку несколько слов. Кто-то из «новеньких» обучил других азбуке Морзе, начали перестукиваться. Но охранники тоже обучились этой азбуке — перестукивание пришлось прекратить.

Полагалась получасовая прогулка.

Только изощренное изуверство тюремщиков могло придумать такую «прогулку» для людей, годами запертых в камерах.

Из всего увиденного два прогулочных дворика, затянутые поверху сеткой из колючей проволоки, произвели на меня самое гнетущее впечатление. Каждый — не больше четырех-пяти шагов по диагонали. Куда ни повернись — утыкаешься лицом в стену, внахлест обитую старой жестью. Жесть выкрашена масляной краской, в одном дворике грязно-зеленой, в другом — грязно-голубой.

На обратном пути мы ненадолго заехали в бывший лагерь «Пермь-35», прошли по территории мимо запертого барака, посмотрели на лесопилку под навесом, на которой в свое время работал Сергей Адамович Ковалев. Узнала, что в этом лагере сидел и знакомый мне поэт Николай Николаевич Браун.

Следующая остановка автобуса — у деревенского кладбища, где хоронили заключенных. В конце ряда — могила начальника лагеря «Пермь-36» — обелиск с красной звездой на вершукше.

Март Никлус наклонился, раздвинул траву — показалась фотография товарища Долматова. Никлус щелкнул затвором фотоаппарата, тихо сказал:

— Как он меня мучил! Если бы он знал, что я фотографирую его могилу, он бы в гробу перевернулся...

На обратном пути кто-то в автобусе рассказал, что несколько лагерных надзирателей — жителей окрестных деревень теперь плотничают — восстанавливают «Пермь-36».

Вечером был «круглый стол», заявленная тема — «Проблемы прав человека в современной России». Но обсуждалось и то, каким надлежит быть музею политических репрессий в СССР, должна ли его экспозиция отражать лишь карательную политику большевиков, или в нее должны быть включены как предыстория царская каторга и ссылка. Мнения разделились. Одни говорили, что при всей чудовищности большевистского эксперимента есть известная преемственность в преследовании

инакомыслия и что идеализация прошлого не принесет России ничего, кроме новой несвободы. Другие утверждали, что карательная политика царизма и большевиков и по масштабам и по существу — принципиально разные явления, что тот, кто выстраивает их в одну линию, на деле затушевывает преступный характер большевизма...

Последний день в Чусовом

Конференция закончилась.

Мы с Виленским остались еще на день: Виктор Александрович Шмыров посоветовал побывать в Историко-этнографическом музее реки Чусовой.

Наутро Виктор Александрович заехал за нами на машине. По дороге — музей в четырех километрах от города — немного рассказал о его директоре.

Леонард Дмитриевич Постников основал и долгие годы возглавлял Чусовскую спортшколу олимпийского резерва: лыжи, сани, фристайл. Воспитал нескольких известных спортсменов, даже чемпионов СССР, Европы и Олимпийских игр. Рядом со спортивным комплексом он создал историко-этнографический музей. Началось с того, что в какой-то деревне решили разобрать на дрова церковку. Постников поехал, купил, перевез к себе. Потом...

— Потом — сами увидите.

Выехав за город, мы оказались в удивительно красивой местности: каменистые горы, кое-где поросшие лесом, узкая речушка... Краски осени — мы это еще из окна поезда заметили, когда подъезжали к Уралу — здесь ярче и контрастнее, чем в Подмоскovie.

На гористом берегу речки — спорткомплекс, на пологом — музей.

Слева от дороги в вольере молодой олень и две пятнистые самочки.

Речка совсем мелкая, мы переехали ее по дну — рядом горбатился мостик для пешеходов.

Машина остановилась у конторы. Шмыров зашел первым — предупредить хозяина, через минуту позвал нас.

Навстречу нам поднялся высокий седой старик. Виктор Александрович уехал, сказав, что через три часа нас отвезут на завод (о встрече с его директором Виленский договорился накануне).

— Пойдемте, покажу вам кое-что, — сказал Постников.

Мы подошли к церковке, той самой, с которой начался весь музейный комплекс.

Над входом — портрет Ермака, выполненный в технике эмали.

Внутри — на передней стене и на боковых — цикл картин художника Павла Федоровича Шардакова. Общий сюжет — деяния Ермака; по стилю картины напоминают многофигурные иконы — некая условность в изображении персонажей и природы; мягкий, хотя и насыщенный разнообразный колорит.

— Краски необычные, — сказал Постников. — Художник собирал речные камни, толок и замешивал на яйце...

Снаружи против церковной двери — каменный обелиск с крестом наверху, даты: 1582—1585 — годы похода Ермака.

— Ступайте, встаньте вон там, на взгорке.

Мы, недоумевая, отошли, встали, где было указано.

Неожиданно раздался низкий, густой звук — первый удар колокола! Это Постников, поднявшись наверх, принялся звонить, сначала медленно, размеренно, потом все быстрее, все веселее...

Спуская короткое время Постников подошел к нам и сказал, указав на большой пятистенок, окруженный хозяйственными постройками:

— Зайдите, поглядите там, я потом приду.

Изба перевезена из какой-то деревни, внутри воссоздан быт зажиточной крестьянской семьи.

Мне не раз случалось видеть музейные избы, но такой, до мелочей достоверной, не видела никогда.

Ни одна вещь в доме не *выставлена*, а обретается на положенном ей месте: самовар в окружении чашек на столе и керосиновая лампа под потолком, на кровати лоскутное одеяло, на стене рыночный коврик с лебедями, рядом — люлька, подвешенная на очепе, ткацкий станок с начатой работой, на стене ходики. Примета времени — две лубочные картинки первых лет советской власти: на одной — brave красноармейцы, на другой — женщина с серпом, в красном платье, красной косынке — и подпись: *Красная жница*. У русской печки полный набор кухонной утвари.

Пришел Постников.

— Ну, как?

— Потрясающе!

— Экскурсия была... Одна женщина шагнула из сеней в комнату — и отпрянула: «Ой, — говорит, — сюда нельзя: здесь живут!»

— Кто вам помогал?

— Никто.

— Но ведь кто-то же постелил на стол скатерть, на пол — половики!

— Я и постелил.

В просторных сенях по стене на гвоздях развешены серпы, подковы и многое другое, потребное в крестьянском хозяйстве.

— Были тут музейщики. Понацепляли этикеток — я все содрал. Да и не висело это так никогда.

— Но как же иначе показать всю мелочь?

Он пожал плечами.

— Пусть висит.

Мы с Виленским вернулись в избу — окинуть ее взглядом еще разок.

— Для него, — негромко сказал Виленский, — все, здесь собранное, — не музейные экспонаты, он знает здоровую крестьянскую жизнь, которая была прервана и, даст Бог, возродится...

На улице три мужика прилаживали расписанную цветами фанеру к фронту другой избы. Постников приостановился.

— Наши рабочие. Тут будет дом народного творчества.

Прошли мимо пожарного сарая с вышкой, рядом на телеге — пожарная бочка.

За нами увязалась дворняжка.

— Как зовут собаку?

Постников пренебрежительно махнул рукой.

— Это не собака. Трус. Чуть что — прячется. Выгнали, наверно. Вот, к нам прибилась — кормим...

Собака посмотрела умными глазами — и спряталась под сарай.

Чего никогда в жизни я не видела — так это старой деревенской лавки.

В ней есть все! Поражают разнообразие и сочетание товаров. Вилы, грабли, лопаты, косы, бочки и ведра; самовары, настенные часы в разнообразных деревянных футлярах, гармошки, утюги — всего не запомнила. У потолка, подвешенные за ушки, женские ботинки на каблучках и с пуговками. С потолка же свешиваются низки бубликов, баранок и сушек. На полках позади прилавка в тесном соседстве рулоны ситцев разных расцветок, сахарная голова в синей обертке, фотоаппарат, лапти, балалайка, детская лошадка и еще много всякой всячины.

На улице сеялся мелкий то ли дождь, то ли снег. Постников был в легком свитере, с обнаженной головой.

— Церковь наша недавно сгорела. — Он подвел нас к пепелищу. — Труба водопроводная замерзла, рабочий полез отогревать паяльной лампой... Мы новую заложили, освятили место.

Рядом с пепелищем — плита с выбитыми на ней стихами Льва Тимофеева — узника лагеря «Пермь-36». Тут же большой валун, оштетненный декоративной — в два пальца толщиной — колючей проволокой.

— Сейчас подарю вам кое-что.

Постников привел нас в контору (там была еще одна собака; «Вот это — собака», — сказал он), дал по пачке проспектов, листовок, буклетов.

— Будете с друзьями петь. — Постников, кажется, впервые улыбнулся, протягивая очередной буклет: это была песня на стихи Рылсева «Ревела буря, дождь шумел».

— Непременно!

Мы обратили внимание на два больших, вырезанных из дерева барельефа с изображением святых.

— Работа заключенного, — сказал Постников. — Сидит тут неподалеку в лагере, режет. Лагерь продает, ему сколько-то отчисляют. Есть еще интереснее, идите сюда.

В другой комнате он показал нам резной многофигурный барельеф. Первые два были чисто белые, а тут дерево, темно-коричневое у левого края, постепенно светлело к центру, потом становилось цвета топленого молока.

— Это «Страшный суд». Икона висела в церкви — ее опалило огнем.

Мы снова вышли наружу; по тропинке среди низкого густого ольшаника подошли к домику для приема гостей (Постников назвал его «забегаловкой»). Дом очень необычный: стены снаружи обиты корой какого-то дерева, крыт вплотную уложенными жердями, с края крыши свешиваются черные прутья, образуя навес, огороженный тонкими березовыми стволами.

Внутри — длинный стол, сработанный местными столярами, полированная столешница необычной формы: края плавно изогнуты, этот изгиб повторяет придвинутая к столу лавка. В одном торце комнаты — небольшое возвышение, там стоит пианино, в другом торце — камин.

Идем обратно. Обратили внимание на колодец: обычный сруб, на входе — ведро на цепи, но вместо железной рукоятки, вращающей ворот, — большое колесо, вернее, два колеса, соединенных между собой железными перемычками. Оказывается, вода тут на такой глубине (местность-то гористая!), что руками ведра не вытянуть; человек ногами перебирает перемычки — колесо вращает ворот.

Проходили мимо новеньких деревянных построек «под старину».

— От киношников остались, — сказал Постников. — Хотел разобрать, да передумал. В этом, — он указал на один из теремов, — откроем дом творчества для наших писателей.

Я задала вопрос, который давно вертелся на языке:

— Леонард Дмитриевич, у вас есть «Гуляй, Волга»?

— Есть.

Он привел нас к себе домой.

Прежде всего в глаза бросились полки с книгами — книг много. От двери увидела знакомый корешок.

Передав нас с рук на руки жене, Постников куда-то ушел.

Зоя Михайловна с первой минуты повела себя с нами, как со старыми знакомыми, вкусно накормила, напоила чаем с малиссой.

Живут они тут с Леонардом Дмитриевичем вдвоем (только они на всей территории музея).

— Не страшно?

— Бывает... Недавно из лагеря заключенный бежал, люди видели его неподалеку. А вообще-то привыкли.

Церковь сгорела, потому что саму ее освятили, а землю под ней — нет. Счастье, что рабочий — который с паяльной лампой — не сгорел. Леонард Дмитриевич в это время лежал на операции... Раньше он заведовал и спорткомплексом, и музеем, теперь остался только музей. Работы хватает...

В оговоренное время — минута в минуту — за нами пришла машина. За рулем Оля — дочь Постниковых. Вернувшийся Леонард Дмитриевич и Зоя Михайловна проводили нас до машины.

Дорога повернула раз, другой — и диковинная деревня скрылась из глаз; впереди — дымящие заводские трубы.

Директор завода Владимир Михайлович Уколов на удивление молод — ему 30 лет. Встретил нас приветливо, но слегка настороженно: явно опасался, что пришли просители. Но Виленский с ходу развеял его опасения, сделав директору конструктивное предложение, которое тот охотно принял. О существовании проекта распространяться рано, скажу лишь, что связан он с усадьбой Чукавино на Верхней Волге, переданной «Возвращению» для создания в ней культурно-благотворительного центра бывших узников тоталитарных систем, и, если задуманное осуществится, это будет на благо и заводу, и «Возвращению».

Настороженность исчезла, наша беседа длилась довольно долго. Владимир Михайлович рассказал, что на заводе работают 8 тысяч человек, раньше — 12. Когда-то от заказчиков не было отбоя, сейчас — проблемы со сбытом. Показал

нам альбом своей продукции: применяясь к новым условиям, металлургическому заводу кроме «родной» продукции приходится выпускать мягкую мебель. На заводе по крайней мере 200 лишних рабочих, но директор не увольняет их — другой работы в Чусовом они не найдут.

Ближе к вечеру у нас была встреча с Виктором Александровичем Шмыровым. Речь, разумеется, шла о проблемах и перспективах Мемориального музейно-архивного комплекса. Между прочим, скоро завершается строительство моста, тогда в музей не придется ездить через Чусовой, будет автобусное сообщение непосредственно с Пермью — всего 90 километров, появится возможность возить туристов.

Виленский пообещал передать некоторые подлинные документы и ксерокопии из архива «Возвращения» для экспозиции музея, освещать его работу на страницах журнала «Воля». Договорились о совместной издательской и экскурсионной работе.

Мы вновь на станции Чусовая. Глубокая ночь, ночь с 12 на 13-е. Поезд Нижний Тагил — Москва...

Сентябрь 1996 г.

Б

**Геннадий Куприянов
ИЗ ТЮРЕМНОГО ДНЕВНИКА**

Геннадий Николаевич Куприянов родился 21 ноября 1905 года в крестьянской семье в дер. Рыло Солигаличского района Костромской области. В 1925 году вступил в партию. Закончил в Костроме совпартшколу, преподавал в г. Солигаличе обществоведение, заведовал отделом пропаганды и агитации райкома партии. Окончил в Ленинграде Всесоюзный коммунистический университет. С октября 1937 года второй, затем первый секретарь Куйбышевского райкома партии в Ленинграде. С июня 1938 года первый секретарь Карельского ОК ВКП(б) (с образованием Карело-Финской ССР — ЦК компартии республики). На XVIII съезде партии избран кандидатом в члены ЦК ВКП(б), в 1940 году — депутатом Верховного Совета СССР двух первых созывов, депутат от Карелии. В годы Великой Отечественной войны генерал-майор Г. Н. Куприянов был членом военного совета 7-й армии, с образованием Карельского фронта — членом военного совета фронта. Действиям этого фронта он посвятил выпущенную Лениздатом книгу «От Баренцева моря до Ладоги». О партизанах, подпольщиках рассказал в книге «За линией Карельского фронта», изданной в Петрозаводске (два издания). 17 марта 1950 года Геннадий Николаевич был арестован по «Ленинградскому делу». В июле 1957 года по протесту Генерального прокурора СССР Военная коллегия Верховного суда СССР сняла с него надуманные обвинения, и он был реабилитирован. В последние годы занимался общественной деятельностью, много встречался с ветеранами войны, читал лекции в военных училищах, частях, в Ленинградском университете, в организациях по путевкам общества «Знание». Умер Геннадий Николаевич 28 февраля 1979 года — скоропостижно, дома.

Лидия Куприянова

ВЛАДИМИРСКАЯ ТЮРЬМА
1953—1954 годы

5/ХП—53 г.

*ст. 8**. Если конкретное действие, являвшееся в момент совершения его согласно ст. 6 наст. УК преступлением, к моменту расследования его или рассмотрения в суде потеряло характер общественно опасного, вследствие ли изменения уголовного закона или в силу одного факта изменившейся социально-политической обстановки, или если лицо, его совершившее, по мнению суда, к указанному моменту не может быть признано общественно опасным, действие это не влечет применения никакой меры социальной защиты к совершившему его.

Петрозаводск, 1941 г. Разговор с К. Е. Ворошиловым.

Сортавала, 1946 г. Почетный президиум.

Вдруг в 1952 г. признают опасным, преступным.

ст. 142. Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее за собой потерю зрения, слуха или какого-нибудь иного органа, неизгладимое обезображение лица, душевную болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со значительной потерей трудоспособности.

Лишение свободы на срок до 8 лет.

А вышибание зубов, повреждение рук, пляска на спине, скручивание «в бараний рог», т. е. прикручивание пяток к затылку, циничные оскорбления, угрозы? За это по этой ст. и ст. 109, 110, 115 ведь тоже надо бы судить?

А почему же они на свободе? И снова хамят и издеваются, хотя и поменьше, чем в 1950 г.?

21/VIII—54 г.

(...) *ст. 212, глава 18, с. 212 по ст. 220*.

В порядок обжалования действия следователя в ходе следствия. Все подробно предусмотрено. А я два года просил написать заявление в ЦК, хотел пожаловаться на бандитские методы следствия — не дали.

Я прокурора увидел через год и 7 м. после ареста, увидел в кругу моих следователей-садистов и пожаловаться не нашел нужным.

(...) *Правила:*

А. Заключение обязаны:

1. Беспрекословно выполнять все требования начальства.
2. Неуклонно соблюдать правила тюремного режима.
3. Быть вежливыми с начальством.
4. Вставать, когда входят начальники.

Б. Заключение запрещается:

* Уголовного кодекса РСФСР.

1. Свидание с родственниками.
2. Вступать в пререкания с начальством.
3. Нарушать тишину в камере.
4. Переписываться и перестукиваться.
5. Подходить к глазку.
6. Высовываться в форточку, взбираться на подоконник, вставать на койку...
10. Зачищать зубные щетки, ложки и т. д...
15. Производить выборы старост лавочных комиссий.
16. Правила прогулки: не пить, не курить, не писать на заборах, не переговариваться с соседями.

За нарушения все удаляются с прогулки, если даже совершил один.

(Ведь это круговая порука, заложничество — это цинично, это позор. Кто писал эти правила? Они полностью противоречат Конституции и УК и УПК, см. ст. 9 и др.)

Все правила унижают личность человека и наносят ему моральные и физические страдания.

...В самом деле. Навеки разлучить мать, отца с детьми, мужа с женой и запретить свидания! Что может больше принести моральных страданий человеку? И что может быть еще более бесчеловечным, не знаю. Кому нужна эта бессмысленная жестокость?

Ведь даже в фашистской Германии при Гитлере заключенному давали свидания 1 раз в месяц с первого дня ареста. Жена Тельмана жила с дочерью в Берлине недалеко от новой имперской канцелярии, где работал Гитлер. Ее никто не трогал, ежемесячно она ездила в Бухенвальд к мужу.

30/XI—53.

...Вечером делились воспоминаниями о методах следствия, о режиме в этой тюрьме до 51 года и от 51 года до последних дней царства Берии. В Берлине следователи говорили К. А. М.* , что вот когда мы придем в Западную Германию, мы прежде всего переедем весь партийный актив КПГ, потому что все там связаны с англичанами и американцами. Спрашивали и понуждали давать показания на Ульбрихта, Макса Реймана, Отто Гротевоя. К. А. М. много рассказывал о Германии, он член КПГ с 1919 г. Его мать-старушка — коммунистка с 1903 г. Он при Гитлере сидел 11 лет в тюрьме и концлагерях, с 1934 по 1945 г. Там кормили хорошо, гораздо лучше, чем нас кормят сейчас. Переписку с родными давали с первых же дней ареста, получать письма и деньги можно было сколько угодно и когда угодно и от кого угодно, не только от родных. Свидан-

* Сокамерник.

ния давали 1 раз в месяц. В лагерях было кафе. На следствии у нас один следователь сказал: «Напишите инициалы полностью».

До этого майора был другой, еще злее, он часто вытаскивал з/к в коридор за шиворот и там избивал. В 1948—50 гг. в камерах было холодно, бушлаты одевать не давали и не давали ими окутываться, народ страдал от холода, а врач-женщина приходила в камеру в валенках, пальто и теплой косынке и говорила: «Ничего, закаляйтесь, это вам полезно». А люди, посинев от холода, просили разрешения надеть бушлаты.

Однажды к зиме кладовщица выдала со склада з/к по несколько теплых вещей из своих личных. Вдруг последовал приказ изъять лишние вещи и оставить по одной только. В камеру буквально с гиканьем ворвались 6—7 человек сержантов и буквально срывали свитера, теплые белье, оставляя или носки, или жилет.

Майор — теперешний — получил звание карцер-майора с первых же дней пребывания в тюрьме.

Надо только представить, как эта плюгавая обезьяна в погонах майора МВД кричит, брызжет слюной, угрожает карцером, обзывает всяко академика за то, что он, г. майор, обнаружил пыль на карнизе шкафа. Примеров анекдотических много. Все они говорят о том, что администрация тюрьмы и надзорсостав смотрели на тюрьму как на свою вотчину и упражнялись в своих садистских приемах, кто как хотел.

С 5 по 25 декабря дневник не вел.

С 5 по 11 ехал через Москву, Челябинск, Магнитогорск в Верхне-Уральскую тюрьму. В Москве сутки был в Бутырской тюрьме, скандал с дежурной. Она хотела бить меня. Разговор со ст. л-ом о законах: «Я здесь закон».

1/1—54 г. Новый год.

Докончил письмо Г. М. Маленкову, сделал сам конверт из обложек 2-х тетрадей, склеил картошкой из супа. Написал адрес. В конверт вложил также и то заявление, которое г. майор вернул мне и не разрешил посылать в октябре 1952 г.

В камере холодно. Хожу в бушлате и мерзну. Один. На Новый год ничего не мог купить, т. к. деньги 75 р. из Влад. тюрьмы еще не перевели, а дети не знают еще моего нового адреса. Завтра месяц как в одиночке.

1950 год встречал в Москве в вагоне. Настроение было ужасное. Были Логинов, Кузнецов, Дильденкин.

1951 год — в камере 207 Леф. тюрьмы с И. И. Шнейдером.

1952 год — один в камере 211 там же.

1953 год — один в кам. 35 Владимирской тюрьмы.

1954 год — один в камере 48 В. Уральской тюрьмы.

Утром 1/1—54 г. Отослал письмо Розе. Вечером был офицер. Хотел снова отобрать чернила. Сказал, что в камере не холодно, нормально, и ушел, пробыв 2 минуты.

Этот офицер интересный тип. Он спросил меня 28-го, или нет, 31-го: 1) Верю ли я в Бога. 2) Умно ли я делаю, что объявил голодовку, сказал, что это метод антисоветский. Чудак: он творит антисоветские дела надо мной, творит произвол и беззаконие, а голодовка как протест против этого произвола, по его мнению, метод антисоветский.

24/VIII.

Голодовку продолжаю. Пошли 6 сутки. Написал и отдал заявление начальнику тюрьмы, спрашиваю: «Отослано ли мое заявление Круглову?» Принесли расписку, письмо отправлено только 23/VIII. Зачем? Почему держали здесь 5 дней, не отсылая? Почему? Где я? Неужели так поступают в советском учреждении? Сейчас подниму скандал. Приходил мл. л-т, парень умный и спокойный. Долго говорили мирно, он ушел, обещав кое-что.

Припомнились рассказы о зверствах.

В. в мае 54-го рассказывал: а) как заперли в одной камере 70 ч. Неделю не давали есть, не открывали дверь, не водили на opravку. Через неделю люди перегрызли друг другу горло, открыли камеру — нашли 70 трупов; б) как волочили за ноги на спине на работу все 3 км «отказчиков». Ноги привязали к саням, лошадь везет, а человек едет на своей спине и стучит головой по выбоинам дороги; в) голых привязывают к дереву. Комары и др. насекомые съедали человека за полсутки; г) зимой на севере обливают водой и замораживают.

А. О Сухановской карцерной тюрьме. «Научно обоснованная каторга». Кто оборудовал камеры этой тюрьмы, того надо повесить за преступления против человечности!

Абис — инвалидный лагерь, где 70 тысяч калек живут, ожидая смерти.

В 5-м отд. Интлага ежедневно чьи-либо похороны — 1—3 чел.

Рассказы Л-ино о положении в 1941—1949 годах. Бараки смертников. «Я сам по 2—3 суток лежал в обнимку с двумя трупами, чтобы получить их пайку хлеба».

Безмолвная комедия с добавками у кухни. Драка из-за селедочной головы, найденной в помойке.

Стройка ЖД на севере Урала. 2 ч. под каждой шпалой.

Обвал в каменном карьере «Инта», май 1952 г. Выстрелы конвоя без предупреждения. Ст. л-т Слинин, зав. баней Бушункин, Черняк, Бек-Мухамедов, Н. И. Гром, А. Косарев, Амисловская, Ира Соловьева, В. А. Соловьева, Акинин —

нач. колонны, Санка — китаец, Пархоменко — врач, Саша — румын, болгары — 3 человека, Виноградов.

Всех я видел в ИТЛ и по пути около 10 т. чел. Говорил о делах с четырьмя с половиной тысячами людей. Я приходил в ужас от размеров зверств.

14/Х.

Давно не писал. Мечты и надежды рушились. 9/Х получил ответ Волина «отказать». Ну что же, надо умирать здесь. За что? 9, 10, 11 и 12 писал заявления Хрущеву, Ворошилову, Маленкову. Хрущеву и Ворошилову послал в одном пакете. Оно ушло 13/Х. Маленкову пошлю 19 или 20. Оно еще лежит. Написал резко — 10 листов. В нем же пошлю заяв. Волину, прошу, скажите: за что? где? когда? каким способом я совершил преступление? какое? В приговоре этого нет, а ст. 319 и 334 этого требуют. Итак, все кончено. Очевидно, «факт», что я дал установку в 1946 г. не вводить Маленкова в состав почетного президиума, они считают доказанным. Больше не знаю фактов под ст. 58-10. Их мне даже в 1952 г. не предъявляли. Но этого факта не было, клянусь честью и счастьем моих детей. Но если бы и был, то где тут преступление? Неужели Маленков сам знает и согласен, что за это надо уморить в тюрьме генерала — секретаря ЦК, депутата, 30 лет честно служившего Родине. Да, дешевы у нас люди и дороги вожди.

19/Х.

...Упорно пишу «Детство», подвигается хорошо, каждый день 2—3 странички. К празднику закончу первую часть. Читал немного новую историю и журнал «Наука и техника». Факты садизма, зверств и бесчеловечности занову в особую тетрадь. Их использую в 3-й или в 4-й части «Воспоминаний» с заголовком «Так было». На этом закончится моя книга и, очевидно, моя жизнь. Ибо тот, в кого я так верил, кого свято и искренне уважал, не такой, как я его представлял. Человечность, благородство, честность, прямота — это у него, к сожалению, только слова. Верить больше некому, те многие-многие, кто понимает меня и сочувствует мне, не имеют такой власти, чтобы вырвать меня из когтей провокаторов, садистов, дегенератов и убийц.

Родина моя, как надо любить тебя, чтобы за все эти пытки, которые творят твоим именем, ни на секунду не перестать верить в твои творческие силы, в твой гуманизм, человечность и доброту, в твою справедливость. Ибо то, что творят твоим именем, — фальсификация. Нет, ты не такая, моя дорогая отчизна. Ты не такой, мой народ. Вандалы грязные и подлые — это не народ.

20/Х.

...Весь день, т. е. часа три — три с половиной, пока было чуть-чуть светло в камере, писал «Детство», первая большая тетрадь двигается к концу, причем я там пишу мелко-мелко и делаю в 2 раза больше строк, чем здесь, в этой тетради. К празднику закончу первую часть «Детства», затем комсомол, ЧОН, Кострома, Солигалич, Ленинград, Карелия, тюрьма. Покажу много людей — от рядового крестьянина-колхозника до пред. Совмина. Мои встречи со Ждановым, Кузнецовым, Маленковым, Сталиным, Ворошиловым, Кагановичем, Вознесенским, Хрущевым, Берией, Серовым, Кругловым, Димитровым, В. Пик, Марти Несси и др. Затем плеяда военных: Мерецков, Жуков, Конев, Буденный, Фролов, Желтов, Гориленко, Козлов, Щербаков, Никитин, Морозов, Клосс, Хрюкин, Новиков, Хрулев, Василевский. Затем банда следователей: Рюмин, Герасимов, Дворний, Мотавкин, Чекинов, Демин, их подручные садисты из сержантов и старшин. Я начал верить, что у меня получится, и работаю с увлечением. Даже пьеса «Мечь» и то понемножку двигается, а план ее так ясен. Г-н Серов будет главным действующим лицом. Абакумов — вторым, Рюмин — третьим. Черт с ними, пускай держат в тюрьме, если не убьют, то напишу все.

24/Х.

Воскресенье. Весь день писал «Детство». Написал 7 стр. Завтра закончу первую тетрадь, 93 стр., и начну вторую. К 1/1, может, и раньше, первый том — две части — будет готов. Рассказы Г. П.: как его били и пытали на следствии. Потом он сидел с одним здоровым американцем, того арестовали в Вене. СМЕРШ, там его пытали, подвешивали за ноги. Он чуть не ослеп. Потом сажали связанного в холодную, ледяную воду. Затем старик украинец Иваничко, 84 года, сидит по 58-10 ч. 1, сам не знает, за что. Две женщины в ИТЛ получили по 25 лет за то, что, молясь, просили Бога послать поскорей смерть за Сталиным. 58-8 через 19. Женщина Воронова отсидела с 1937-го по 1947 год за мужа (муж участвовал в 1925 г. в оппозиции). Она с 30-го года с ним в разводе. В 1947 г. освободилась, отсидев положенный срок. В 1950 г. за это же дали 25 лет. Девочка 17 лет, Сусанна, за участие в молодежной организации в школе, о которой она ничего не знает. План, детали, беседы с Серовым сегодня полностью закончил. Ваня Романов — «министр», «мамота» и др. в особую тетрадь. Это получится здорово и в пьесе, и в повести, и в «Так было». Если литературно у меня получится в начале и не все гладко, потом обработаю...

Говорил со вчерашним дежурным сержантом, который читал нам лекцию о том, что такое план и график, что такое

тюремная мораль. Нельзя только кожу сдирать. Это садизм. Остальное все можно. Вас ведь не убудет, если вас разденут и обыщут задний проход и рот. Не убудет, если вам номер нашьют на одежду. Не убудет, если наручники наденут, а кандалов у нас в тюрьме нет, и т. д. Я спросил его фамилию, он сказал, это для вас секрет. Вы этого никогда не узнаете. Я сказал, что хочу нарисовать его портрет. Он сказал: рисуйте. Потом снова открыл кормушку и спросил: а чем будете рисовать — карандашом или чернилами?

Здорово. Фамилия дежурного все еще секрет. Великий государственный секрет. Бандиты должны быть безымянными. Вечером читал Белинского.

25/Х.

...Я пишу и пишу, за письмом забываю все. Пишу, сидя на полу, поближе к лампочке, положил сапоги, на них бушлат, на коленях доска, чернильница на полу справа. Параша напротив, все удобства. Погода сегодня хорошая.

О садизме факты. В бараках на Северной Двине трупы детей переселенцев-выслатых. Подробности И. Вольфин. Какой ужас! Он уверяет, что так было.

28/Х.

...Меня уничтожат. И вчера лейтенант недаром так подробно «инструктировал», при каких условиях они бьют. Оказывается, что даже здесь, в тюрьме, можно это сделать, стоит, как он говорит, когда идешь в баню, побежать по двору, и сразу пристрелят. Он приводил массу примеров, когда, при каких условиях они стреляют. Раз десять назвал имя Маленкова, повторяя, что он знает все, что все делается с его санкции. Теперь дана команда не бить, ну, мы и не бьем, говорит лейтенант. Дадут команду бить, будем бить. Как обстановка сложится, и мы ведь, МГБ, работаем в зависимости от обстановки. Сейчас мы идем к коммунизму, поэтому в старых тюремных правилах кое-что отменили. Затем болтал об Аденауэре, Эйзенхауэре, о Молотове. Все это не поймешь зачем. Мы просим воздуха и света или смерти. А он читает политграмоту. Оправдывая садизм, произвол, бесчеловечность. Провоцирует на резкость. Идиот. Какой ужас! Как еще живут эти традиции Берии и его банды! Родина моя, и это творят твоим именем!

Факты из рассказов.

1) В Колыме отказчиков давили трактором, связанных клали на снег, и сам нач. лагеря вел трактор и давил, было задавлено 500—600 человек.

2) З/к Борисов рассказывал, что ему как врачу приказывали травить заключенных. Всех з/к от всех болезней лечили мелом. Это я слышал и в Воркуте.

3) И. И. Громм рассказывал, как хоронили и как он лечил нач. лагеря от сифилиса, и как он, начальник, заражал заключенных женщин.

4) Обливание холодной водой на морозе. Это я слышал много раз и по многим лагерям.

5) Восстание в Воркуте и на Колыме.

И еще много фактов. Запишу потом и подробно в особую тетрадь.

Сегодня отправил письмо в ЦК зав. адм. отделом. К вечеру перешел в новую камеру, 33. Это почти то же, немного, правда, светлей, но писать приходится так же на полу. Сидеть плохо. «Детство» пишу, продвигается неплохо, написано 24 стр. второй тетради. Писать и в новой камере приходится на полу.

Вандализм во Владимирской каторжной тюрьме (здесь записано все пережитое):

1) Срывали перевязку у раненых во время обыска.

2) Три раза в м. обыск с раздеванием и осмотром рта, зада и т. д.

3) Рубашку свою надеть снизу нельзя, идя в уборную, срывали.

4) Врывались и отбирали свои вещи, «ошибочно» выданные кладовщиком, оставляли по одной, носки или рубашку.

5) Бушлатом нельзя окутываться и надевать, когда люди замерзали и умирали от простуды.

6) На окно нельзя положить коробку спичек.

7) Кашлять в коридоре нельзя.

8) В уборной отбирали обратно бумагу и наказывали, если взял бумагу и не оправлялся, зачем взял?

9) Вынимали бумагу из очка, промывали, изучали, вызывали того, кто подтирал жопу этой бумагой.

10) В карцере бил сам майор.

11) Питание: люди еле ходили в 1947—1953 годах.

12) Пытки в карцере с участием врача Скоробогатовой.

13) Сталкивали со стульчака в уборной.

14) Издевательство в карцере (см. особую запись).

15) Команда, как трясти одеяла. То один, то двое.

16) Деревянные решетки на форточках.

17) Не ложиться на скамейку на прогулке — уводят с прогулки.

18) Чернила и ручку на ночь забирают.

19) Ночью будят по 5 раз.

20) Писать три с половиной года мне не давали. Сейчас одно письмо в месяц.

21) В одиночке табак стали давать с 15/II-53 г. 6 пачек мах. и 4 коробки спичек. Спичек не хватало, «норма».

22) Отбирали табак, если много накупишь.

23) Мою камеру запрещено было проветривать.

24) Газету давали двухмесячной давности.

25) Рецепт врача утверждался начальником, и он отменял часто.

26) Били ногами при обмороке на полу.

Издательства моральные и угрозы:

1) «Связать и выбросить в карцер» — 2 раза нач. Журавлев.

2) «Дойдешь до ручки, будем носить на прогулку, у нас много таких».

3) «Переписки с семьей вам никогда не разрешат, забудьте об этом» (майор).

4) «Вы враг, заговорщик, вас надо уничтожить, подохнете у нас в тюрьме».

5) «Чего вам еще надо: хлеб дают, в баню водят, постель есть, живите себе, торопиться некуда, срок большой».

6) «Мы не можем передать вашей жене столько вещей, вы вздумаете ей каждый день посылать посылки» (майор).

7) В марте 53-го отобрали ручку и перестали давать газеты.

8) На прогулке не давали греть ногу на солнце.

9) «Не болтай» — это еще и сейчас слышишь ежедневно.

10) «Захотим и хлеба не дадим, будешь сидеть голодный» (лейтенант, 11/XII в камере № 6, корпус 4).

11) «Вас не убудет, если обыщут рот и задницу» (сержант, 24/XII, к. 6, к. 4).

12) «Сажали и будем сажать в карцер. Били и бить будем. Нам теперь разрешено».

30/X.

Вчера с половины дня скручивали и били какого-то молодого мужчину. Он кричал, ругался. Его принимались бить несколько раз.

Сегодня с утра били женщину, она страшно кричала и плакала в коридоре. Связали и бросили в камеру. Камера напротив нас, она громко плачет в камере, по временам у нее открывают форточку и грубо кричат, требуют, чтобы перестала плакать. Я не могу. Нервы возбуждены, начинаю стучать в дверь. Приходит врач Герта. Она вежливо просит меня успокоиться. Это единственный человек в тюрьме, которого я уважаю. Бьет не она, эти бандюги в погонах. Я, сдерживая себя, перестаю стучать. Никого другого я бы не послушался.

1/XI—54.

Ночь, около трех часов. Я спал. Г. П., страдая бессонницей, читал книгу, лежа на койке. Вдруг этот садист, брат Ваньки

Каина, закричал на него, открыв форточку: «Читать ночью нельзя». Я проснулся от этого крика. Сейчас не сплю и пишу эти строки. Что ему надо? Что убьют от того, что человек тихо лежит и читает?

Плачущая женщина не выходит у меня из головы. За что ее били? Что она могла сделать этим мерзавцам? Если бы я не знал, что Вера уже дома, то крик этой женщины принял бы за ее крик. Верусенька, милая моя, неужели и тебя били эти палачи? А что с них взять?..

6/XI.

Сегодня заходили подполковник из тюремного отдела области и г. майор. Подполковник начал меня ругать за то, что я ругаюсь с надзорсоставом, обещал посадить в карцер. Типичный дегенерат, ничего больше не знает, кроме угроз и пыток. Завтра нас лишают прогулки. За что? Во имя чего? Написал заявление, объявил голодовку в знак протеста.

Весь день писал «Так было», в 3 тетради уже 65 стр. По Конституции у нас есть свобода слова, ст. 125, свобода совести, ст. 124.

И я не пойму, как это можно при этом сажать людей в тюрьму за слова, которые вовсе не направлены против основ советского строя и не призывают к свержению Советской власти? Судить за слова, которые кому-то не понравились, вспомнить через 4 года, что ты кого-то в почетный президиум не ввел. Это просто какое-то мракобесие. А свобода совести?

Я считаю, например, что Серов такой же бандит, как и Берия. Это мое убеждение. Пусть я даже не прав, но зачем же меня сажать? Мы можем по-разному оценивать их действия. То, что они считают нормой, я считаю садизмом.

Ночь с 6 на 7 ноября 1954 года.

Сию, пишу, спать не могу. Мысли мои там, далеко, далеко, в городе Ленина. Большой проспект, 33-а, кв. 38. Там сейчас тоже не спят. В одной комнатухе 7 человек думают и говорят обо мне. Сегодня они получили мое письмо. Галка перечитывает мое посвящение. Неужели я не увижу их? Кажется, да. Трудно мириться с этой мыслью. Но что сделаешь? Меня все-таки уничтожат. Или доведут до такого же состояния, как Г. П., и тут проявят «милосердие» и за месяц до смерти выпустят по болезни. Генка ушел служить в армию. Где-то служит Витя? Костя, наверно, обиделся за письмо.

В общую камеру боятся переводить. Хотят угробить без свидетелей.

Далеко-далеко мое счастье, не вернется оно никогда. Что думают палачи и тюремщики, когда убивают или изводят

людей? Неужели так сильна эта животная страсть убивать людей? Может ли человек отрешиться от нее?

А все-таки много интересных типов прошло на моих глазах. Придется в IV томе кое-кого типизировать, всех не передашь.

А что, может быть, мне удастся передать ту еле уловимую красоту человеческого горя, которую еще не скоро научатся передавать и описывать и которую сейчас умеет передать только музыка? И, может быть, Белинский второй половины XX века скажет о моем произведении так же, как сказал неистовый Виссарион в 1845 году:

«О, это страшный и мстительный художник. Как глубоко и верно измерил он неизмеримую пустоту и ничтожество людей, обagrивших руки в крови невинных детей и создавших себе имя, состояние и благополучие на потоках крови, слез, горя и страданиях народа».

27/XI.

С 16/XI по 26/XI был в карцере. Сейчас еле жив. Писать не могу. Жутко, что делали со мной в карцере. Очухаюсь, запишу все.

29/XI.

10 дней в карцере унесли много лет жизни. Писать не могу.

30/XI.

Сегодня немного легче. Начну по порядку. В 3 часа дня 16/XI велели собраться со всеми вещами, казенное оставить. Быстро собрался. Куда? Может, в Москву? Тепло простились с Г. П. Цейтлин. Уводят. Привели в карцер. Сам г-н майор руководил экзекуцией водворения в этот подвал. За что? Пел песни, не пошел на оправку по графику, оскорблял старшину, ночью читал книгу.

Банда с криком и гиканьем содрала одежду. Оставили босиком и в нижнем белье. Связали, кляпом заткнули рот и били лежачего сапогами, потом, как барана связанного, лежа на полу, остригли, и когда стригли, то тот, который держал, стучал головой о пол и приговаривал: «Видать птицу по полету. Ну, у нас не забалуешь». Босиком я был четыре с половиной часа, затем дежурный следующей смены в 8.30 вечера, молодой, хороший парнишка, сжалился, надел на меня тапочки.

Связанный лежал 6—7 часов. Приходила Скоробогатова, посмотрела пульс, велела затянуть крепче: «Ничего, вытерпит». Затянули туже, сменили кляп. Сразу объявил голодовку, требовал прокурора. 21/XI, на шестые сутки начали кормить искусственно. Ослаб, начались рвоты. Утром 22/XI пришли двое, за голову и за ноги сбросили на пол. Толчан

унесли. 21/XI был мой день рождения. Я невольно вспомнил, как справлял свой день рождения Ж. Дюкло в тюрьме капиталистической Франции. Мне тоже захотелось... шампанского, которое он пил с друзьями, которые пришли к нему в гости в камеру.

На десятые сутки решил кончить голодовку. Боялся заворота кишок. Рядом с карцером стояли мои вещи. Там были сухари и сахар. Попросил дать несколько сухарей и 2 куса сахару. После вливания соленого раствора сильно мучала жажда. Не дали, приходил офицер, сказал: «Не положено, вот положено хлеб и вода, и ешь, а нам нет дела до твоих кишок». Но ведь я прошу свои сухари? Все равно не дадим. Разве это не пытки? Это пытка голодом. Холодом. Бессонницей. Плюс избиение и пытка связыванием, пытка кляпом. За что? Неужели в самом деле все это утверждено правительством, как они говорят? Ведь пытки отменила Екатерина II в 1764 г. Нет, это просто Берия жив, и банды его действуют.

Сейчас страшно болит голова, едва владею руками. Еле дышу — одышка, рвота, болят бока от побоев, совсем расстроился желудок. Да, это попытка меня уничтожить. Майор все искал повода и провоцировал на то, чтобы я его ударил. Это прием гестапо. Я не пойду на эту провокацию. Руки не стоит марать о такую полицейскую мразь. Пусть душат, все равно подыхать. Раз уж наметили они меня уничтожить, то уничтожат.

11/XII.

Сегодня не водили на прогулку. Мы пожаловались дежурному офицеру. Пришел лейтенант, тот самый, который 27/X говорил, что с разрешения правительства они били, калечили и даже убивали заключенных. И впредь будем это опять делать, сейчас нам снова это разрешили. Сегодня он отчетливо сказал: «Захотим и пайки лишим, будете сидеть голодные».

Страшал карцером. Хотел отправить сейчас же. Федор Яковлевич разнервничался, стал рвать на себе волосы, заплакал. Вбежала банда, 4 ч., и хотела его отвести в карцер. За что? Его величество г-н лейтенант не хочет видеть, как при нем плачут и рвут на себе волосы. Так он и сказал: «Я не потерплю, когда при мне падают в истерику, вот я уйду, сделайте это сколько угодно».

...Писал «Юность», написал 8 стр. Да прочитал книгу епископа Брауна «Коммунизм и христианство», сделал из нее несколько выписок. Выиграл две партии в шахматы. Газету «Правда» читаем ежедневно. Сегодня читали за 10/XII.

В общем, время идет не бесполезно. Если я так буду писать «Юность», то второй том «Так было» будет готов в феврале к концу.

21/XII.

Сегодня особенно сильно били кого-то в карцере. Он, бедный, кричал, плакал, звал на помощь. Это ужас. Стоны и плач истязуемых сводят с ума. Мы с Ф. Я. не выдержали, начали стучать в дверь. У меня начался сердечный припадок. К нам зашел офицер и «разъяснил», что человек, которого скручивали, это «неисправимый бандит», что он заслуживает того, чтобы его били и скручивали. «Это человек безнадежный, — изрек офицер. — А мы и впредь будем таких наказывать».

Боже мой. И это у нас, в советской стране, на 38-м году пролетарской революции.

Я тоже, значит, безнадежный. Раз меня бьют и скручивают. Да у них решено: живым меня они не выпустят — или уничтожат, или я сойду с ума.

Прощай, Галиночка. Едва ли я увижу тебя.

№ 3

ЧИСТОВАЯ РУКОПИСЬ

Начата во Владимирской тюрьме в сентябре 1954 г.
или в августе

«Мое помещение показалось мне раем. Это была чистенькая комнатка, походящая более на отдельную больничную палату, нежели на каземат. Только железные решетки напоминали, что это арестантское помещение Петропавловской крепости. Теплое чистенькое помещение, хороший воздух, новая железная кровать с новым же тюфяком, покрытым чистой простыней и байковым одеялом... соблазнили меня, и я сейчас же заснул».

«Обед состоял всегда из двух блюд: щи или суп в виде похлебки с нарезанными мелко кусками говядины, и каша, гречневая или пшенная, причем хлеба приносили вдоволь. Ужин же состоял из одного горячего. Для питья был вдоволь квас или вода по желанию. Пища всегда была свежая и сытная».

«Парашу выносила прислуга и приносила умываться».

«Комендант крепости генерал Набоков ежедневно сам обходил камеры. Принимал жалобы и заявления и решал вопросы сам».

«Спал ночь и еще после обеда».

«Обращались очень вежливо».

*Достоевский.
Воспоминания об аресте и пребывании в
Петропавловской крепости в 1849 году.*

А теперь я опишу 1950 год. Лефортовская тюрьма.

ДЛЯ ПОВЕСТИ И ПЬЕСЫ

Арест

1) Семья состоит из 4-х человек. Муж, жена, девочка 3 л., мальчик 7 лет, их дети. Прислуга живет у них 10 лет. Мужа арестовали днем на работе, жену ночью. Утром приехали за детьми. Взяли мальчика. Он пытался спрятаться за Надю. Она взяла девочку на руки, мальчика закрыла собой. Грубо оттолкнули Надю, схватили мальчика. Девочка обвила ручонками шею Нади. Плач детей. Надя умоляет оставить ей девочку. Ничего не помогает, силой взяли детей, увезли. Надю сразу же выгнали из квартиры. Квартиру занял работник МГБ. В квартире 3 комнаты. Он и сейчас там живет. А где муж? жена? их дети? Кто знает?

2) Детский лагерь на 6 тыс. человек. Это дети «врагов». Ребята грязные, худые. Их заедают вши. Одна смена белья. Пока прожаривают белье, ребята сидят голые на сквозняке. Смертность ужасная. За 2 года из 6 тыс. осталось 2 (из рассказов врача).

3) Врач служил в своей больнице и при немцах. Получил за это 25 лет. «Я виноват, что не уехал. Надо было бросить все, я пожалел больных. Можно бы мне дать и 10, хватило бы». Украина — Воркута.

4) Врач, военный, из Мурманска. В 1925-м голосовал за резол. оппозиции. В 1950-м за это получил 25 лет. Имеет 5 орденов.

5) Шульгин, его рассказы. Живая история России. Его приезд в 1928-м в СССР нелегально.

6) Бессонов. Жанд. полковник. Подхалим ужасный, его особенно опекают современные жандармы. Особый паек и т. д.

7) В Орле 1937 г. в тюремный двор въезжала машина пионеров, и они кричали: «Смерть врагам народа!»

8) Мать и дочь Соловьевы встретились в лагере. Ира не узнала маму. Они не виделись 3 года. Арестовали порознь. Им не дали жить в одном лагере, узнали — разъединили.

9) Сын одного ответственного работника Юра сидел со мной в 5 отд. «Инта». Ему 24 года. В 52 г. Сидит с 1948 г. Отец в другом лагере. Юра отбыл 40 суток Бура за то, что хотел послать письмо отцу. Тысячи детей спрашивают: где мой папа?!

Моральный садизм

а) «Не хотят писать вам, мы не виноваты». А письма рвут.

б) Садистка-женщина в 8 Ур. сказала: Клюсс ваш подход, тем более зачем его вспоминать.

в) «Ваша жена не находит нужным отвечать на ваши письма».

г) Письма и фото не давали в камеру, сразу отбирали.

д) Конфискуют письма и не говорят — мы не обязаны.

Эпизоды

1) Александровский централ у Иркутска. 70 км. Одиночки холодные, сырые. Карцер ужасный. Группа людей едет из лагерей на волю. Их везут в этот централ, сажают. Они протестуют, им говорят: есть указание держать вас в тюрьме. Чье? За что? Срок? «Не знаем».

2) Женщины, полячка и немка. Рядом в камере он. Переговоры в щель около печки. Затем женщин уводят в карцер.

3) Гадание женщин из надзорсостава.

4) Грязь и разврат начальников и надзирателей.

5) Смертность. Есть ли кто из тех, кто выдержал 25 лет?

(Из рассказа очевидца, проб. там 5 лет.)

Эпизоды

К главе IV тома «Тюремные врачи»

1) Владимирская особая. 1952 год. Нач. санчасти майор. Входит в камеру, где сидят полковник, академик, архитектор, артист, ст. лейтенант и дипломат. С ним проверяющее начальство из Москвы. Закуривая папиросу «Казбек», нач. санчасти говорит: «Кто найдет и покажет мне хоть одну вошь, тому дам папиросу «Казбек». Ему ответили: «Гражданин начальник! Когда найдем — подарим вам ее бесплатно».

2) Сестра: «Воши есть? Ой, это не вам! Ну да все равно».

3) Скоробогатова в карцере при искусственном кормлении. Это палач в белом халате. «Ничего, вытерпит!»

4) «Мы вам не будем оказывать никакой мед. помощи. Вы плохо себя ведете». Сестра-размазня.

5) Лефортово. В подвале врач-женщина пнула меня ногой в зубы. Лежачего. До крови разбила морду. А пришла помазать йодом руки и ноги, т. к. после очередной пытки у меня была содрана кожа на руках и ногах. Это врач Маша, молодая. По званию капитан.

6) Операция гланд. Перехватили сонную артерию. Человек — калека.

7) Нач. санчасти 5 отд. «Инта» дурак, каких мало. Партию женщин отправляют в другой лагерь. Идет санобработка. Он приходит проверять. На выдержку берет нескольких женщин. Сам подходит, поднимает подол. Если есть панталоны, приспускает их и смотрит, острижены ли волосы вокруг...

8) Лунц Даниил Романович — типичный следователь-провокактор. Задает вопросы с явной целью, чтобы человек

хорошо о себе сказал, и сразу же приписывает «манию величия».

9) Мария Леонидовна. Как прекрасно она умеет лгать. Это искусство лжи доступно только проституткам.

См. записи об институте.

10) Кира Алексеевна Овчинникова — врач Бутырской тюрьмы. Она типично лжет, сегодня говорит одно, завтра — другое. Свободно и подчеркнуто бравирует своим садизмом: «Нас ничем не разжалобить, мы чекисты, мы всего видали». Она ст. л-т (госбезопасность) медслужбы. Среди врачей-садистов эта сопля занимает видное место.

Врачи Ленинградской психбольницы в противоположность тем, что отмечены выше. Надо показать вдумчивых и добросовестных врачей. Леонид Алекс. Калинин. Лидия Александровна (отд. 1), Мария Васильевна (терапевт). Сестры: Екатерина Георгиевна, Зоя Николаевна, Анна Григорьевна.

З а м е т к и

Один заключенный, получив приговор, в котором не было указано, за что он осужден, стал звать начальство, чтобы ему объяснили. К нему не приходят. Он сошел с ума и залаял собакой.

Жене одного ответственного работника сообщили, что муж ее умер в Горьковской тюрьме. Она не знала о нем ничего 12 лет, с 1937-го по 1949 год. Получив извещение, она сошла с ума.

Жена и дочь одного отв. работника были в ИТЛ. Жена — врач. По ее просьбе дочь устроили санитаркой в лагерной больнице. Нач. лаг. отделения и солдат охраны изнасиловали обеих. На крик сбежалась охрана. Нач. выгнал врача и дочь на общие работы — лес рубить. И сказал: «Не кричите громко, когда начальство хочет... оказать вам внимание». На них были порваны платья, они лежали на полу, руки им крутили. Начальнику ничего не было.

Кражи продуктов у заключенных — явление вполне обычное. Это делают многие из охраны.

1937 г. По р. Печоре пришла баржа, в ней 1600 чел. Все интеллигенция. Многие босиком. Им дали топоры и велели строить бараки. Пока жили под открытым небом. В первую неделю умерли 600 чел. За 2 мес. остальные. Пока строили бараки, из этой партии никого не осталось. Привезли еще партию.

На Новой Земле в 1945—47 гг. умерло 75% первоначального состава з/к.

Э п и з о д ы

1) Начальник обл. энерго одной области С. И. — ученый. Много писал в газетах и журналах по вопросам энергетики.

Читал лекции в институте. В 1950 г. его попросил заехать к себе начальник МГБ области. Вежливо разговаривал о посторонних вещах. Потом пригласил позавтракать. Угощал коньяком, икрой. Завтрак закончили, и нач. МГБ, генерал, сказал: «Ну, а теперь к делу», — и начал лупить инженера-ученого. Бил долго, до потери сознания. За что? Никто не знает. С. И. и сейчас сидит здесь во Владим. Домой из гостей, конечно, не отпустили.

2) Разговор Берии с Багировым. По телефону.

— Ты мало вчера отгрузил нефти? Сколько вчера расстрелял саботажников? Мало? Надо стрелять больше.

3) Берия расстрелял в Грузии авторитетных большевиков: Марию Орчилашвили, Гигичкори, Германа Голблишвили, Стурау, Севу Кухалемшвили, Элиава Шалву и др.

4) 35 тыс. харбинцев вернулись на Родину. Им сказали: «Родина вам все простила». Теперь все они в лагерях. Какой мерзавец тот, кто злоупотребил святым именем Родины.

«Лучше прощу десять виноватых, чем накажу одного невинного».

Екатерина II

«Усиленная строгость законодательства в поддержании общественного порядка не говорит за то, что общество пользуется достаточным порядком, — как раз наоборот. Чем прочней власть, тем мягче законы. Жестокость никогда не является признаком прочности, силы и авторитета. Жестокими бывают только мерзавцы и трусы».

К. Маркс

Материалы

Самолеты на службе МГБ.

Сашка Румин, начальник полиции Бухареста, был арестован в Бухаресте. На самолете привезли в Одессу, и там 2 мес. никто не допрашивал. Везли одного, в наручниках.

И. И. Шпиндер из Тайшета. Везли в Москву на самолете. Тоже одного и тоже в наручниках. В Москве держали месяц. Никто не допрашивал, а потом обычным этапом отправили в Воркуту.

Я знаю сотни фактов, когда з/к возили на самолетах без всякой надобности. Зачем они, мерзавцы, тратят деньги на это? Что можно позволить только при совершенной бесконтрольности в расходовании народных денег. А кто их проверит?

Один старик з/к говорил, задавая мне вопрос: «Тридцать четыре года газеты заняты только тем, что рапортуют насчет хлеба, там-то и там-то выполнили план. Сталину рапортуют,

Маленкову рапортуют! А при царе я сроду не слышал, чтобы рапортовали. И чего-чего, а хлеба было вдоволь».

Изречения следователей

1. «Захочу сделать из тебя римского папу и будешь римский папа!»

2. Прокуроров все следователи называли телятами. «А кому нужны эти телята?»

3. Четырехугольный резиновый жгут ходил из кабинета в кабинет. Один следователь приходил к другому и просил одолжить на время — выколотить кое-что из своего подследственного.

4. Ключик от стола. Стоит и бьет по рукам з/к.

5. Пресс-папье держит над головой з/к, который сидит и подписывает протокол допроса. Если замедлил подпись — следует удар ручкой пресс-папье. Один раз не рассчитал и пробил череп. Лужа крови. Прибежал врач, забинтовали.

6. Царапанье дверей камеры ключом ночью.

7. Мольба о спичке.

8. Каждый раз он подсчитывает листы дела, стараясь увеличить и довести до 100. Меньше 100 — это не дело.

9. Под утро компания следователей уходит в буфет, возвращается навеселе и компанией рассаживается в кабинете, и начинается показ действия рефлексов. Опыт проводится над заключенными. С выкриком «Оп-ля!» наносится двойной удар рукой и ногой одновременно. Эти упражнения веселят пьяную банду.

10. Рубящие удары по уху.

11. «Как он у тебя растолстел, посмотри, какие ноги». А ноги з/к опухли.

12. Ночные выкрики истязуемых женщин: «О мама, мамочка!» А голос следователя: «Выбросить ее на мороз и посадить голой задницей на снег».

13. Топот сапог — впечатление, что идут бараны. Стук запоров. Шум перед камерой.

14. Регулятор движения по тюрьме с флагами.

15. «Твой орден — говно», — говорили всем з/к.

16. Бланки на высылку семей — где вечная мерзлота. «Подписывай, или вся семья завтра поедет в ссылку».

Перенести старые записи 1952 года сюда, та тетрадь истрепалась.

Следователи во время пересмотра дела в 1954 году (Демин и Чекинов)

1) «Тебя били не за то, а за это», — Демин.

В общем, «пороть надо, конечно, по закону, но пороть».

Пуришкевич.

2) Рассказы Демина о том, что делают заключенные ножи, отмычки и т. д. «Ужас». Дурак. И как один з/к приучил мышь, и она с запиской на хвосте бегала в другую камеру и приносила ответ. Можно ли что глупей придумать?

3) Где ваша дочь была в ссылке? Я ответил: «В Иваново!» — «Ну, это не ссылка», — сказал прокурор-полковник Васильев.

Неужели ребенка надо ссылать на Колыму?

4) «Ваша жена не находит нужным отвечать на ваши письма», — Чекинов.

5) «Ваша дочь не нуждается в ваших советах, куда ей поступать учиться», — Чекинов.

В кабинете Серова

4.04.54 г. меня взял под конвой сам начальник тюрьмы, подполковник Таланов. Привел в вестибюль у приемной министра. Когда я вошел в кабинет, я узнал кабинет Круглова. В нем я бывал. Последний раз вместе с Виролайненом. Мы были у Круглова в декабре 1948 года. Говорили о переселении финнов в Карелию. Но за столом сидел не Круглов, а какой-то пожилой седоватый мужчина. Это был г-н Серов (я его не узнал, о создании КГБ я тоже не знал, газет с 1 января 54-го не давали). Он грубоватым голосом предложил мне сесть на стул против маленького столика, стоящего впритык к большому письменному столу, за которым восседал сей бдительный страж государственной безопасности. Разговор шел 35—40 минут. Он ругал меня, зачем у нас в семье был мой гипсовый бюст. Тот, что Манизер подарил Галке. «Твой родные могли смотреть на тебя и спереди, и сзади, и в профиль, и в анфас», — и при этом хихикал, напоминая мне кривого рулевого из «Летучего голландца». «Ты говорил в лагерях, что Жданов убит», «Ты говорил, что Бухарин и Радек были умные люди», «Ты не настоящий генерал», «Ты случайный человек в партии». Вот его изречения. И главное: зачем я в ИТЛ назвал свое прошлое звание и место работы. За это он больше всего меня ругал. А я не понимаю, зачем я должен лгать? Его рисунок передо мной — «Я повелеваю громом и молнией», «Я команду партией», «Я определяю, что самокритика, что преступление» — вот что сквозило во всей его интонации, манерах, голосе, да и в самом содержании его речи. Он цинично говорил о моей семье. Цинично изображал, как колонны з/к из б. генералов гонят на работу. Обо всем этом я написал в ЦК.

Серов в моем представлении после этого свидания — это грязная политическая проститутка, возомнившая себя гением. В СССР все подчинено ему, все трепещут перед ним, все молятся на него.

Дурак, а еще генерал!

«В тюрьмах Польши томилось почти 30 тыс. поляков, украинцев, белорусов, евреев. Бывший министр юстиции Грабовский ввел в тюрьмах особо большие строгости к политзаключенным. Он разрешил з/к получать из дому по 1 кг хлеба в две недели».

*Молотов.
Доклад на сессии
Верховного Совета СССР,
октябрь 1939 г.*

30 тыс. чел. к населению Польши составляют 0,1%. (Как бы я был рад, если бы мне в 1950—53 годах приносили из дому 1 кг хлеба хоть 1 раз в месяц. — Г. К.)

Типы заключенных

1. Арон Пирхосович Токарь, 37 лет. Еврей, подполковник, в армии с 1934 года. До армии техник сахарного завода, комсомолец с 1930 года. Коммунист с 1936 года. Работал в наградном отделе Главного управления кадров Сов. Армии у Голикова. Арестован за то, что по заданию Главного П. У. Сов. Армии дал сведения о героях Сов. Союза еврейх в газету. Безусловно, честный человек. Часто плакал. За что? Дома жена и дочь 12 лет. 50 г. К. 23.

2. И. И. Шпендер, еврей, 60 лет, б/п, за связь с Айседорой Дункан, которая умерла в 1927-м в Париже, и МГБ «имело данные», что она была шпионкой.

3. Александр Николаевич Банков, 32 лет, шофер Василия Сталина. За разговоры о своем хозяине. По бабьей линии.

4. Леонид Алекс. Амчеславский, еврей, 50 лет, толстый. Адмхозработник театрально-концертного бюро. За неверие в победу.

5. Ваня Романов. «Министр», «Малюта Скуратов».

6. Саша Косарев, Иван Николаевич Новиницкий в группе Романова.

7. Полковник Клименко. Ткаченко. ИТЛ.

8. Иванов Сергей Трофимович.

9. Бек-Мухамедов Анатолий.

10. Бесчастнов — философ.

11. Вирбулис — воробей.

12. Доктор — пастор.

13. Бушункин.

14. Амчеславская.

15. Акинин — врач.

16. Витя Серышев.

17. Цейтлин Б. П.

18. Жигалов.

19. Штельцер Г. Г.

20. Коряляков (антипартизан).

21. Парин В. В.
22. Александров.
23. Кутепов П. А.
24. Мюллер К. А.
25. Вольфин.
26. Седаикис — грек.
27. Григорьев — стукач.
28. Горбатов Сеня.
29. Крюков Коля.
30. Томашевский Гриша.
31. Генерал Плюснин, группа — 9 генералов и полковник.
5 лет вели следствие. С 1941-го по 1046 гг.
32. Подполковник Козлов.
33. Капитан Певзнер.
34. Пиотровский со Львова.
35. Губарьков В. С. — маньчжур.
36. Капитан Такиока — японец.
37. Зея Абдул-Хаким-Кирым-Оглы — египтянин.
38. Петя Курочкин.
39. Ласло Филлер — мадьяр*.
40. Калев А. К. — эстонец.
41. Приходько Ф. А.
42. Стрельников В. Ф., старик, 72 года.
43. Попов Ф. П.
44. Васильев Ф. В. — Шуя, рабочий.
45. Кварин М. А., белорус.
46. Буринчик Лука Вас., друг юности М. И. Калинина.
47. Кириллов — псковский.
48. Безрук В. А.
49. Косолап М. М., репрессирован второй раз, был церковным старостой.
50. Синицын В. В., инвалид, нет правой руки, поэт, пишет стихи. Сам Смоленской обл.
51. Иванченко Г. — уголовник, инвалид, ранен при попытке к побегу.
52. Карташев В. М., юрист, Москва — 25 лет за связь с немцами.
53. Максимов В. Н. — русский финн. Родился в Финляндии, отец — политэмигрант. Был близок с художником Репиным. Служил в Генштабе финской армии. Арестован в Финляндии по требованию СКК — 15 лет.
54. Исмаилов Ибрагим — кавказец.
55. Гропер — немец, гражданский человек.

* См. № 64.

56. Варшауэр Л. — немец, гр.* в нашей зоне, арестован, приехал из западной зоны в гости. Дали 8 лет по подозрению в шпионаже.

57. Майно — министр нар. образования Маньчжурии.

58. Мин — японец, дипломат, дипкурьер.

59. Ю-джи — генерал-лейтенант, китаец, чанкайшист.

60. Косути, л-т, японец.

61. Като, генерал-майор полиции, китаец.

62. Лео Патаридзе, грузинский меньшевик, был в составе правительства Ноя Джордания.

63. Бела Ковач — лидер партии земледельцев, депутат венгерского парламента, статс-секретарь в правительстве Ракоши и министр земледелия в правительстве Надь — Ференца. В 1948 году арестован, дано 25 лет за подготовку заговора. Следствие вели в Вене, потом в Москве.

64. Филлер Ласло, член католической партии, член парламента. Бургомистр Будапешта. Арестован в 46-м году за речь в парламенте по вопросам внешней политики, ориентация на Запад. Дали 10 лет. Интересна процедура ареста. Приехали домой, попросили сойти вниз, потом попросили в комендатуру. Оттуда не вернулся.

65. Француз Юан-Бери де Креппер. Взят в плен немцами. Лагерь пленных французов немцы разместили во Владимир-Волынском. Наши этот лагерь освободили. Он уехал во Львов, там женился на своей двоюродной сестре. Поехал в Москву в 1946 г., чтобы получить визу во Францию. Но здесь его арестовали. Лишили переписки, потом принесли фиктивный развод от жены якобы. Но это чтобы не требовал переписки. Выяснилось все после ареста Берии, когда ему разрешили переписку. Жена его разыскивала, сейчас шлет деньги и посылки.

66. Миша Филиппов (институт), капитан танковых войск, призван в 1944-м, воевал, брал Берлин и там в Германии остался служить после войны. Отец его сидел 5 лет в ИТЛ, во время войны убит под Сталинградом. Миша в пьяном виде порвал стенгазету в красном уголке. Там был портрет Сталина. Дали 25 лет по ст. 58-8.

67. Колосовский Т. К. Сидит за то, «чи сказав, чи не сказав», — 25 лет. Сидит с 1949 года. Хотят из него сделать сумасшедшего.

68. Рохальский Виктор — украинец, бандеровец.

69. Латышев, агроном, зоотехник. Москва. Подозревают, что написал анонимное письмо о недостатках в работе правительства.

70. Тимоша — удмурт. Ушел с поста — 25 лет.

* Гражданский (прим. ред.).

71. Михайлов М. Е. В прошлом большой работник, член МК. Бывал в 1927 г. во Франции. Написал в ЦК свои взгляды на ряд вопросов внутренней и внешней политики. Арестован, и, т. к. судить неудобно, направили в сумасшедший дом.

72. Шубин Женя, студент Института востоковедения. Под следствием.

73. Красильников Федор, майор, в войну командовал батальоном. В 1945 г. с должности зам. ком. полка направлен учиться в академию Фрунзе. В 1946 году арестован за то, что, вернувшись из отпуска, говорил о непорядках в колхозах. Дали 10 лет закрытой тюрьмы. Брат, сержант, был арестован за это же, но приговорен к 10 г. ИТЛ и благодаря зачетам досрочно вышел на волю, там при ИТЛ и остался работать на стройке. Дома одна старушка мать, 65 лет.

74. Мелентьев, Свердловская пересылка, участник норильских событий 1953 года.

75. Карпов С. Н. Иркутск-Черемхово, был в плену. Попал раненый, в 45-м вернулся из плена. 6 лет жил в ссылке. В 1951 г. арестован и приговорен к расстрелу, заменили 25 г. Сейчас и это сняли.

76. Николай Николай — ленинградец, имел 25, погиб от пули чекистов 4.08.53 в каторжной зоне Норильска, при подавлении восстания. Погиб в числе 400 человек, бросившись под огонь пулеметов с лопатой.

77. Доронин — поэт. Лагерь Норильска, каторжная зона.

78. Вождев Валентин Никифорович, служил в армии Власова. В Нарыме был одним из руководителей восстания в 1953 г. Удален из ИТЛ в каторжную тюрьму.

79. Николайчук Петр Власович. То же.

80. Игнатьев А. Д. — то же.

81. Воробьев — то же.

82. Шамиль — это кличка одного вора, с которым мы вместе ехали от Кирова до Свердловска. Он много рассказывал о их законах.

83. Коля — вор, ехали в поезде Киров — Свердловск. Он много знает лагерных песен. У него я записал «Колыма» и др. Отец — подполковник, неродной, но к нему хорошо относился. С 14 лет Коля по тюрьмам.

84. Андрей — едет в Красноярский край в ссылку. Работал на канале Волго-Дон. Много рассказывал о том, как там работали. Говорил о приезде Круглова, обещавшего всем свободу. И многое другое.

85. Группа литовцев, отбывших срок в Воркуте. Ехали до Иркутска. Сроки их кончились по 2—3 месяца тому назад. Но их все еще держат по тюрьмам. Интересно, что их семьи выслали из Литвы за то, что их арестовали. Теперь они

отбыли срок и их высылают потому, что семьи в ссылке. Хотя по приговору им ссылки нет...

86. Орлов Иван Андреевич — сидит с 1945 г. Срок — 25 лет. Донской казак. О нем написано в «Молодой гвардии».

87. Сивириков Михаил Иванович — кубанец, жил в Югославии.

88. Клеев Василий Терентьевич, казак, донец. Жил в Югославии с 1920 г.

89. Паршин Алексей, р. 1930, сидит с 1951 г., 58-8 через 17. Разговоры о Сталине, «пусть умирает». 10 лет.

90. Никитин Василий Федорович. Сидит с 1937 г. 58-8, Иваново, бухгалтер треста хлебопечения.

91. Раquita Ал. Исак. Сидит с 1937 г., «правый».

92. Койрах Яков Дав., сидит с 1937 г., «троцкист».

93. Кондратьев Сергей Георг., сидит с 1937 г., р. 1894 г., инженер-кораблестроитель из Л-да.

94. Мартынов, сидит с 1937 г., «троцкист», инженер ж. д. из-под Одессы.

95. Загорский Иван Константинович, сидит с 1937 г. Инженер Никопольского завода. В лагерях стал сапожником.

96. Сокольский Иван Андр., сидит с 1937 г., «террорист», «повстанец».

97. Фреис Альберт Христофорович — латыш, сидит с 1949 г. Пастор.

98. Валабуев Нестер, сидит с 1937 г., шахтер.

99. Вержбловский Дмитрий Владимирович. Это вот действительно троцкист, сам говорит, что он участвовал в оппозиции. Сидел в 1928 г., потом в 1932-м и, наконец, в 1949 г. получил 25 лет.

100. Новиков — кубанец, сидит третий раз. В общей сложности отсидел 23 года. Танцор. Ему уже 60 лет.

101. Киселев Василий Федорович — железнодорожник, сидит с 1937 г.

102. Щукин — ж. д. путеец, арестован в 1937 г.

103. Гриб А. И. — б. чекист, «сумасшедший», сидел по 58-6, техник ВЧ. В 54-м г. выпустили. Он стал обвинять Серова и Круглова в садизме. Написал в КПК по требованию Комарова факты о безобразиях Серова. В 1955-м за это его снова арестовали и решили сгноить в сумасшедшем доме. Он здоров и умней Серова.

104. Калинин Аркадий Михайлович. Польский еврей. Арестован в 1944-м. Был нач. жандармского управления Польской армии в СССР. Получил 3 года, потом 6, потом 10 = 19 лет. Подданный Польши. Жена его Златогорова, кинорежиссер. Он много знает о личной жизни наших руководителей.

105. Палатников — троцкист.

106. Астров — ученик Бухарина.

107. Группа 200 чел. едет в Воркуту, в закрытую тюрьму за забастовку... Встреча в Кирове и дорога до Владим. Это украинцы и прибалты. Все молодые ребята. Сидят уже по 10 лет. Сроки — 25.

108. Залман Мордухович Дубин — депутат сейма Латвии. Имел 10 л., сошел с ума. Дважды был арестован, первый раз в 1940 г. И в Куйбышеве в октябре 1941 г. был выпущен по просьбе Элеоноры Рузвельт. В 1945 г. арестовали снова. Избили, вырвали бороду. Он ничего не ел, кроме хлеба, хотя ему много присылали денег. Все время молился, потом сошел с ума. К СССР он относился хорошо. Был против создания Израиля. Как правоверный, ждал Мессию.

109. Андреев — поэт. Сын писателя Андреева, племянник Горького. Написал книгу «Ежовщина» и в рукописи читал ее узкому кругу знакомых. Его со страху предал один участник-слушатель. Арестовали его, жену и 20 чел. слушателей. Рукопись он замуровал в стене. На допросах ему сказали, кто уже арестован из его слушателей, и затем показали список в 35 чел., которых немедленно арестуют, если он не скажет, где рукопись. Сохраняя людей от репрессий, он сказал. Рукопись изъяли. Ему дали 25 лет, жене — 25. Сидят с 1947-го. Большой. У него уже 2 раза был сердечный припадок.

110. Фельдмаршал Шернер. Имел 25. В 1955-м освобожден. Уехал в Германию.

111. Ковач — двоюродный брат Ковача Б.

7/1—55 г.

...Да, интересно: когда я сказал, что меня давно собираются физически уничтожить, а майор приведет в исполнение чью-то директиву, то подполковник, зам. нач. тюремного отдела области, сказал: «Нет такой директивы, нет. Если бы она была, я бы знал!» Значит, такая директива может быть! В принципе, значит, это возможно и такие директивы бывали! И есть? Боже мой! До чего дошли эти выродки? Для них это в порядке вещей! Говорят и сами не отдают себе в этом отчета! Характеристика этого подполковника, записанная мною вчера, вовсе не противоречит тому, что я пишу сегодня. Он внешне гораздо вежливей, корректней и, как мне кажется, хочет искренне перестроиться, избавиться от абакумовщины. И это заявление, что «нет, Куприяныч, такой директивы, нет, если бы была, то я бы знал», прозвучало у него внешне по-детски, наивно. Он настолько свыкся с возможностью законности такого рода персональных директив, что для него само собой разумеется, что такие директивы могут быть. А смысл, содержание,

законность такой директивы его меньше всего касаются. «Я подчиненный, мне что прикажут». Вот в этом и смысл моральной деградации большинства работников КГБ—МВД. Именно поэтому во имя интересов народа, во имя Советского государства 75% работников КГБ—МВД надо сменить. Иначе неизбежны рецидивы произвола, садизма, палачества. А при известных условиях рецидивы попыток фашистского переворота в стране. Ибо штаб пятой колонны, сидящий на Лубянке, далеко еще не разгромлен. Он живет и показывает свои зубы. Куда он пойдет дальше? Увидим!

...С 14 января по 19 июля 1955 года никаких записей в дневнике не вел. 14/1 увезли в Москву. Четыре дня просидел в больничной камере Бутырской тюрьмы, в одном белье, холодно, на прогулку водят в дырявых валенках, бушлат и стеганые штаны надеваешь на эти 30 минут. Т. е. что до тебя надевал другой больной, может быть, сифилитик! И это больница? Я думал, что меня привезли лечить! Но 19/1 отправили в институт судебной психиатрии им. Сербского. Там «ученые» — Даниил Романович Лунц, доцент, профессор Введенский, директор института профессор Бунеев и лечащий врач Мария Леонидовна — определяли 43 дня, не сумасшедший ли я. В общем, 43 дня унижительных для человеческого достоинства процедур этой психиатрической экспертизы.

1. Письма мои не пересылали домой, а я написал 7 писем Вере.

2. Нет ответа. Мария Леон. говорит: «Вам, очевидно, не хотят писать». Это меня взорвало. А им этого и надо.

3. На днях свидание с Паней. 23.02.55. Она специально приезжала в Москву, чтобы повидать меня.

4. Лунц особенно приставал ко мне с вопросом: «Ваша книга «Так было», очевидно, будет иметь большое общественно-политическое значение?» Провокатор! Так мне и хотелось дать ему в морду. Я ведь сам не знаю, какое значение будет она иметь. Может, это барахло, макулатура. Так я ему говорил. Пишу потому, что есть бумага, чернила, а главное — масса свободного времени, которое надо как-то убить. Этим убиваю время и глушу безысходную тоску. А ведь тоска — вполне нормальное, естественное явление в положении з/к.

5. Один охранник кричал на меня: «Что ты за дичь?» Я ответил руганью.

6. При мне больно крутили руки одному молоденькому мальчишке, удмурту Тимоше. Он кричал. Я не вытерпел и крикнул этим садистам: «Что вы делаете, мерзавцы!»

Основное подозрение в сумасшествии основано на том, что я ругался с тюремным начальством. Мария Леонидовна сказала, что вопрос о направлении меня в психбольницу не стоит и не может стоять. Я успокоился, думая, что сразу после выхода меня с этой экспертизы начнут пересматривать мое дело. Но 4 марта увезли в Бутырку, и там писклявая и сопливая девчонка Кира Алексеевна Овчинникова продолжала вести психэкспертизу. Снова не давали писать, держали в холодной камере в одном белье, на прогулку ходил полубошой. Требовал свои деньги, мне не давали ни копейки. Протестовал, объявлял голодовки. Кира Алексеевна, л-т госбезопасности, заявила: «Нас ничем не разжалобишь, мы — чекисты и всего видали». Сопля! Что из нее выйдет? Эльза Кох? Пожалуй! И это представитель медицины? Словом, в душегубке Бутырки меня, как собаку, дразнили, шантажировали, провоцировали на скандал. К нач. тюрьмы не мог попасть, хотя и просился. 6 апреля взяли на этап, повезли в Ленинград, в психиатрическую больницу. Ни письма прокурору СССР, ни письма Н. С. Хрущеву не помогли. Как я ни протестовал, все же меня повезли «лечить» от сумасшествия. Вот этого я никак не ожидал. Я знал по личному опыту, по рассказам многих о том, что в МВД — КГБ много бесчестных карьеристов, садистов и убийц, знал, что не все абакумовцы наказаны и изгнаны из этих органов. Но я все же не допускал, что они вкупе с прокуратурой пойдут на такой грязный и подлый прием, достойный лишь самой грязной охраны — объявить сумасшедшим! Заткнуть рот наукой, используя эту науку в качестве грязной тряпки. Какой позор!

7 апреля вечером привезли в Ленинград. Поместили троих в камере объемом 12 куб. м, по 4 куб. м на брата. Это объем собачьей будки. Затем 11 апреля перевели в 10-е отделение. Это отделение выздоравливающих. Значит, как только попал в больницу, сразу начал выздоравливать. Но чем же я болен? Непочтением к тюремщикам, на этом основан весь диагноз сумасшествия?! И это делается в советской стране, на 33 году пролетарской революции, во второй половине XX века.

Я бы в 1949 году не поверил, что такие факты могут быть в нашей стране.

27 августа — суббота.

...А я больше писать никому, кроме Галки и Пани, не буду. Я не нищий и милостыни просить не буду. Пока есть силы, буду один, сам бороться за свою правоту. А доведут до ручки, что же, буду умирать тут в тюрьме. Не я первый, не я последний. Все равно, рано или поздно, пусть после моей

смерти, но люди поймут, что я не преступник! Я не совершал и не думал совершить никакого преступления против народа моей Родины. Вся моя жизнь с 15-тилетнего возраста отдана делу служения народу. И я делал все, что было в моих силах, чтобы уменьшить потоки крови, слез, горя и страданий моего народа. Чтобы улучшить жизнь людей и уменьшить страх перед неизвестным завтра. Я не щадил себя ради интересов Родины и счастья людей, за которых я отвечал. Меня били и в прямом, и в переносном смысле за то, что:

а) во время войны снабжал хлебом всех колхозников Карелии;

б) защищал карелов и финнов, протестуя против штыковой и абакумовской клеветы;

в) отменил 1500 смертных приговоров, «мешал уничтожать врагов народа» во время войны;

г) в 1938 г. выпустил из тюрьмы «буржуазных националистов»;

д) переселил финнов ингермандцев в Карелию, чем «умышленно засорял пограничную республику политически враждебными элементами».

В 1950—51 гг. за это били в подвале Лефортовской тюрьмы и обвинили во вредительстве. Правда, все это сейчас официально-юридически отпало как обвинение, но работники КГБ—МВД мне это припоминают при всяком удобном случае и мстят как особому врагу органов КГБ—МВД. Ну и черт с ними. Мир состоит не из этих вандалов, торгующих кровью народа.

Новосибирск

20/IX.

Утром разбудили в 4 часа, в этапной камере 42 ч. вместе с уголовниками и переселенцами, было набито, как сельдей в бочке. Грязь, духота. Кормили завтраком в этапной. Лавок нет, сидя на полу, ели суп.

Познакомился с армянином. Он 8 лет сидел в тюрьме в Афганистане. Там:

1. В день мясо 6 р.
2. Он имел прислугу.
3. Комната не закрывалась.
4. У тюрьмы парк.
5. Отпускали в город на базар.

При переключке просил капитана отослать письмо домой. Он ответил: «Я не почтальон».

В машине с малолетками. Они рассказывали, как их бьют. Ужас! Как они ненавидят «мусоров».

В вагоне конвой грубый. Один угрожает малолетке, что избьет его. И это солдат?

Поместили 42 ч. в трехместном купе.

Обыск в вагоне очень тщательный и придирчивый. В уборную — руки назад. Вообще здесь о законах и человечности понятия не имеют.

Сейчас 6 ч. вечера. Мы стоим еще на вокзале. Это день пыток. Не понимаю, зачем все это надо?

Интересен мир уголовников и этот мир «мусоров». А как это название верно, и как оно к ним уже здорово прилипло.

22/Х.

...После войны зверства увеличились, и не было им предела. Трудно их описать. Но они все же в известной доле описаны. Песни, стихи, рассказы и повести о Колыме, Норильске, Воркуте, Караганде и др. лагерях представляют из себя целую литературу. Пусть никем не признанную и преследуемую чекистами. Но все же изрядную литературу. Обойти молчанием ее уже не посмеет ни один добросовестный историк. А живопись? Музыка? Может ли она обойти молчанием эти потоки крови, слез, горя и страданий?

9/ХІ.

...Список тюрем, где я был:

1. Лубянка 3 р.
2. Лефортово 2
3. Кировская пер. 2
4. Лагерь «Инта» 1
5. Киров. внут. 1
6. Владимирская 3
7. Бутырская 3
8. Челябинская 1
9. Магнитогорская 2
10. Институт 1
11. Больница 1
12. «Кресты» 1
13. Киров. след. 1
14. Свердловская 2
15. Новосибирская 2
16. Иркутская 2
17. Алекс. централ 1
18. Горьковская 1
19. Верхне-Уральская 1

Итак, 19 тюрем за пять с половиной лет. Можно сделать сравнение. Есть очень существенная разница в режиме, в обращении, в питании, в мелочах быта. Но суть не в этих отличиях.

10/XII.

В немецкой газете «Новая Германия» опубликовано сообщение, что широкая общественность Западной Германии потребовала ареста Карла Кляуберга. Он сидел здесь во Владимирской тюрьме как военный преступник. В начале октября был выпущен и отправлен в Германию. Во время войны он делал опыты на женщинах, подвергая их стерилизации, и изуродовал тысячи евреек, русских и др. Жил он в Кельне. Вот этого зверя выпустили. А мы, советские подданные, сидим, даже сами не зная, за что.

*Публикация
Лидии Куприяновой*

Элино́р Липпе́р

ЗАЯВЛЕНИЕ*

Утро. Лагерь отправляется на золотодобычу.

Выстроившись в колонны по пятеро, несколько тысяч человек ждут. Начальник лагеря и его многочисленная свита следят, чтобы все, кто в состоянии держаться на ногах, вышли за ворота.

Из серой толпы выходит какая-то тень и приближается к начальнику.

— Гражданин начальник, разрешите подать заявление.

Комендант кивает.

Из рваных лохмотьев с вылезающей ключьями грязной ватой (когда-то это был бушлат) протягивается тощая рука с глубокими трещинами на пальцах и подает листок бумаги; берет их рука в меховой перчатке. Хмурые от голода глаза бесстрастно следят за выражением лица читающего.

Едва пробежав глазами листок, начальник вопит:

— В карцер! Без вывода на работу десять суток!

Десять суток в карцере — это десять суток по триста граммов хлеба и миске баланды. Десять суток в темном холодном карцере — это сон на голых досках без одеяла, когда во все щели дует пурга. Руки и ноги деревенеют. Десять дней бьешься с холодом — колотишь себя руками по бокам и подпрыгиваешь на месте, пока не устанешь. Все напрасно, человек сгибается, становясь похожим на кучу тряпья, и только временами вздрагивает от щиплющего мороза.

Равнодушный взгляд, который задержался на гневном лице начальника, взывающего к охранникам, не выражает

* Молодой врач Элино́р Липпе́р приехала в Советский Союз, мечтая строить социализм. В 1937 году она была арестована и осуждена за контрреволюционную деятельность. Мы приводим фрагмент из ее книги «Одиннадцать лет советской каторги», изданной на всех основных европейских языках, кроме русского.

никакого удивления. Это взгляд человека, давно утратившего надежду и страх.

Узника пинком вталкивают в темницу, что явно не нужно — он и не думает сопротивляться.

Через пять дней его вызывают к начальнику. Пошатываясь на промерзших ногах, в полуобморочном состоянии от голода, он встает перед столом, за которым восседает хозяин шести тысяч заключенных.

— Ну, сукин сын, что это с тобой? Ты просишь, чтобы к тебе относились, как к лошади? Что это значит? Отвечай, сукин сын!

И существо, когда-то бывшее человеком, отвечает:

— Да очень просто, гражданин начальник. Если бы я был лошадью, у меня хоть раз в десять дней был бы выходной. Сейчас у меня его нет.

Если бы я был лошадью, мне бы давали посильную работу. Но, как з/к, я получаю работу непосильную.

Если бы я был лошадью, меня бы кормили как следует. Но я з/к и всегда голоден.

Когда же я не выполняю норму, мне дают меньше хлеба, у меня становится еще меньше сил, и я работаю еще хуже. В конце концов мне дают так мало хлеба, что я еле держусь на ногах.

У лошади есть конюшня и попона. А мне уже два года не меняют бушлат, ведь моя выработка так мала.

Лошадь работает двенадцать часов в день. А мне надо проработать в шахте четырнадцать — шестнадцать часов, особенно если я слишком отстаю от нормы.

Когда возница бьет и грубо понукает лошадь, его наказывают. Ведь на Колыме лошадей ценят. А вохровцев и бригадиров, которые бьют меня и пинают ногами за то, что я так слаб, не наказывают никогда.

Кто такой з/к на Колыме? Никто! А лошадь — это уже кое-что.

Видите, гражданин начальник, мне было бы гораздо лучше, если бы со мной обращались, как с лошадью.

— В карцер! Сейчас же в карцер!

На минуту унылый взгляд заключенного остановился на теплой печке, в которой потрескивали дрова. Затем, пошатываясь и низко опустив голову, он ушел в метель. За ним пошел вохровец, отведший его в ледяной застенок.

Комендант остается один за письменным столом. Безотчетно перечитывает: «Прошу относиться ко мне, как к лошади.» А ниже резолюция: «Десять дней карцера. Начальник лагеря».

Он задумчиво крутит красный карандаш. И вдруг пишет крупными буквами через весь листок:

«Приказ в хозчасть: выдать бушлат (новый), записать з/к на месяц в 1-ю продовольственную категорию. 5 октября 1944 г. Начальник лагеря».

В хозчасти работали и заключенные. Через них эта история и распространилась.

Мне ее рассказал заключенный — бухгалтер лагеря Бурхала (Северная Колыма). Я лечила его в больничке СГПУ*.

Перевод с французского Л. Новиковой

* Северное горнопромышленное управление.

Нина Монич

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

1941 — 1953

Продолжение*

ОПЯТЬ К ЛЮДЯМ!

После окончания следствия меня сразу же, днем, перевезли обратно в Таганскую тюрьму. Опять в Таганскую тюрьму, знакомую и почти уже — уютную! Опять в знакомую баню, тоже какую-то домашнюю при свете хорошего весеннего дня. Не забуду чувства глубокой радости, которое охватило меня при виде ЛЮДЕЙ — сначала банщиков, потом заключенных в камере. Подобное чувство может охватить выздоравливающего после тяжелой болезни: такая слабость, что нет сил пошевеливать пальцами; но внутри — радость, безграничная радость оттого, что *дневной* свет льется в окошко, что кругом — люди, люди, люди!

Я готова была поцеловать, обнять каждого — так рада я была опять попасть к людям! Какое счастье, что я могу лежать на полу и смотреть в синее небо, по которому плывут большие белые облака и летают какие-то птицы, кажется, голуби.

Я попала на самый верхний этаж тюрьмы, камера была маленькая, всего на несколько человек. Не было ни нар, ни коек. Просто на деревянном полу лежали матрацы.

Никто не заглядывал в волчок, шагов часовых не слышно. До позднего вечера в камере было совсем светло. Можно было лежать и глядеть в синее небо; следить за большими белыми облаками. Пускай снизу окно тоже было забито, но наверху кусок неба всегда виден!

А днем нас выводили на прогулку — в маленький дворик, вернее, часть двора, отгороженную проволочной сеткой, вроде закрытой спортивной площадки. Наступил май. Ярко светило солнце. Можно было стоять и подставлять лицо его лучам... Было очень, очень хорошо!..

* Начало см.: «Воля», № 4—5. 1995 г.

Такое смутно-блаженное, совершенно бездумное состояние продолжалось довольно долго. Может быть — с неделю. Но пришел день, когда я с еще большей силой почувствовала, что я — *зверь*, посаженный в каменную клетку! К этому времени я опять попала в узкую темную камеру в нижнем этаже. Лежа на верхних нарах, лицом к каменной стене, я готова была биться головой об эту стену!

В одиночке я страшным напряжением воли не допускала вторжения многих мучительных мыслей. Радость освобождения из одиночки тоже отвлекла меня временно от прежних мыслей. Тем ожесточеннее вцепились теперь они мне в мозг.

Где старики? Где дети? Где муж? Первый раз в жизни я была совершенно бессильна помочь родителям и детям. Сидеть в клетке, как зверь, как дикий зверь за железными прутьями решетки! Сидеть в этом каменном мешке, когда самые дорогие существа, быть может, погибают от голода? Может быть, в Тарусе опять фронт? Идут бои? Все уже разрушено? А я даже никогда не узнаю, как погибли мои самые любимые!

С тех пор как я попала в тюрьму, каждое утро мое начиналось с Молитвы Господней, самой любимой моей молитвы с детства. Но теперь слова останавливались на губах. Язык не мог произнести с детства знакомых слов: «Да будет воля Твоя!» — в душе был бунт. Тоска снесла меня. Я не могла спать, я не хотела есть. Как только наступала ночь, я ворочалась на нарах, вскакивала, готова была бежать куда-то. Иногда словно впадала в забытие, потом опять сжималась в комок.

Наступал Троицын день. В канун его особая тоска снесла душу. Только под утро, с первыми лучами солнца какое-то упокоение пришло ко мне. И вдруг я произнесла не одними губами, но всем существом:

— *Да будет воля Твоя!*

Это Твоя благая воля привела меня сюда. Это Твоя благая воля лишила меня всего самого дорогого. Все пути должны быть пройдены — и легкие, и трудные.

Да будет Твоя светлая воля!

Новый свет загорелся в моей душе. Из воспаленных глаз потекли слезы, словно пробившие толстую кору, сковавшую все мое существо.

Да будет воля Твоя!

* * *

Вскоре меня опять перевели в другую тюрьму. На этот раз много женщин было вызвано «с вещами». Ехали ночью,

по затемненным улицам Москвы. Когда стали выходить из «ворона», на большом незнакомом дворе брезжил летний рассвет.

Нас, конечно, повели в баню.

...Перед входом в помещение для мытья был просторный вестибюль с каменными скамьями и зелеными изразцовыми стенами с глубокими нишами. Я много раз упоминала о банях, но ни разу не описала подробно порядков, которые в то время были установлены в этих банях. В баню заключенных водили не столько чистоты ради, сколько ради дезинфекции, для предотвращения возможности заболеть инфекционными болезнями. Поэтому необходимой процедурой являлась *прожарка*.

Помню, еще в Таганке, какое страшное впечатление в первое время производили сборы в баню! Вызывали чаще ночью, с вещами. Сразу целый ряд людей, почти половину камеры. Дрожавшими руками связывали мешки, одевались, не находили нужных вещей, спешили, волновались, готовились к самому худшему. И вдруг вереница закутанных женщин с вещами в руках, натываясь друг на друга в полутемных коридорах, приходила не к «черному ворону», а в темное подземелье, откуда несло горячим паром, жаром, каким-то особым сырым запахом. Баня, вздыхали все с облегчением. Так, значит, нас никуда не везут! Просто привели в баню...

Но и тут ждало немало неприятностей. В большом пустом помещении с цементным полом при тусклом свете лампочек, еле видных в клубах пара, сновали полуголые потные мужчины в белых грязных передниках. Я ни разу не видела, чтобы в московских тюремных банях была хоть одна банщица. Там были одни только мужчины. С руганью понуждали они всех женщин раздеться в их присутствии догола и тут же сдавать свою одежду в прожарку. Нужно было захватить железное кольцо, надеть на него вещи и сдать банщику. Банщики подхватывали эти кольца железными крючьями на деревянных палках и вдвигали их в раскаленную дезокамеру. (Только меховые вещи подвергались какой-то холодной обработке.)

Среди заключенных передавали часто анекдот об одной старушке, которая, попав в тюремную баню, решила, что это — ад кромешный и она скоро должна кипеть в огненном котле. Черти с железными когтями (в образе банщиков) хотят тащить ее в преисподнюю! Этот анекдот оживал не раз, когда какая-нибудь старушка пыталась прикрыть на груди крестик рубахой, но банщики срывали с нее эту рубаху и толкали ее в раскаленную баню.



Нина Монич. 30-е годы

В той тюрьме, где мы очутились рано утром, как видно, культура и механизация процессов достигли высокого уровня!.. Банщики были в белых халатах, довольно вежливы, а вещи, сдаваемые в прожарку, вешались тут же в вестибюле на металлические вешалки, которые на роликах уезжали в помещение для прожарки.

Наши вещи уехали, но двери самой бани все еще не открывались. Голые женщины терпеливо сидели на каменных скамейках и ждали. Вдруг двери открылись с противоположной стороны и в вестибюль вошли опять мужчины в белых халатах. Они везли на тележках в аккуратных плетеных корзинах пайки хлеба! Вся процессия остановилась посередине вестибюля, и каждая голая женщина была оделена законной пайкой хлеба!

Брать что-либо с собой в баню не разрешалось, по выходе из бани мы, как предупредили нас банщики, должны были попасть в другой вестибюль. Что было делать с хлебом? Большинство приняло мудрое решение — немедленно все съесть! Что же это была за «культурная» баня, в которую мы попали? Это были Бутырки. Трудно теперь вспомнить, как мы *узнавали* о том, в какую попали тюрьму. Конвой не говорил ни слова с заключенными, не произносил ничего, кроме слов команды (направо, налево, шагом...) или отдельных предостерегающих окриков. Надзиратели тюрьмы, даже банщики тоже ни словом не обменивались с нами. Стены молчали. Но из числа вновь прибывших или ранее прибывших всегда находился кто-то, кто *узнавал* место, куда привозили. Во всяком случае, через короткое время после прибытия все всегда безошибочно знали, *где* находятся.

Итак, я попала в Бутырки и пробыла там до осени, пока не пошла на этап. Я продолжала находиться в состоянии полного неведения о своей дальнейшей участи. Была в Таганке, была на Лубянке, потом опять в Таганке, теперь перевезли в Бутырки, вот и все.

В Таганке было старое здание с темными камерами и двойными нарами. Здесь — здание более новое, камеры — не очень большие, нары только внизу. Женщины — все такие же. Старые и молодые, городские и деревенские. Учительницы, служащие, домохозяйки, работницы, колхозницы, монашки... Кого только не было. Я давно перестала сторониться своих соседок. Хотя и не встречала здесь особенно близких, но все же со многими можно было говорить. Конечно, разговоры наши были обычно по пословице: «У кого что болит, тот о том и говорит».

Первое, о чем спрашивали и о чем рассказывали, — как случилось несчастье. То личное для каждого «несчастье»,

которое привело в стены тюрьмы. *Второе* — что ждет нас впереди? Никто этого не знал, но почти все были уверены, что ничего серьезного нам грозить не может, так как никто не считал себя виноватым в чем-либо серьезном. Мы — *только жертвы войны*. Не будь войны, не подожди немец так близко к Москве, ничего бы не случилось! Ведь никто из нас никогда не сидел в тюрьме в мирное время! Неужели же нас могут *серьезно наказать* за то, что мы оказались *жертвами*? В худшем случае нас подержат немного здесь или в другом месте, но мы сразу вернемся домой, как только война кончится!

А вот когда она кончится? Мы очень мало знали о том, что происходило на фронте. В самые первые месяцы моего пребывания в тюрьме в камеру иногда приводили еще «новеньких», которые могли сообщить что-то *новое* для нас, пусть уже и не очень свежее. Но к середине лета 1942 года ни одно известие с воли уже не проникало в наши камеры. Новенькие не поступали в камеру, где сидели «старенькие». Если состав камеры менялся или ты сам попадал в другую камеру (что случалось нередко по неизвестной нам причине), то там всегда оказывались женщины одного «набора», в смысле календарных дат попадания в заключение. Если они и приезжали иногда из другой тюрьмы, то все равно не привозили ничего нового.

Что делается на фронте? Далеко ли отогнали немца? Или кольцо вокруг Москвы опять стягивается? Мы не знали *ничего*! Мы сидели, как в каменном мешке! Хоть бы слово, одно слово правды! Только воздушные тревоги говорили нам о том, что война еще не кончилась, что мы еще — в кольце.

Воздушные тревоги в тюрьме выглядели совсем иначе, чем на воле. Как только раздавался протяжный вой сирены, вся обслуга тюрьмы, даже часовые из коридоров, уходили в бомбоубежище. Нас запирали на какие-то особые запоры — и мы оставались! Свет выключали. Если тревога (как обычно) была ночью, камера внезапно освещалась вспышками зажигательных бомб. Изредка слышался глухой шум — то ли выстрелов, то ли взрывов... В такие жуткие минуты опять чувствовалось, что война еще не кончена! В обычные дневные часы мы это не всегда чувствовали. За наши толстые стены не проникало из внешнего мира почти ничего!

Мы иногда забывали о войне, поглощенные личным горем, поглощенные бесконечной женской болтовней. Но эти ночи — светлые от вспышек — опять напоминали нам все! И так тяжело для живого человека сидеть взаперти в каменной клетке, что многие из нас думали о том, что при

очередном взрыве наши тюремные стены могут *рухнуть* — и мы все разбежимся кто куда! Но на нашу тюрьму не упала ни одна бомба. Стены стояли, все такие же прочные и красные, все так же отгораживали нас от мира. В том далеком мире шла борьба не на жизнь, а на смерть, лилась кровь, горели города и села. Мирные люди, наши близкие, оставшиеся в тылу, работали изо всех сил, чтобы не остановилась жизнь страны... А мы... мы все сидели и сидели за толстыми стенами, без пользы, без нужды. Сидели и теряли последние силы.

«10 ЛЕТ»

Наступило 22 июля 1942 года. Этот день памятен для меня тем, что из нашей камеры начали уводить «с вещами». Камера все больше и больше пустела. Сначала мы подумали, что опять переводят в другую тюрьму... Настала и моя очередь. И меня повели куда-то по коридорам белым днем.

Привели в приемную, где уже было много женщин — и из нашей камеры, и из других. Кто сидел на скамейках, кто прямо на полу. Оказалось, что нас вызывает *начальник тюрьмы!*

Человек по десять вводили к нему в кабинет. Выпускали через какие-то другие двери; мы не могли увидеть тех, кто уже выходил. Но как-то узнали, что начальник зачитывает какое-то особое *постановление*.

Вошли наконец и мы. Что же мы услышали? Начальник зачитал нам Постановление Особого совещания, по которому каждой из нас устанавливалась *статья* и *срок наказания*.

Статья 58, пункт... Статья 58, пункт... слышала я и не смогла сразу понять.

58... Тут только услышала я впервые этот проклятый номер, который на долгие годы стал позорным клеймом, приставшим к нам всем! 58, пункт 3; 58, п. 6; 58, п.10... 58, п. 3; 58, п. 10... слышала я и не понимала ничего.

10 лет, 8 лет, 5 лет; 10 лет, 8 лет... Слова и цифры долетали словно издавека, не доходили до сознания. Что все это значит?!

Начальник тюрьмы зачитывал каждой из нас приговор Особого совещания. Какой приговор? Какого совещания? Кто и когда «совещался» о нас? Ведь нас же никто *не судил!* Мы не видели ни одного судьи, мы только слышали, что в военное время обычно судит *военный трибунал!* Но мы не видели не только *трибунала*, но и простого уголовного суда! Кто же мог *заочно* вынести нам приговор?

Тройка. Таинственная тройка, такая же незримая, как Святая Троица христиан...

10 лет, 8 лет, 5 лет! Что это значит? Почему десять? Почему восемь? А у кого пять? Все было так ошеломляюще неожиданно, что никто не испугался. Наоборот, эти сроки казались настолько *нереальными*, что вызывали только *смех*! Тебе сколько? Вам сколько? — слышалось со всех сторон по выходе из кабинета... Только пять! Ну, это же слишком *мало*! Десять лет — это еще звучит внушительно! Неужели *десять лет*?! Как смешно!

Да, я могла смеяться. Меня не обидели. Постановлением Особого совещания я была осуждена «за переход на сторону врага» к отбытию наказания в исправительно-трудовых лагерях сроком на 10 лет!

«Инкубационный» период кончился. Из камер следственных мы переходили теперь в камеры осужденных. После *смеха* при выходе из кабинета начальника тюрьмы начались *слезы*. Неожиданный *приговор* убил ту искорку надежды, которая теплилась в каждом сердце. Пускай мы продолжали верить, что эти сроки нереальные, что все изменится к лучшему, как только кончится война, но все же у каждой из нас — какой-то *срок*, и прозвучали слова — *исправительно-трудовой лагерь!*

Что же будет дальше? Где он, этот лагерь? Тут же, под Москвой? Или где-то далеко? И что там будет, в этом лагере? Никто из окружающих меня в те дни женщин не был ранее судим и никто не бывал в исправительно-трудовых лагерях. Работа в таких лагерях представлялась нам чем-то вроде трудфронта... Казалось, что мы должны рыть окопы, помогать в борьбе с врагом. А может быть, придется уехать куда-то далеко. Но куда? На Север? На Восток? В Сибирь? Никто из нас этого не знал. Но настроение у всех было смутным и тревожным.

Теперь, когда в камеру приводили новенькую, уже не интересовались, как прежде, сразу всеми подробностями постигшего несчастья, интересовал только «ярлык», приклеенный к человеку: *статья*, *срок*. Вот что — на долгие годы — стало более важным и значительным, чем имя и фамилия.

Хотя нас и перевели в камеру осужденных, но пока ничего не изменилось. Камеры были почти такие же, люди тоже, не отличающиеся от прежних. Распорядок дня остался тем же. Так же в 6 утра бывал подъем. Так же раздавали пайки хлеба и устанавливалась особая очередь на горбушки!

Положение с горбушками в Бутырках было чрезвычайно благоприятное. При тюрьме была своя пекарня, где выпекали хлеб в небольших круглых формах. Когда такой хлеб

разрезали, то из него получалось всего три пайки — одна серединка и две горбушки! Так что горбушек было больше, чем где-либо! Но даже это уже мало радовало.

Обеды летом стали немного лучше, чем были зимой, — хоть овощи были теперь не мороженые. Иногда попадались кусочки солонины. После перехода в камеру осужденных были разрешены *передачи*! Пока мы были подследственными, всякая связь с внешним миром, с оставшимися семьями была строжайше запрещена. Теперь же начались передачи! Это было большим событием, всколыхнувшим всю жизнь заключенных.

Пускай нельзя было ни строчки *писать* друг другу. Но при передаче получали опись вещей, написанную рукою того, кто приносил передачу. На этой описи заключенный *расписывался* в получении, и эту опись передавали родственникам, принеся передачу. Сам факт передачи и принесенные вещи или продукты были живым письмом для заключенных! Сколько слез, сколько волнения было в часы передач! Некоторым приносили громадные мешки со всевозможными носильными вещами, свертки с продовольствием... Некоторым — маленькие сверточки с домашними лепешками или сухарями... Некоторым — совсем ничего!

Большим событием, всколыхнувшим меня всю, было получение передачи из дома! Я не ждала никакой передачи. От кого мне было ее ждать? Ведь я не верила, что мои смогли так скоро вернуться в Москву... Я даже не была уверена, знает ли кто-нибудь, *где* я нахожусь. Ведь меня сначала увезли в Серпухов, потом в Москву, а в Москве достаточно часто возили по разным тюрьмам!

И вдруг — передача. Передача «домашняя». Там были мои старые носильные вещи, шерстяное платье, туфли, демисезонное пальто и немного съестного. Читая опись вещей, я узнала по корявому почерку, что передачу принесла наша домработница Шура.

Было радостно и больно! Радостно от мысли, что кто-то тебя еще *помнит*, и больно при виде домашних вещей, таких чистых, пахнущих домом...

Последние месяцы в тюрьме были еще тяжелее первых. Тогда, вначале, все казалось не совсем безнадежным. Теперь точка над «і» была поставлена. Оставалось только ждать, ждать и ждать того, что случится с нами в недалеком будущем...

Чтобы отвлечься немного от тяжелых мыслей и нарушить томительное течение времени, я учила *иностранным языкам* всех, кто только хотел! Первые ученицы были у меня еще в Таганке, в последний месяц моего там пребывания. Но

особенно памятливы мне уроки в Бутырьках в летние месяцы 1942 года.

Камеры в Бутырьках были вдвое меньше, чем в Таганке, нары только нижние, поэтому там помещалось одновременно человек 50—60. Все быстро знакомились между собой. Но тем быстрее исчерпывались *темы* для разговоров! А летний день долгод! Еще задолго до подъема солнце заливает светом камеру. Спать уже неохота. И после отбоя еще тоже не совсем темно. Времени очень, очень много... Сколько бы можно *сделать* за такой длинный день! Но в Бутырьках не было ничего — ни книг, ни шахмат... Одни бесконечные разговоры...

Хотя я лучше всего знала *немецкий* язык, теперь, после всего со мной происшедшего, я не могла спокойно вспомнить ни одного немецкого слова. Кроме того, это был язык наших *врагов*, все еще продолжавших наступление. Было бы более чем странным заняться в тюрьме преподаванием *немецкого* языка. Поэтому я преподавала только *английский*, в редких случаях — *французский*.

Но как можно было вообще преподавать в тюрьме иностранный язык? Ведь *открыто* этого делать было нельзя — это во-первых; во-вторых — у нас даже не было клочка бумаги или карандаша! Единственным доступным методом был метод *разговорный*.

Я сейчас уже не помню большинства моих учениц. Меня часто переводили из камеры в камеру. Учениц тоже вводили от нас. Обычно не удавалось быть вместе дольше недели. Знаю только, что учениц было много и все дневное время уходило у меня на эти «уроки». Я переходила в заранее назначенные часы от одного угла камеры к другому, ученица и учительница усаживались поближе друг к другу и шепотом или тихим голосом проводили урок. Очень часто уроки с одним и тем же человеком происходили два раза в день, по полчаса или больше.

Утром «разбирался новый материал», вечером он повторялся. Окончательно усвоенным урок считался на второй или третий день.

Среди моих учениц были совсем молодые женщины, были средних лет. Служащие, домохозяйки. Редко кто из них знал *английский* язык, обычно приходилось начинать с самого начала. Расскажу подробно только о двух своих ученицах по Бутырской тюрьме.

Одну из них звали Дорой. Она была еврейкой лет 20 из Подмосковья. По окончании десятилетки работала трактористкой. В школе занималась когда-то немецким, *английского* не знала совершенно. Помню темные внимательные

глаза, пытливо глядящие на меня. Молодой глуховатый голос, с усилием повторяющий незнакомые слова. Пристальное внимание и блестящая память ученицы облегчали мою задачу.

Мы начали, как обычно, с названия всех видимых предметов и лиц (части комнаты, предметы в камере и тому подобное). Что стоит, что лежит и где? Я показывала на предметы и называла слово, в редких случаях давая перевод. После усвоения глаголов ученица сама начинала строить бесконечные простые фразы. Вскоре присоединялись цвета и числа.

И с ней мы утром старались придумать и запомнить новое, а вечером всегда только упражнялись на старом материале. Иногда я задавала вопросы, иногда просила кратко описать видимые предметы, иногда говорила русские фразы, которые нужно было перевести.

В день запоминалось не меньше 15—20 новых слов. Дней через десять, когда наш словарный запас немного расширился, я начала рассказывать по вечерам фантастические истории на пройденные слова. Дора повторяла их тут же, иногда на другой день, сильно перефразируя. Всего нам удалось заниматься 17 дней, что было редким счастьем! Дора понимала уже все, что я ей говорила. Особенно любила она, когда я рассказывала ей романтические истории о вымышленных героях, которые встречались, влюблялись, женились, иногда и умирали! Помню, что я могла говорить с ней даже о войне, хотя и в простых словах, но все же в таких выражениях, которые отражали мои действительные опасения и не предназначались для ушей соседок.

Другая моя ученица, с которой я недолгое время занималась, совсем в другой камере, перед самой отправкой на этап, была совсем девочкой. Темненькая, худенькая, немножко дичок, но хорошенькая, очень своеобразная и своенравная. Смутно помню нелепую историю о молодых немцах, которые помогали этой девочке колоть дрова и носить воду для тяжелобольной матери где-то под Дмитровом.

Здесь, в тюрьме, девочка до того была убита разлукой с матерью, всем случившимся, своим сроком, что была на грани тяжелого нервного расстройства. Она ухватилась за уроки как за спасение! В школе изучала французский. Мы тоже взяли за французский. Я старалась просто говорить с ней. Всю свою недолгую жизнь, воспоминания детства, недавних тяжелых событий она пыталась рассказывать по-французски. Наш последний урок прервался тем, что мою девочку вызвали с вещами, видимо, на этап! Помню взрыв ее отчаяния, худенькие плечи, затрясшиеся от рыда-

ний, руки, вцепившиеся в меня, и голос, захлебывающийся слезами, повторяющий первые слова, пришедшие в голову: «Mon maître ah! Mon maître!»* (Видимо, в школе у девочки был учитель-мужчина французского языка и она хорошо запомнила это слово.)

Должна описать еще одну встречу, тоже происшедшую в Бутырьках в последний месяц моего там пребывания. Стояли жаркие августовские дни и такие же жаркие, душные ночи. Ни одного дуновения не проникало за решетки нашего окна. Душный, спертый воздух в камере был похож на жаркое облако. Камера узкая и длинная. Одно окно. Слева и справа вдоль стен сплошные нары. Теснота невероятная. Лежали не только на нарах, но и на полу. Помню, чего стояли ночные путешествия на парашу. Параша, как обычно, стояла у дверей в коридор, а я лежала на левых нарах ближе к окну. Нары ничем разграничены не были. По неписаному правилу каждый имел право занимать две доски в ширину. Мешок с мягкими вещами клался в головах вместо подушки. Под себя стелили, что у кого было, и вытягивались на своих двух досках.

Однако ночью, во сне люди часто метались, сдвигались с места. Большей частью, чтобы было хоть чуточку просторнее, приходилось уговариваться с соседками, в *какую сторону* ложиться с вечера и когда поворачиваться по команде в другую сторону — то есть или все лицом к окну, или лицом к двери. Ночью часто приходилось подниматься на парашу. Ослабевший организм не выдерживал, приходилось вставать по нескольку раз в ночь. С трудом пробираешься между раскинувшимися на полу, стараясь не наступить ни на руку, ни на ногу, ни на голову. Когда же возвращаешься обратно, успешно пробравшись через лабиринт тел — о ужас! — ты не находишь своего места! Пустого места нет нигде! Ряды лежащих женщин во сне сомкнулись, расправились немного на освободившемся месте. С трудом опознаешь свое старое место по цвету платьев спящих соседок, видишь потом свой вещевой мешок у стены, на котором не лежит ничья голова, и, осторожно раздвигая руками спящих, стараешься *втиснуться* туда, где ты лежал минут десять тому назад!

И вот в одну такую душную ночь, когда все спали, двери камеры открылись и впустили еще одну новенькую. Это было совсем не диво! Камеры осужденных в это время все были переполнены, и все же непрерывно приходили еще и еще, особенно ночью. Все спали, никто даже не шевелился,

* Мой учитель!

когда приходили новые и тщетно пытались устроиться где-то среди спящих. Часто новеньким приходилось садиться прямо на пол около параша, хотя вонь в том углу всегда была невыносимая!

Я плохо спала и в эту минуту, когда в камеру впустили новенькую, почему-то проснулась и поглядела на вошедшую. При ярком свете электрической лампы, всю ночь горевшей в камере, я увидела, как через спящие тела пробирается невысокая женщина в военной форме. Она была коротко острижена, по-мужски, и даже лицом напоминала мужчину. Но больше всего меня поразило выражение ее лица.

Видно было, что она даже не видит, куда идет, не знает, зачем ее привели сюда... Что она видит перед собой что-то совсем другое и спешит догнать свое видение...

Женщина прошла к окну, отодвинула лежащих там и легла — лицом к окну, спиной к камере. Ночь продолжалась.

На следующее утро, когда камера проснулась и прошли обычные процедуры утренней проверки, умывания, раздачи хлеба и все занялись обычными делами в ожидании прогулки на дворе, которая служила большим развлечением, эта женщина все продолжала лежать у окна, не шевелясь и ни с кем не разговаривая. Я искоса наблюдала за ней, сидя на своем месте. Еще ночью она поразила меня своим видом. Такого страшного лица я ни разу не видела среди окружающих меня женщин. Новенькая открыла глаза, долго смотрела в небо, на полоску неба, видневшуюся в нашем окне за каменной стеной двора. Вдруг она приподнялась, встала, прошла несколько шагов по камере и, поравнявшись с моими досками, остановилась, схватила меня за руку и сказала: «Переходи сейчас же ко мне рядом!» Неожиданные слова ее звучали тоном приказа. Я с недоумением смотрела на нее, но молча встала, забрала свой мешок и перебралась на доски к окну.

Весь день мы просто сидели рядом и почти все время молчали. Но, когда наступила ночь, начали шепотом разговаривать и проговорили до утра.

Эту женщину звали Татьяной. Она была медсестрой. Попала под Ельней в окружение. Прорывались с боем. Не хватало машин, чтобы вывозить раненых. Татьяна отстала от своих, чтобы найти машину. Попала в плен. Бежала. По дороге была контужена в голову и в ногу. Добиралась ползком до наших. Потеряла сознание. Очнулась одна в лесу. Чудом осталась жива. Была задержана, заподозрена в шпионаже, отправлена в тюрьму, осуждена.

Теперь я поняла, почему она мне в первую минуту показалась похожей на подстреленную дикую птицу! Так

сильно было ее возбуждение, возмущение всего ее существа от чудовищной несправедливости, ее постигшей! Она хотела бороться за свою правду, верила, что ей удастся еще оправдаться, хотя приговор уже был вынесен — пять лет, по какой-то военной статье.

Но в те минуты, когда ее надежда гасла, она была близка к безумию.

Прошел еще один день. Мы сидели рядом, кажется, держались за руки, но молчали.

Наступила еще ночь, последняя ночь. Мы опять начали тихо разговаривать.

— В какой же вы работали больнице в Москве до войны? — спросила я.

— Я никогда не работала в больнице. Я окончила трехмесячные курсы медсестер и пошла на фронт.

— Но кем же вы были прежде? До войны?

— Я астроном, — последовал ответ.

Тут наш разговор неожиданно принял совершенно личный характер. Оказалось, что моя новая знакомая много лет работала вместе с другом моей юности, с которым я рассталась после замужества. Теперь она много смогла рассказать мне о днях, давно прошедших. Мы обменялись адресами, чтобы постараться еще увидеться в жизни.

Утром Татьяну увели, а я осталась еще на некоторое время.

Чем же занимались другие женщины в камере? Ведь очень немногие интересовались иностранными языками. Чем же заполнялись долгие летние дни? Я уже сказала, что разговорами, разговорами... Но какими?

Конечно, в первую очередь — чисто личными, семейными. Но такие темы не вечны. Они вскоре исчерпываются. Стоит неделю просидеть вместе даже 40—50 женщинам, как все уже будут знать все, что одна захотела сообщить другой. Приходилось прибегать к более общим темам, понятным и одинаково интересным для всех.

Одной такой темой были нескончаемые разговоры о ЕДЕ, обсуждение рецептов самых разнообразных блюд.

* Татьяна Вениаминовна Водопьянова (1903—1977) — сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга (ГАИШ) при МГУ. До войны работала с известным московским астрономом Р. В. Куницким (1890—1975). Именно по портрету, неизменно в течение многих лет стоявшему на его рабочем столе, Т. В. «узнала» Н. Д., неожиданно встретившись с нею в камере Бутырской тюрьмы в 1942 г. (Прим. Алины Еремеевой.)

Во всех углах камеры с утра и до вечера кто-нибудь «пек» пироги, «приготовлял» пирожные, торты, кремы.

Самое сладкое и самое жирное особенно привлекало воображение голодных людей. Опытные домохозяйки делились своими методами с новичками в кулинарном деле. Это было какое-то безумие, какое-то мысленное смакование изысканных блюд, которые можно было увидеть только во сне! И я невольно прислушивалась к этим разговорам. Активного участия я, правда, принимать не могла, потому что не имела никакого опыта. Но я старалась сама запомнить наиболее простые и несложные рецепты кушаний, особенно вегетарианских, которые, думалось мне, я смогу еще когда-то и где-то приготовить.

Помню, что меня очень интересовал «студенческий торт», чрезвычайно несложный для приготовления, желтый цвет которому (вместо яичных желтков) должен был придавать крепкий чай. Помню одну чрезвычайно интеллигентную, но очень большую женщину (типичную представительницу плеяды шизофреников!), которая особенно изощрялась в рецептах вегетарианских блюд; например, рецепт «мясных котлет» — из равных частей чечевицы, гречневой и овсяной крупы, пропущенных через машинку и дающих полную иллюзию мяса!

Было еще много блюд, рецепты которых, как мне казалось, я запомнила во всех тонкостях и на всю жизнь. Но теперь — не помню ничего!

Воспоминания подобны впечатлениям от далекого путешествия. Вначале голова, все чувства — свежи. Все первые впечатления яркие и отчетливы. Но, когда путешествие затягивается, становится жарко, пыльно, ты устал — тогда все сливается в длинную бесконечную цепь, из которой трудно вырвать отдельные звенья.

Второй и очень важной темой для разговоров в камере было осуждение и толкование снов. Почти у всех женщин, окружавших меня в тюрьме, а позднее в лагере, к великому моему удивлению, в голове был целый список толкования снов — живой Мартын Задека в действии! *Не верить в сны* показалось бы большинству женщин чудовищным! Каждое утро начиналось в камере с пересказа только что виденных снов. Вся камера принимала в этом самое живейшее участие!

С тех печальных времен я твердо усвоила, что видеть яйца во сне — означает, что кто-то явится. Если видеть белый хлеб, пироги, блины, то это непременно означает письмо или известие. Видеть мальчика — маяться, девочку — диво. Видеть бумаги, деньги — это какой-то шум или ссора.

Видеть коров, быков, свиней — это к начальству. Видеть лошадь — это означало ложь. Собака — друг, кошка — враг. Всякие мелкие предметы — ягоды, бусы — к слезам.

Сама я тоже видела каждую ночь сны и охотно рассказывала их окружающим, иначе они сочли бы меня «гордячкой» и «недотрогой». Мне бесконечное число раз снилось в тюрьме, а также в лагере, что я собираю грибы или ягоды. Целыми ночами я видела лес, чудные зеленые чащи и собирала ягоды или грибы, непременно мелкие и ярко-красного цвета.

Очень часто я видела множество красивых платьев, всех цветов, обычно шелковых, висевших у меня в гардеробе. Все их мне нужно было примерить или надеть.

Но были и другие сны. Очень часто мне снилось, что я прихожу домой, вижу всех, сажусь вместе с семьей за стол, разговариваю с ними, расспрашиваю их, все рассказываю о себе. Но все время смотрю на часы и знаю, что мне нужно опять *уходить!*

Лично я люблю другие сны, и такие сны мне тоже снились. Об этих снах я не рассказывала никому и лишь сама наслаждалась ими. Очень часто я видела во сне картинные галереи, которых никогда не видела в жизни. Ходила по залам, смотрела на чудные картины и потом, когда просыпалась, долго помнила их все, как будто видела их в действительности! Иногда мне снились целые романы о вымышленных героях, о которых я никогда раньше не думала в бодрствующем состоянии. Никогда в жизни — ни до этого, ни после — я не видела уже таких чудных, фантастических снов! Сны исцеляли дневные раны, успокаивали, уносили далеко-далеко от земли! Чем безотраднее была жизнь, чем острее горе, тем лучезарнее были сны.

Теперь, может быть, смешно говорить об этом, но приходится признаться, что за все время тюремного заключения и в первые годы пребывания в лагере сны были для нас неисчерпаемым источником отрады и забвения!

Помню такой сон: темная южная ночь, теплая и беззвездная. Смутно белеет в темноте высокая белая стена с круглыми башнями. Я стою у подножия этой стены. Но вдруг поднимаюсь, и мне ясно видна одна из этих башен. Наверху башни — круглая площадка, окаймленная зубцами стены. Посредине этой площадки стоит большой круглый стол. Вокруг него сидят люди в белых одеждах. Их всего двенадцать. Один стоит. Он в белой одежде, длинные волосы падают на плечи, глаза сияют. Он высоко поднимает большую чашу с темным вином, и вдруг из этой чаши разливается розовое сияние необычайной яркости и красоты и

словно озаряет темноту. Мне казалось тогда, что это был Христос со своими учениками, и видела я — Моление о чаше, а может, Тайную вечерю.

Запомнился мне еще один сон, который я помнила долгие годы, и он приносил мне за эти годы радость и утешение. Еще в Таганской тюрьме в начале лета, когда я сильно тосковала и плакала о всех своих близких и особенно хотела знать о судьбе мужа на фронте, мне приснился такой сон: будто была *пасхальная* ночь и я была одна в Москве. Будто я шла к заутрене куда-то далеко по совершенно темным улицам. Дошла до церкви Богоявления (на Елоховской), и кто-то мне сказал, что в церкви идет богослужение, хотя снаружи церковь казалась темной и пустой. Богослужение шло в подземных залах, под церковью. Там ярко горели свечи, сверкали драгоценные иконы и золотые ризы священников. Слышалось пение стройного хора, ликующие звуки «Христос воскрес!»». А я стояла в темном углу одна и горько плакала. Когда богослужение кончилось, я очутилась на улице. Уже брезжил рассвет, но все окутывал такой густой белый туман, что даже колокольни не было видно. Вдруг все небо порозовело от приближения солнца. И откуда-то сверху в первых лучах солнца спускался муж, весь в белом, и улыбался мне со словами: «Мы с тобой увидимся, только не скоро».

В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ!

Сколько долгих месяцев тюремного заключения мы все думали об *этапе*, о далеком лагере! Сколько было у нас нескончаемых разговоров, питаемых скупыми крохами обрывочных, иногда совершенно фантастических сведений. Сколько мы готовились к этапу — кто как мог! Кто сэкономил продукты, откладывая сухари, сахар из получаемой передачи. У кого не было никакой передачи, тот складывал в маленькие мешочки те микроскопические порции сахара, которые мы все ежедневно получали. Пытались сушить из паек сухари — на задней части нар, на окне, — хотя за это следовала суровая кара! В глазах тюремных надзирателей сушка сухарей являлась сигналом, что заключенный готовится к побегу. Это всегда строго каралось — отбирались все продукты, хотя бы и из домашней передачи. Виновного сажали в карцер; иногда просто переводили в другую камеру.

Я ничего не сушила и ничего не готовила заранее, жила, как говорится, одним днем. Но все же меня часто расстраи-

вал мой «гардероб». Правда, в той единственной передаче, которую принесла мне Шура, было очень много вещей, чрезвычайно для меня ценных: было старое демисезонное пальто, были старые туфли-лодочки, два платья. Но не было ничего из носильного белья, ни одного полотенца, ни одного носового платка. Заметив мое огорчение, мои соседки пришли мне на помощь. Среди них были такие, которые получили в передаче чуть ли не дюжину белья! Мне подарили две дамские рубашки, чулки, трико, что-то еще, кажется, полотенце. Это было еще задолго до этапа, не меньше чем за месяц.

Когда же ожидание этапа превратилось в действительность и мы сидели уже в Краснопресненской пересыльной тюрьме, спешно начались последние приготовления.

Краснопресненская пересылка — тюрьма, совсем не похожая на обычную. Она напоминает скорее большой вокзал, забитый людьми, ожидающими поезда. Люди сидят на полу мрачного зала, некоторые спят на своих вещах.

И я сижу на полу в углу одного зала вместе со всеми своими вещами. И я, как и все окружающие меня женщины, что-то спешно шью из тряпочек, которые подарили мне случайные соседи. Рядом со мной нет никого, кого бы я знала по камере. Лица опять все совершенно новые. Но это не имеет значения. Мы все — заключенные, мы все идем на этап. Значит, мы все равны, все близкие попутчики.

Надзиратели не обращают никакого внимания на то, что у всех в руках иголки и все шьют, хотя прежде в тюрьме по всем камерам всегда проводились жесточайшие обыски для изъятия всех «режущих и колющих» предметов, как то — ножей, иголок и проч., которыми заключенные могли бы лишить себя жизни.

Когда заключенный шел на этап, в этот час тюремные строгости до некоторой степени ослабевали! На Краснопресненской пересылке словно работала артель по мелкому ремонту старой одежды. Но больше всего шили мешки и мешочки. Для шитья пользовались особыми нитками, которые на долгие годы заменили нам обычные катушечные: нитки выдергивались из полотенца, так что все полотенца со временем превращались в сплошное «филе»! Охотно распускали и паголенки чулок, так что чулки иногда едва прикрывали колено.

Во время этих приготовлений к отправке, когда я пересматривала свой «гардероб» и окончательно укладывала все в импровизированный вещевой мешок, я решила, что теперь я настолько богата, что могу поделиться с менее имущими. Одну из подаренных мне рубашек я отдала моло-

дой женщине — тоже Татьяна! Жена командира, она вместе со старушкой матерью и маленькой дочерью эвакуировалась в начале войны в глубокий тыл, под Петропавловск, на станцию Тайнча. Там она попала в тяжелые условия, столкнулась с бюрократизмом местных властей, не сдержалась, за резкое слово попала в тюрьму. Местные судьи не решились, однако, вынести ей приговор и этапом направили в Москву. Там она была осуждена «за болтовню», ст. 58, п. 10, 10 лет. Теперь ее после вынесения приговора опять отправляли на этап. Она пропутешествовала таким образом почти 10 месяцев. Этап, московские тюрьмы, теперь опять — этап. Полная неизвестность о ребенке и о старухе матери, оставшихся на чужой стороне; никаких передач. Одежда, превратившаяся от прожарок в лохмотья. Я дала ей рубашку со словами, что эта рубашка — *залог нашей общей связи*, всех тех, кого постигла судьба «жертв войны». За мной и другие помогли Тане снарядиться в далекий путь, ей надавали немало вещей. Она была в тяжелом психическом состоянии. Из обычной молодой женщины, жены командира, матери ребенка, студентки какого-то института, какой она была до войны, она во время своих невольных скитаний превратилась в человека, потерявшего почву под ногами, закусившего удила и сыпавшего на всех и на вся оскорбления, допускавшего непрерывные антисоветские выпады. Казалось, что она не в своем уме! Оборванная, страшная, с горящими глазами под густой копной черных спутанных волос!

Когда я передавала ей рубашку, я думала, что она швырнет мне ее в лицо! Но вышло наоборот. Татьяна заплакала. Оказалось, что это было первое проявление внимания к ней за эти месяцы. Простая теплота случайных попутчиц сломала в ней нервное напряжение, толкавшее ее на ряд эксцессов. Слезы помогли ей опомниться, взять себя в руки — ради будущей (хотя и далекой!) *встречи с ребенком!*

Здесь же, на пересылке, производился последний *обмен адресами* среди тех, кто не хотел потерять друг друга из вида и, может быть, когда-нибудь, когда все это кончится, найти друзей. Адреса заучивались, как стихотворения, много раз переспрашивались и уточнялись. (И у меня когда-то в голове был длинный список адресов, очень длинный! Но к тому времени, как адреса смогли бы пригодиться, я почти все перезабыла.)

В ожидании этапа казалось очень важным запомнить адреса. Ведь это были для нас «ниточки», связывавшие между собой живых людей, которые часто за несколько

тяжелых дней успевали сжиться и дрожали, что их насильственно разлучат!

Да, немало сил отдали мы подготовке к этапу! Долго ждали мы этой страшной минуты. И наконец она настала.

Пришла и моя очередь. Вызвали «с вещами». «Черный ворон» белым днем везет нас в необычном направлении — подъезжаем к каким-то железнодорожным путям. Здесь нет ни железной решетки, ни высокой каменной стены. Все, как обычно — все открыто, видно далеко. Виднеются отдельные кучки людей с вещами. Около них шагают часовые.

Мы сели на старые шпалы около путей, молча слушали отдаленные гудки паровозов, какие-то звуки уже забытой обычной жизни.

Зачем нас привезли сюда? Как видно, скоро поедем поездом. Каким поездом? Товарным? Пассажирским? Куда нас повезут? Почему и мужчины вместе с нами? Спросить было некого. Казалось, все о нас забыли, никто не замечает. Только часовые шагали неподалеку.

Я смотрела вокруг. Какие-то грязные домишки вдоль путей. Но все же это была Москва, дорогая, любимая с детства, единственная. Сам воздух ее словно придавал бодрость. Но что будет, когда она останется далеко?

Раздалась команда: «Поднимайся! Шагом!»

Путаясь в ногах одна у другой, волоча мешки с вещами, двинулись по путям. Шли долго. Наконец остановились у пассажирских вагонов. Но паровоз еще не был прицеплен. Вновь прозвучала команда: «Садись!» Садиться? Куда? В вагоны?

Нет. Нет. Это началась последняя проверка, переключка заключенных. Садиться в вагоны было еще рано. Пока нужно было *садиться, где стоишь*, вернее сказать, *становиться на колени* там, где стоял, потому что заключенных во время этапа считали только в таком положении, чтобы никто не мог убежать. В том месте, где мы стояли, сбившись в кучу, были большие лужи от недавнего дождя. Под окрики часовых и командиров эшелона пришлось стать на колени *прямо в грязь*. Так, стоя на коленях в грязи, я в последний раз взглянула на Москву, которую мне суждено было не видеть 13 долгих лет! Хотелось все охватить этим взглядом и унести с собой — и высокое осеннее небо, и залитые вечерним солнцем крыши домов, и железнодорожные пути, и склады, и заборы.

Раздалась команда: «По вагонам!» Нас стали грузить в вагоны. Кучки людей, сбившихся, как овцы, начали растягиваться в беспорядочные цепочки. С трудом карабкались на высокие подножки вагонов, падали, роняли вещи.

Цеплялись за ступеньки, путались в вещах, сталкивали друг друга.

Вагон оказался пассажирским. Теперь бы мы сказали, что это был «жесткий купированный вагон». Тогда же мы узнали, что он носит среди заключенных название «столыпинского». В одно-двухместное купе помещали человек 10—12 с вещами. На каждой полке размещалось по два-три человека, также и на самой верхней, вещевой полке, а также и на полу под нижней полкой. Вначале я попала на самый верх. Хорошо было лежать на животе и смотреть сверху вниз в узкую щелку забитого окна. Виден был мелькающий за окном лес, какие-то станции, поселки.

Пока поезд еще не тронулся, в купе стоял такой шум, такой разноголосый спор взволнованных женских голосов, что казалось — купе никогда не успокоится! Наконец все разместились. В двери щелкнул замок. Суэта затихла. Вскоре поезд тронулся. Когда я немного огляделась, оказалось, что никто из сколько-нибудь близких мне людей в это купе не попал. Все лица были опять новые.

Но какое это имело значение! Ведь мы ехали, ехали! И куда бы нас ни привезли, мы увидим там НЕБО, мы будем дышать воздухом!

Наше путешествие было, однако, не из приятных. В купе скоро стало трудно дышать. Открывалось это купе всего два раза в день, как камеры тюрьмы, и тогда нас водили в уборную. Пища же наша состояла из черного хлеба и очень жирных селедочек, которые нам выдали сразу при входе в вагон на все время проезда. Некоторые съели все сразу, и у них открылся понос. Но в уборную все равно не пускали больше двух раз в сутки.

Другие женщины страдали такой неутолимой жаждой, что пили невероятные количества холодной воды. Воду можно было попросить у часового и в неурочное время. Если часовой был достаточно добр, то открывал окошечко и подносил ведро с водой. Кипяток мы видели, кажется, не больше двух раз за все время пути.

Но стоило хорошенько напиться воды, как появлялась «малая нужда», удовлетворить которую разрешалось тоже два раза в сутки. Помню, что одна из попутчиц, женщина уже немолодого возраста, употребляла свою большую литровую эмалированную кружку и для питья воды, и для обратных целей...

Но даже это не могло сравниться с тем, что творилось в соседнем купе, направо от нас. Там ехали мужчины. Их разговоры и проклятия постоянно были слышны. Ругали

одного старика, который мочился в собственные валенки и пропитал все купе жутким зловонием.

Немногим лучше было и у нас. Я, правда, не страдала ни от жажды, ни от других желаний. Я умела всю жизнь пить минимальное количество жидкости, эта счастливая привычка помогла мне и теперь. Селедки я ела мало, крошечными кусочками, заедая большими кусками хлеба. Кружка воды на день. Но мучило другое — на моем «третьем» этаже было так нестерпимо душно, что пот тек с меня и я не могла спать. Мне удалось поменяться, и я заняла место под нижней скамейкой, на полу. Там можно было вытянуться и было очень прохладно. Но только я заснула, как опять проснулась от нестерпимого зуда. Я вся была покрыта мельчайшими живыми точечками — это были малюсенькие клопы, не дававшие покоя ни днем, ни ночью, ведь на полу под нижней скамейкой и днем было темно!

Ехали мы быстро. Наш поезд шел, как настоящий пассажирский. Помню, что до Казани продолжалось затемнение. Переехав Волгу, даже мы, в нашей клетке на колесах, поразились яркому, ничем не затемненному электрическому свету!

Каким-то таинственным образом мы, конечно, скоро узнали, что едем через Казань на Свердловск. У конвоя шел разговор, что нас везут в Карлаг. Это слово не говорило нам ничего. Мы совершенно не знали, где находится этот таинственный Карлаг, думали, что путь наш лежит через Сибирь. Кто-то услышал еще более таинственное слово «Карабас», которое показалось совсем непонятным. Через трое суток пути мы прибыли в *Свердловск*.

Наши двери открылись наконец. Поезд стоял на запасных путях, далеко от станции. Раздалась команда: «Выходи!» Все стали выходить с вещами и прыгать с высоких ступенек на железнодорожное полотно. Долго шли через пути, через товарную станцию. Вышли наконец на улицу. Шли по настоящим городским улицам, по которым ходили трамваи, полные людей, шли — белым днем!

Помню, как один трамвай остановился, пропуская нашу колонну, и из окон трамвая глядели пассажиры — некоторые с явной жалостью, другие с ужасом, третьи равнодушно. Помню чувство жгучего стыда — идти под конвоем по улицам города, когда на тебя глядят обыкновенные люди, не преступники, а ты должен шагать, шагать мимо них под окрики конвоира!

Нас привели в Свердловскую пересыльную тюрьму, где мы были около двух недель в карантине.

В Свердловской тюрьме прилично кормили. Нары были в три этажа. Когда забираешься на самые верхние нары, то все кажется далеким-далеким, даже гул голосов остается внизу. За несколько часов до нашего отъезда в камеру ввели Аню Тарасову, сестру моего мужа. Радость встречи была недолга — мне нужно было опять продолжать путь. На этот раз по улицам Свердловска нас гнали поздно, было безлюдно и темно. Посадка в вагоны происходила тоже почти в темноте при яростных криках конвоя и проклятиях начальника эшелона.

И вот мы опять в каком-то вагоне, и опять кругом новые лица.

Единственным ярким впечатлением для всего эшелона была неожиданная встреча во время посадки одной заключенной с сыном, ехавшим на фронт. Имя этой заключенной передавалось из уст в уста по всему поезду. Звали ее Голосова Нина Александровна, жена известного русского архитектора. Я мимолетно видела ее в одной из камер Бутырок. Высокая, стройная, красивое лицо с большими синими глазами, обрамленное каштановыми локонами. Совсем еще молодая — лет 30 с небольшим.

Сын, совсем молодой мальчик, такой же высокий и красивый.

Эшелон красноармейцев, отправлявшихся на фронт, стоял бок о бок с нашим составом. Нина Александровна увидела сына издали, когда поднималась на ступени своего вагона. Она страшно закричала, упала на площадку. Конвой подхватил ее и впихнул в вагон. Но сын *услыхал* голос матери и тоже с криком: «Мама, мама!» кинулся к ее вагону. Его схватили, увели...

Дня через два мы прибыли в Петропавловск. Приехали ночью. От станции до города было несколько километров. А ведь для нас теперь в любом городе было только одно гостеприимное место — тюрьма.

Шли по шоссе в полной темноте, взявшись за руки, таща один другого. Шли, утопая в грязи, падая в какие-то ямы и канавы. Некоторые теряли в темноте вещи, падали сами. Я ничего не видела в темноте и спотыкалась на каждом шагу. Но мне попались добрые попутчицы, они упорно тащили меня за собой. И мы наконец дошли и прямо ночью попали в темную мрачную баню с низким деревянным потолком, с темными закопченными стенами. Деревянные лавки были непомерной ширины и толщины, а на них стояли деревянные шайки, такие большие и тяжелые, что их даже без воды едва можно было сдвинуть с места! Словно здесь когда-то парился Ермак Тимофеевич или кто-то другой богатырской силы.

После бани, еще распаренные, с мокрыми волосами, мы попали в какое-то темное, мрачное помещение с выбитыми стеклами. Ветер гулял по этому холодному «сарая». Еще в бане я встретилась с одной старой знакомой по Бутыркам — Варварой Петровной Марковской.

Старая опытная медсестра со стажем, еще со времен гражданской войны, она была в 1941 году старшей сестрой-хозяйкой одной московской больницы. В момент московской паники 16 октября 1941 года ее непосредственное начальство, пользуясь паникой, захотело присвоить себе имущество больницы. Но Варвара Петровна отстаивала вверенное ей имущество. Тогда этот человек для спасения своей шкуры прибег к испытанному средству контратаки — обвинил ее в том, что она «ждала немца» и для немца хотела сохранить имущество больницы. Арест. Тюрма. 10 лет. Когда я встретила Варвару Петровну в камере осужденных в Бутырках, она была в тяжелом состоянии. Сознание чудовищной несправедливости словно раздавило ее. Она почти не разговаривала, ничего не ела, только пила чай с хлебом. Часто угощала меня своей порцией супа или каши. И все-таки рассказала свою историю.

Вот с этой Варварой Петровной я и встретилась в бане Петропавловской тюрьмы. И с ней я легла рядом на голые грязные нары в холодной пересылке.

Варвара Петровна чувствовала себя очень плохо. Ее бил озноб, она вся горела. Мы легли рядом, я старалась согреть ее своим телом и укрывала своей меховой дохой. Когда мы доехали до Карабаса, у нее оказалось тяжелое крупозное воспаление легких, и она надолго задержалась в больнице и отстала от нас.

КАРАБАС

Карабас — что за таинственное слово? Что это? Место? Учреждение? Где это? На востоке? На севере? Почему нас везут в Карабас?

Этот вопрос мы много раз задавали себе во время этапа, после того, как кто-то из нас услышал разговор конвоя, что этап следует на Карабас. А мне, как это нередко случается в самые печальные минуты, все шло на ум шутовское детское воспоминание о маркизе Карабасе из сказки о «Коте в сапогах». Больше я не могла вспомнить, чтобы когда-либо слышала это слово.

Вот мы наконец и на *Карабасе*! Во-первых, Карабас оказался небольшой железнодорожной станцией, куда мы прибыли утром в конце сентября 1942 года. Идти на этот раз было недалеко, и по дороге не было почти никаких строений.

Вскоре мы увидели колючую проволоку, а за ней низкие глинобитные постройки с земляными крышами и чисто побеленными стенами. Ворота растворились, и нас впустили в большой двор, обнесенный колючей проволокой. Как бы ни высока была колючая проволока, натянутая на большие столбы, все-таки это — не стена, не серый камень или красный кирпич. Кругом все было видно.

Были видны невысокие горы, кольцом окружавшие поселок. Сопки — по местному названию. Видно было высокое небо.

Двор порос сухой травой. Можно было сидеть в бараке, можно было ходить по двору. Ты был в зоне — так называлось пространство, оцепленное колючей проволокой. Пускай ночью вдоль зоны бегали громадные злые псы на длинных цепях и шагали часовые. Все-таки по двору можно было ходить. Можно было сидеть на сухой траве. Никто не ходил за тобой по пятам. Даже в уборную, которая была внутри зоны, можно было ходить одному, сколько тебе захочется.

Баракы были похожи на большие землянки. Низкие, темные, с земляным полом, обмазанным глиной. Нары были совсем необыкновенные — они были *плетеные*, как корзины.

Все это я помню очень смутно. Лучше всего — помню кусок двора за бараком и вид на сопки, на которые я глядела и не могла наглядеться. «Карабас» оказался центральным пересыльным пунктом *Карлага* (Карагандинского трудового исправительного лагеря). Вот куда занесла нас судьба.

На Карабасе нам предстояло опять отбыть карантин, 14 дней. После этого нас должны были отправить на место конечного назначения.

Из всех 14 дней я помню бесконечные тревожные разговоры о нашем самом близком будущем. Знакомых по тюрьме собралось довольно много. Садились небольшими кучками на нарах или где-нибудь во дворе и без конца обсуждали разнообразные сведения, получаемые всеми возможными путями.

Мы узнали, что Карагандинский лагерь очень велик, что он находится в Казахстане, неподалеку от угольного города Караганды. Карлаг состоит из разных отделений, носящих различные, самые странные для нас названия. В этих отделениях громадные хозяйства — огородные, полеводческие, скотоводческие, овцеводческие, где работают одни

заключенные. Начальники в этих отделениях все вольные, обычно военные. Начальники приезжают на Карабас набирать себе рабочую силу. Кто куда из нас попадет, в какое отделение будет происходить набор, неизвестно. Все — дело случая.

Перед тем, как этот случай повел меня по моей дороге, еще один маленький случай, счастливый, но в то же время и печальный, опять свел меня с дорогим мне человеком. На Карабасе я в третий раз (и на этот раз последний в жизни!) встретила сестрой моего мужа Аней. Она опять *догнала* меня, как это недавно случилось в Свердловске. Но на этот раз мы были вместе не пару часов, а не меньше недели. Мы успели подробно рассказать друг другу обо всем, что произошло с нами за время нашей разлуки. После отъезда из Таганки Аня все эти месяцы была во Владимирской тюрьме. Там ее разыскали дети и привезли передачу. Там же ей зачитали постановление Особого совещания о вынесении ей приговора со сроком наказания 5 лет. После этого она и была направлена, тоже через Свердловск, на станцию Карабас.

Аня очень изменилась за это время. Сильно осунулась, лицо было усталое, она постоянно кашляла. Но тогда еще не потеряла своей обычной энергии и немедленно пошла на работу, в местную пошивочную мастерскую. Хотя и не разрешалось допускать на работу заключенных, не прошедших еще карантин, в пошивочную, поскольку это было гоже в зоне, только за другими воротами, иногда выпускали. За куски хлеба, миску супа такие добровольные помощники часто помогали основному персоналу, занимавшемуся лочинкой старого лагерного обмундирования.

Аня вставала на рассвете, натягивала старое ватное толупальто (еще домашнее) на худенькие плечи и отправлялась на работу. Возвращалась вечером с карманами, набитыми кусками хлеба, которыми она немедленно со мною делилась.

По вечерам мы сидели вместе на нарах и подолгу разговаривали. Аня часто плакала, вспоминая о детях. Но главным источником ее слез была я. Она очень жалела меня, считая, что я сразу пропаду в лагере: не сумею, расталкивая более слабых, бежать за котелком супа, не сумею сохранить свою пайку хлеба. Сильные и беспощадные бандиты, которыми полон лагерь, забьют меня, и я вскоре погибну. Зедь я не представляю себе — что такое *лагерь*!

В тюрьме мы жили в очень тяжелых условиях, сильно олодали, но никто ни у кого ничего не отнимал. Там мы были среди равных, нас окружали такие же женщины, как мы сами. А в лагере полно *настоящих* преступников, таких,

каких мы еще никогда не видали, — бандитов, воров, убийц... Эти страшные люди ненавидят нас, политических.

— Бедная, бедная Нина! — приговаривала Аня, обнимая меня. — Если бы нам удалось попасть вместе, я всегда бы заработала кусок хлеба шитьем и помогла бы тебе! Я бы грудью своей защитила тебя от злых людей! Ведь я видела больше горя, чем ты, лучше знаю жизнь. Ты же пропадешь! Ты же сразу пропадешь! Ведь не лагерь страшен, *люди страшны!*

И она плакала, сжимая меня в своих объятиях, как ребенка.

Бедная дорогая Аня! Ты не знала, что судьба судила иначе. Как ни трудно мне было, но я все-таки **ВЫЖИЛА**, а ты — погибла. И никто, даже из твоих близких, не знает, где и что с тобой случилось! Несмотря на все старания, ни на один наш запрос не было получено точного ответа.

Словно ветер подул — и унес куда-то песчинку! Как-то утром Аня, как обычно, пошла в пошивочную на работу. Меня же вызвали «с вещами». Я ушла из барака, и мы с ней даже не смогли проститься!

Накануне отправки на работу, в последний вечер на Карабасе я встретила еще раз с Татьяной (Татьяной Вениаминовной Водопьяновой), моей знакомой по Бутыркаму. Мы очень обрадовались друг другу. Мелькнула надежда, что нам удастся попасть в одно отделение или хотя бы не совсем потерять друг друга из вида.

Но это нам не удалось. Хотя Таня и осталась жива, но увиделись мы с ней только через 16 долгих лет!

Окончание следует



Григорий Кочур
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ
О ЕЛЕНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ ИЛЬЗЕН

Я был приговорен, как «украинский буржуазный националист», к десяти годам «исправительно-трудового лагеря». Судили меня в Полтаве, местом заключения оказался поселок Инта в Коми АССР (теперь это уже город). Там я работал на шахте — сперва откатчиком угля, позже освоил профессию нормировщика. После освобождения остался на той же работе. Разница заключалась в том, что в лагерной зоне я только работал, а жил уже в поселке, мог бывать всюду, где хотел, и если раньше с конторой нашей организации общался только по телефону, то теперь мог явиться туда собственной персоной.

В здании, где помещалась контора, имелось некое подобие библиотечки с читальней. Там можно было посидеть, почитать свежую газету или журнал, были даже книги, но ассортимент их весьма скуден. И вот однажды заведующая этой читальни сообщила мне, что ее командируют в Ленинград, там она сможет достать кое-какие новинки и что я могу заказать ей то, что меня интересует. Я, конечно, назвал Ахматову, Мандельштама, Пастернака. Все это слушала сидящая вблизи женщина. Слушала с иронической улыбкой. Потом встала и подошла ко мне с такими словами: «Ну, вы, кажется, тоже сумасшедший, вроде меня. Давайте знакомиться». Так я познакомился с Еленой Алексеевной Ильзен. Она свой срок отсидела севернее Инты, в Воркуте, теперь возвращалась домой, в Москву, сделала остановку, чтобы посмотреть Инту, и тут наткнулась на меня. На прощание дала свой московский адрес.

Через некоторое время уехал и я в Киев, добился реабилитации («поздний реабилитанс», как говорил покойный академик Александр Иванович Белецкий), возобновил свои литературные связи. У нас в Киеве при Союзе писателей организовали комиссию художественного перевода, в которую я тоже вошел. В тогдашней централизованной структуре наша комиссия была только филиалом. Центральное бюро художественного перевода находилось в Москве, и я при-

езжал туда на различные совещания или на «симпозиумы» — этот термин входил тогда в моду. Приезды в Москву давали мне возможность повидаться с друзьями — например, с Александром Иосифовичем Дейчем и его супругой Евгенией Кузьминичной, которые, кстати, жили поблизости от дома Елены Алексеевны. У Елены Алексеевны появилось тогда новое амплуа — знатока и популяризатора самиздата — литературы «отреченной», произведений, не попавших в печать или запрещенных, распространение которых считалось делом уголовно наказуемым. Помню, как я должен был за ночь прочесть машинописный экземпляр «Котлована» А. Платонова — утром эта машинопись переходила в руки следующего, очередного читателя.

Елена Алексеевна любила «дарить» своих друзей. Мне она «подарила» Шару Кариг, венгерскую общественную деятельницу и поэтессу. Шара Кариг сидела в лагере вместе с Еленой Алексеевной. Может возникнуть вопрос: почему гражданка Венгрии очутилась в «нашем» лагере? Ответить не трудно: Венгрия — страна дружественная, принадлежащая к социалистическому лагерю. Больших просторов в ней нет, значит, нет места и для отдаленных лагерей. Но мы с друзьями делились всем, в том числе и лагерями. Отсидев свой срок, Шара уехала домой, в Будапешт. Елена Алексеевна со своим супругом Георгием Львовичем Грином ездила к ней. Я такой роскоши не мог себе позволить: был «невыездным», то есть в поездках за границу мне попросту отказывали. Однажды Елена Алексеевна приехала к нам в Киев, познакомилась с моей покойной женой Ириной Михайловной: та тоже отсидела свои десять лет, но в Абези — южнее Воркуты, севернее Инты. Приехала Елена Алексеевна тогда с печальной вестью: был убит наш общий друг Константин Богатырев, замечательный переводчик стихов Р. М. Рильке. Убийство Богатырева, тоже побывавшего в лагере, связывали с его намерением написать воспоминания, о котором он неосторожно информировал излишне широкий круг своих знакомых. А знал Богатырев очень много...

Изредка мы обменивались с Еленой Алексеевной письмами. Была она в этом жанре изобретательна и остроумна, потому не могу отказать себе в удовольствии привести одно из ее писем.



Елена Ильзен

4. III. 61

Дорогой Григорий Порфирьевич!

Пишу Вам «не в счет», просто у меня неожиданно выдалось свободное утро, и я спешу заполнить все переписочные дыры и выполнить обещания. Посылаю Ахматову и Лысогорского (далее следовало два тогда еще не напечатанных стихотворения Ахматовой и заинтересовавшего меня Ондры Лысогорского).

Еще посылаю Вам перевод Кости Богатырева — стихотворение Рильке, посвященное Шевченко. Как гласит легенда, Рильке увидел в Киеве посмертную маску Шевченко и написал это стихотворение. Если Вам не известен оригинал, могу прислать:

СМЕРТЬ ПОЭТА

Его недвижный отрешенный лик
Приподнят в изголовии отвесно.
Весь внешний мир с тем, что ему известно
Об этом мире было, — канул в бездну,
В довременье и безучастье сник.
Никто на свете ведь не знал о том,
Насколько тесно он был с этим связан:
С водою этой, глубию этой, с вязом,
Что было это все его лицом.
И до сих пор лицо его — приманка
Для шири, что была ему верна.
Мертвеет маска... Но пока она,
Как тронутая воздухом изнанка
Плода — какой-то миг еще нежна.

Вот. Неплохое письмишко? А теперь я ложусь поживать на лаврах и ждать, когда Вы выплатите хоть проценты по вексялям.

Ирине Михайловне привет.

Ваша Е.

В один из моих приездов Елена Алексеевна сообщила новость: в Москву приехала Ахматова. Остановилась она, как обычно, у Ардова, с женой которого дружит, у нее неважно с сердцем, даже в больнице лежала, а теперь выписалась. Условлено, что завтра в одиннадцать мы будем у нее. Только

визит должен быть коротким, и в разговоре нужно избегать тем, которые могли Анну Андреевну волновать.

Визит состоялся. Нам открывает дверь Ардов в пижаме, рысцой добегает до комнаты и скрывается в ней, а оттуда величественно выплывает Анна Андреевна. Мы подходим к маленькой боковушке, в которой стоит простая кровать без спинки — на ней, очевидно, спит Анна Андреевна. Она садится на кровать, мы — на табуретки (уже в коридоре). Говорю, что я перевожу стихи на украинский язык, приехал на совещание переводчиков, узнал, что Анна Андреевна в Москве, и, как давний почитатель ее поэзии, счел нужным нанести визит.

Отвечает, что очень любит Киев: там училась, там работала, там венчалась с Гумилевым. Что касается перевода, то у них в группе акмеистов был тоже переводчик, Михаил Лозинский.

— Был он очень ученый и всех нас поправлял. Вот есть у Мандельштама стихотворение обо мне. Помните?

Я, чтобы доказать, что помню, тут же привел эти восемь строк:

Вполоборота, о, печаль,
На равнодушных поглядела,
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.

Зловещий голос, горький хмель,
Души расковывает недра:
Так — негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель.

— Вот мы говорим «негодующая Федра», а раньше ведь было «отравительница Федра». Лозинский говорит Мандельштаму: «А ты тут напугал, Осип. Это Медя отравительница, а Федра никого не отравила». Вот тогда и появилась это «негодующая».

Елена Алексеевна позже комментировала нашу беседу так: «Тут у них начался великолепный треп на переводческие темы. О моем существовании они забыли вовсе». Это совсем не так: Елена Алексеевна не была статистом в этом «трепе». В частности, она спросила: «Анна Андреевна, вышел Франко на русском языке, есть там стихи в Вашем переводе. Это как же, Вы с подстрочника переводили?» На лице Анны Андреевны — благородное негодование: «Милая моя, вы, кажется, забыли, что моя фамилия — Горенко!» Смысл восклицания таков: человек, фамилия которого кончается на

«енко», может переводить украинские стихи без помощи подстрочника.

Мы помнили, что наш визит должен быть кратким, и порывались уйти, но нас остановила просьба: «Посидите еще немножко». Уйти удалось чуть ли не с пятой попытки. Состоялась еще церемония авторского преподнесения книг. В наличии оказались «Лирика Древнего Египта», где есть переводы Ахматовой, и ее книжечка из серии «Мастера поэтического перевода». Я хотел, чтобы одна книжка была подарена мне, другая — Елене Алексеевне. Но Елена Алексеевна сказала, что на днях она зайдет с томиком оригинальных стихов Анны Андреевны и попросит ее написать именно эту книжку. На том и порешили. Я сразу уехал в Киев. Надпись на подаренной мне книге датирована, она такова: «Григорию Порфирьевичу Кочуру на память об А. Ахматовой. 27 февраля 1966. Москва». А 5 марта я уже читал сообщение о смерти Ахматовой...

«Абсолютный блеск!» — такой формулой любила пользоваться Елена Алексеевна Ильзен, когда речь заходила о том, что ей особенно нравилось. Именно этой формулой хочется определить духовный облик этой неординарной личности. Такой она сохранилась в моей благодарной памяти. Ну, а для тех, кто хотел бы подробнее познакомиться с ней, остались ее стихи, ее статьи.

СУДЬБА И КНИГА

(Заметки о книге Т. В. Петкевич
«Жизнь — сапожок непарный»)

Это именно заметки, а не рецензия в традиционном понимании жанра. Конечно, и в небольшой рецензии можно было бы найти немало слов в пользу автора, но трудно было бы рассказать о глубине сопереживания и еще труднее — определить значимость книги как общественного явления: этот труд относится к разряду тех документальных свидетельств, на основании которых можно писать диссертации.

Все сказанное как бы заранее предупреждает, что попытка пересказать содержание книги — абсолютно бесполезное и бессмысленное занятие. (Попробуйте пересказать содержание «Архипелага ГУЛАГ»... Охарактеризовать этот труд можно, но пересказать? Для этого просто надо воспроизвести его полностью, от первой до последней страницы.) С чем-то подобным сталкиваешься и при чтении книги Тамары Петкевич, хотя в отличие от документальной эпопеи А. И. Солженицына книга Т. Петкевич сюжетно выстроена как хроника одной судьбы — собственной судьбы автора. И главное не столько в том, как и в каких деталях повествует автор о своей жизни, сколько в том предельном духовном напряжении, которое потребовалось для выживания в безнравственную эпоху. Судьба автора драматична и убедительна именно как урок нравственного бытия в условиях, казалось бы, начисто исключаящих такую возможность. И убедительность эта не имеет ничего общего с нравочительством. Сила этого примера определяется теми естественными, нормальными, чисто человеческими свойствами души, на фоне которых удручающим контрастом проявляются патологические черты общества.

Удивительны и просто невероятны бывают итоги ежедневной незримой борьбы одного человека с целой системой. Только один факт из книги. Один — потому что все остальное людям, имевшим несчастье отбывать сроки в

сталинских лагерях, будет понятно без всяких дополнительных комментариев.

Когда в лагере, в больничном бараке, от неизлечимой болезни умирал муж Тамары Петкевич, она была уже «вольной» и жила за зоной, тут же, в поселке, почти все население которого, по существу, состояло из бывших зеков. В пределах, разрешенных ей режимом, она могла бы уехать в какое-нибудь более благоустроенное место, по крайней мере — куда-нибудь, где можно было бы найти какую-то работу. В небольшом поселке, где все друг друга знали, где бывшие лагерные друзья из-за доносов остерегались в открытую поддерживать дружеские отношения (опасались того, чего не опасались в лагере!), Тамара Петкевич оказалась без средств к существованию и практически в полной изоляции. Люди, которые в зоне годами делились друг с другом последним сухарем, встречая ее на улицах поселка, виновато отводили глаза. Но о том, чтобы куда-то уехать до тех пор, пока не освободится любимый человек, — у нее и мыслей не было. А самым большим преступлением в глазах местных властей, преступлением, за которое можно было тут же схлопотать новый полновесный срок, были попытки поддерживать контакты с теми, кто находился в зоне.

И вот она узнает, что ее муж неизлечимо болен. Она идет к начальнику лагеря с просьбой предоставить ей свидание с мужем. Начальник был из тех, попадаясь на глаза которым избегают не только заключенные, но и собственные подчиненные — офицеры НКВД. Выслушав, он задал только один вопрос: понимает ли она, чего просит? Получив утвердительный ответ, молча выписал пропуск. Когда она шла по территории лагеря, она не знала, выйдет ли через час оттуда. Но ее выпустили. Буквально за несколько дней до смерти мужа она вторично пришла к начальнику лагеря. На сей раз он подписал пропуск, не задавая вопросов и не глядя на нее. После смерти мужа она пришла в третий раз. То, с чем она обратилась к начальнику, на официальном языке системы называлось «склонение к должностному преступлению». Она просила выдать ей тело мужа для захоронения на поселковом кладбище. Трудно представить себе, в какой отрешенности от возможных последствий для собственной жизни нужно находиться, чтобы этот состояние передалось начальнику лагеря. Не будем даже пытаться гадать, что в тот момент испытывал офицер НКВД, но произошло то, что произошло: он позволил ей вывезти тело из лагеря. Муж Тамары Петкевич был похоронен на поселковом кладбище, как хоронили вольных, и об этом знал весь поселок...

Повторяю: пересказывать отдельные эпизоды из этой книги — занятие бессмысленное. Книга написана, и ее надо читать. Пожалуй, этим — в разговоре о самой книге — можно и ограничиться. Но тут возникает один принципиальный момент.

Дело в том что книга Т. Петкевич, как и многие подобные хроники, представляет собой уникальный пласт послевоенной отечественной литературы, не имеющей аналога в современной мировой литературе, как не имеет аналога в мировой истории весь советский период жизни. По всем формальным подходам такая постановка вопроса может быть оспорена, поскольку по жанровым (повторяю — формальным) признакам произведения такого рода безоговорочно могут быть причислены к безбрежному морю мемуаристики и тем самым вопрос об уникальном специфическом пласте снимается без дискуссий. Но это — если игнорировать содержательную сторону вопроса. Если же говорить о содержательности, то перед любым литературоведом сразу возникает серьезная проблема: проблема критериев художественности, которая традиционно — за редчайшими исключениями («опыт художественного исследования») — не распространяется на документальную прозу. Чем определять меру таланта пишущего, если все рабочие критерии, сформировавшиеся задолго до наших дней, прямо скажем — задолго до XX века, относятся, в основном, к художественной прозе? К областям беллетристики, в которой одаренность творца в огромной степени определяется природными возможностями его воображения и эстетическим уровнем мышления? Если определенная заданность подхода как бы изначально оставляет за пределами художественности все то, что не отвечает выверенному академическому стандарту? По одной этой причине все документальное (в силу своего происхождения) вытесняется из области «язящной словесности» в какую-то прикладную, «подсобную» сферу. Что делать, если сам по себе консерватизм академических критериев творчества во многом определяет устойчивость искусства как такового?

Это действительно реальная и весьма непростая проблема. На фоне устоявшейся системы оценок любое документальное произведение сразу попадает в разряд явлений, оцениваемых по «правде факта». Но ведь это — явление скорей юридическое и моральное, нежели художественно-эстетическое. Тем самым мы выстраиваем уже с другой стороны искусственную границу, разделяющую акт творчества изнутри... И вот мы берем в руки книгу,

которая, без всяких сомнений, содержит истину более высокую, чем просто «правда факта». Мы берем — по форме — автобиографическое повествование, в котором переплавлена в единое целое органика жизни всего общества в определенную эпоху. И — в силу средневековой простоты жанра (хроники), от которого впоследствии произошло все разнообразие художественных форм в прозе — сама историческая эпоха, выраженная в личной судьбе творца, предстает столь полно и глубоко, как не предстает она в традиционных эпических жанрах. Но мы этого как бы не замечаем...

Жизнь XX века в некоторых ее проявлениях настолько плотна, что не оставляет места работе воображения.

В XX веке обнажилась пропасть между представлениями человека о реальности и самой реальностью как таковой. Корректировать свои представления о мире, в котором живет, человек не успевает. Скажите, кто в сороковых годах прошлого столетия мог предвидеть, что спустя век в центре Европы — в центре мировой цивилизации! — будут построены огромные промышленные зоны для уничтожения миллионов людей? Кто — в те же годы — в России мог предположить, что спустя десятилетия в стране при активном участии всего народа воцарится режим политической деспотии, который принесет беды, не сравнимые ни с каким иноземным вторжением? Кто предполагал, что поступательное развитие цивилизации не влечет за собой автоматически гуманизации общественных отношений? Что многовековое стремление российской интеллигенции к достижению гуманистических норм бытия будет похоронено в одночасье и что страна сорвется в бездну «первобытной демократии», когда представители всех слоев общества уравниваются в правах у начальной черты — черты элементарного выживания, за которой только рабский лагерный грод, истощение и смерть?

Между тем все это — историческая реальность. Проза жизни, потребовавшая от человека даже не навыков — у современного человека таких навыков нет, — а концентрации всех духовных сил. Причем — в каждый прожитый день. И для того, чтобы написанное передавало это, надо обладать той же способностью. Не каждый, кто кил такой жизнью, в состоянии потом ее описать. Книги, подобные той, о которой мы говорим здесь, порождены не столько культурной средой с ее традициями, ее склонностью к элитарному существованию, сколько сверхмощным (уховным напряжением природы неординарного человека. Через сверхусилия одного мы постигаем судьбу миллионов.

К подобным произведениям с полным правом могут быть отнесены вышедшие в последние годы книги Е. Керсновской («Наскальная живопись»), О. Адамовой-Слиозберг («Путь»), Н. Гаген-Торн («Методіа»), И. Фильштинского («Мы шагаем под конвоем») и некоторые другие. И совершенно не важно, что, как правило, эти произведения автобиографичны, что у большинства авторов каждая такая книга — единственна, как сама жизнь. Важно то, что этот вполне сформировавшийся пласт нашей современной литературы, будучи «предоставлен» сам себе, доводит до общественного сознания те реалии нашей истории, которых современная художественная проза с похвальной аккуратностью старается не касаться. На первый взгляд такая старательность говорит о том, что вопрос исчерпан. Но это только на первый взгляд... На самом деле ситуация удручающе проста: новая — послесталинская — генерация писателей пока еще не в состоянии освоить трагический опыт предыдущих поколений.

Сегодня у нас нет еще элементарно объективных школьных учебников по истории. Нет никаких пособий, на простых примерах объясняющих даже детям, что такое жизнь при тоталитарном режиме. Но каждому, кто прочтет, например, книгу Тамары Петкевич, уже никогда и ничего не нужно будет по этому поводу объяснять...

8

ГЕОРГИЙ ВАГНЕР

Я хочу рассказать о том, о чем мало кто знает. Рассказать вам о последнем году жизни Георгия Карловича. Этот год прошел за закрытыми дверьми квартиры, больниц, машин «скорой помощи». Двери открыты были только для врачей.

Когда в ночь на 2 марта Г. К. на «неотложной помощи» попал в больницу, это было полной неожиданностью для всех, в том числе и для него самого. Три дня врачи безуспешно пытались остановить урологическое кровотечение. На четвертый день он оказался на операционном столе. 27 марта его выписали из больницы. Он был настолько слаб, что пугал время суток, не сразу узнавал приходивших к нему людей. Врачи прекрасно понимали, что отдают нам смертника. Его ждало постепенное угасание. По прогнозам, жить ему оставалось две-три недели.

Но нам удалось найти врача, сделавшего, казалось бы, невозможное. Методами китайской медицины он «собрал» рассогласованные системы организма, вернул в строй его кроветворную систему, и силы начали возвращаться. Георгий Карлович стал есть, а потом и ходить. В гостиной он слушал музыку: кантату «Иоанн Дамаскин» Танеева, «Патетическую» сонату Бетховена, Рахманинова — 1-й и 3-й концерты, литургию Иоанна Златоуста, сонату для виолончели и фортепиано, рапсодию на темы Паганини.

Через некоторое время он начинает работу над рукописью статьи о картине Крамского «Христос в пустыне», идея которой возникла у него под впечатлением заметки «Христос — величайший атеист» Глеба Прохорова в журнале «Вопросы искусствознания». Он работал на кухне за обеденным столом, чтобы не тратить время и силы на переход из одной комнаты в другую. Его любимым местом в квартире стала кухня, в которой вокруг его рабочего места выросли горы книг: на старом холодильнике, на табуретке, на стуле, на перекладине обеденного стола. Книгам не хватало места.

Он говорил про свою спальню-кабинет: «Я свою комнату теперь ненавижу — там я болею, там я бездельничаю, а здесь, на кухне, я живу».

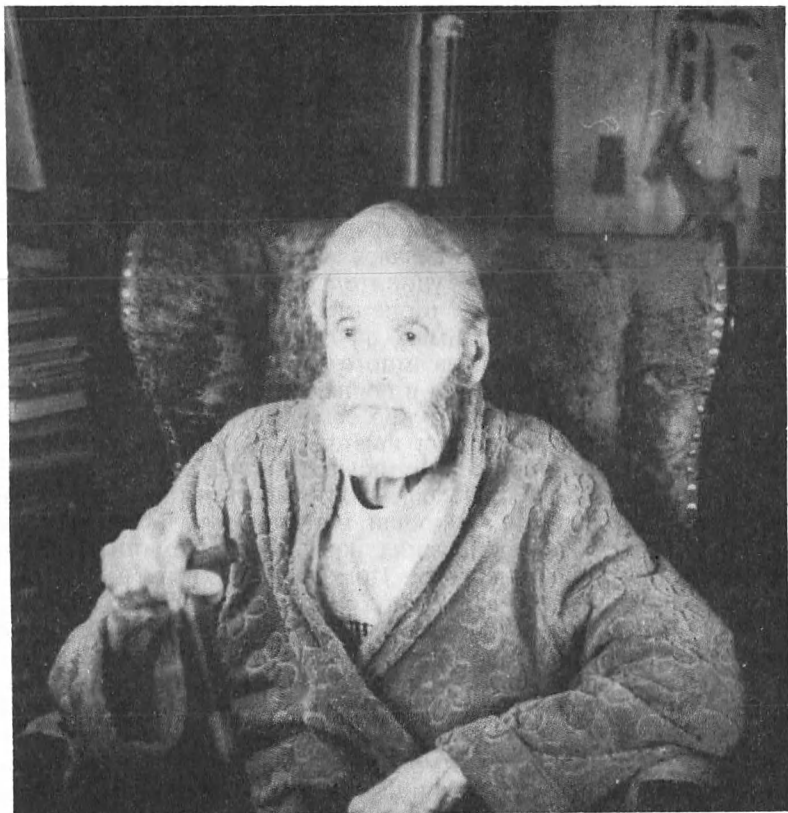
Вообще этот год он целиком был погружен в сферу духовных интересов, в свой собственный внутренний мир. Он торопился работать. Он говорил: «Если мне будет отпущено еще жить, то писать я буду только о проблемах духовности, о главенстве духовного начала». Этому и была посвящена статья о картине Крамского «Христос в пустыне».

Мы должны были уложиться в два месяца для восстановления и через два месяца сделать второй этап операции.

...Мы перевезли его в госпиталь. Конечно, для операции он в тот момент оказался слаб. Надо сказать, что всех его врачей поражали удивительная сила духа, мужество и стойкость Г. К., его терпение. «Главное в жизни — спокойствие», — его любимая фраза и жизненный принцип, выработанный им на многотрудном пути. Эту фразу особенно часто он повторял в последний свой год и вслух, и, вероятно, еще более часто — про себя. Вернувшись из госпиталя, потерявший часть сил физических, но не душевных, Г. К. в первый же день сел дописывать начатую статью.

Он обдумывал философско-художественные проблемы искусства, а между тем прошли отпущенные два месяца, и начались боли. Он не объяснял нам, насколько они сильны, и вообще почти не жаловался. Помог тот же врач, что вернул его два месяца назад с того света: он поставил ушную акупунктурную иглу, и боли стали проходить. Георгий Карлович набирал силы и работал, работал, работал. Он мог уже ходить по квартире без палочки и печатал на машинке (часть из написанного в это лето была отпечатана им самим). Как-то раз он продемонстрировал мне и моему мужу, как он «бегает трусцой» по коридору квартиры. Врач, лечивший его, понимал, что перед ним человек, стоящий над миром земных проблем и суеты, осмысливающий бытие с высоты своей духовной неповторимости. «То, что пишет Г. К., — говорил он, — отражение его внутреннего мира. Он живет в другом измерении, чем мы все, в других, самых высших слоях ноосферы». Надо сказать, что этот последний свой год Г. К. уклонялся от разговоров на бытовые темы, просто «отключался», уходил в себя, внутрь, в глубину надмирских проблем. Отдыхом от умственного труда была музыка, классическая и духовная. Качество звука не мешало ему, он воспринимал ее как бы по памяти.

Был момент, когда состояние временно ухудшилось, ему разрешили только читать, но не писать. И он прочел за это



Георгий Вагнер

время удивительно много, то, что хотелось прочесть раньше, но «не доходили руки». Мы с мужем приносили ему из своей библиотеки Кафку (двухтомник), где ему особенно понравились романы «Америка», «Процесс» и неоконченный «Замок».

Понравился Г. Белль, которого Г. К. сначала укорял за «бытописание», но потом все-таки оценил и философскую сторону его творчества. Очень интересное отношение вызвал у него Набоков. В нашей библиотеке Набокова было немного: автобиографическая повесть «Другие берега», рассказы и романы — «Защита Лужина», «Камера обскура», «Подвиг» и, конечно, «Лолита». Г. К. был человеком удивительно чистым, и я сочла своим долгом предупредить, что одно произведение «эротическое». Он поморщился, но сказал: «Ну ладно, давай и эротическое тоже. Читать надо все». Он прочел все и сказал: «Больше всего мне понравилась «Лолита». Роман этот никакой не эротический, а глубоко психологический, точнее, социально-психологический. И дураки были те, кто здесь его запрещал, и дураки были те, кто его там запрещал. Это самая глубокая из набоковских вещей. А остальные — так, размазня какая-то, самокопание и самолюбование. Набоков мне понравился меньше всех остальных». Особенный интерес у него вызывало все, что было связано с личностью Марины Цветаевой и Ариадны Эфрон. Надо сказать, что Г. К. не очень интересовался поэзией. Он воспринимал поэзию не с эмоциональной, а с философской стороны. Читать стихи Цветаевой он не стал, зато с огромным интересом прочел автобиографическую прозу, воспоминания о современниках и ее статьи из сборника «М. Цветаева об искусстве». Он сказал: «Я не ожидал, я не ожидал, что Ц. была такая умная». Он прочитал также воспоминания Анастасии Цветаевой и книгу Вероники Лоской «Цветаева в жизни». Ему было крайне интересно все, что касалось Ариадны Эфрон, ведь они вместе работали в Рязани с 1947-го по 1949 год. В его жизни это был промежуток между Колымой и повторным арестом, а Ариадна Сергеевна так же, как и он, только что вернулась из лагеря. Они преподавали в рязанском художественном училище: он — историю искусств, она — графику. Ариадна Сергеевна, по воспоминаниям Г. К., «была очень остроумна и окружена вниманием». Но в ее окружение он, по его выражению, «не вписался». Г. К. объясняет это тем, что он всегда был далек от поэзии, а творчества Марины Цветаевой не знал совсем. Ему казалось, что уровень интересов и тонкость восприятия жизни у Ариадны Сергеевны были намного выше, чем у него. Но как вспоминал Г. К.:

«...единство судеб, конечно, не могло не сказаться. Это проявлялось во взаимной теплоте обращения и в общности психологии». В книгах о судьбе Цветаевской семьи его поразила тяжесть детства Ариадны. Он сказал: «Какая тяжелая судьба... И как это отличается от моего детства. А я ничего об этом не знал». Он очень жалел, что уклонился от встречи с Эфрон после их возвращения в Москву в середине 50-х. Он знал, что во времена Хрущева за ним была слежка, и боялся подвести других, вернувшихся из «мест не столь отдаленных». Сейчас он казнил себя и говорил: «Я струсил... Я струсил тогда и не могу себе этого простить. Можно было бы найти какой-то выход. А она так искала встречи... Если бы я только знал о ее судьбе...» Но главной из литературных книг этого года была «Степной волк» Германа Гессе. Она понадобилась ему для работы над одной из статей, он нашел ее по упоминанию в критике, к сожалению, не помню точно, где. Нам принесли книгу, и он, прочтя ее, не разлучался с ней до самых последних дней, пока мог читать. Его поразила, по-моему, не только философская глубина Гессе, у него, как мне кажется, было какое-то особое, очень личное восприятие этого романа, который сначала показался ему слишком запутанным и сложным, но, постепенно вчитываясь и увлекаясь, он вновь и вновь возвращался к книге, и не только для работы. На одной из витрин лежит эта книга в синем переплете, и рядом — листок, исписанный наполовину. Верхняя строка: «Герман Гессе». Листок, написанный слабеющим почерком, — последние строки его жизни.

«Степной волк»

104 Душевные и физические мучения. Вера в жизнь!

105 И мы вспоминаем о нем

105 О болезни Геллера

105 Я живу не его жизнью

Наступила осень, а с нею пришли осложнения со здоровьем. Стало очевидным, что второй этап операции будет невозможен. Наш врач сказал: «Переживет зиму — будет тянуть до ста лет». Г. К. продолжал работать. Им была написана статья для готовящегося к 90-летию Д. С. Лихачева сборника и заново отредактирована и во многом переделана работа «Поэтика древнерусского искусства» в сборник под редакцией В. В. Бычкова.

Печатать сам он уже не мог, но работал над рукописями целый день, исключая перерывы на еду и послеобеденный отдых. В этот последний год впервые в силу обстоятельств ему пришлось следить за гигиеническим режимом умствен-

ного труда. Раньше на все призывы и увещевания о том, что не очень полезно сидеть за столом помногу часов, не вставая, и что нужно время от времени делать перерывы в работе и как-то отвлекаться, он отзывался, мягко говоря, иронически. Слова «психогигиена умственного труда» он считал досужей выдумкой врачей, которым больше нечем заняться. Я думаю, что если б не внезапная болезнь, он еще долго оставался бы при своем мнении. Но в этой ситуации рекомендации врачей ему пришлось оценить. Он с удивлением заметил, что при перерывах на отдых работа идет лучше, и констатировал: «Да, раньше я этого не замечал». Кроме перерывов на еду и сон были интервалы, когда он слушал радио или беседовал. Очень часто он возвращался к воспоминаниям о прожитой жизни, особенно к годам детства и юности, которые доставляли ему огромное наслаждение. Он вспоминал детство в имении деда, быт семьи: дедушку и бабушку, родителей, игры в кругу своих родных и двоюродных братьев и сестер. К сожалению, он был последним, кто мог об этом помнить: двоюродная сестра Инуся, его ровесница, последняя из оставшихся в живых из его поколения, рожденных до революции, находилась в это время в больнице в очень тяжелом состоянии и скончалась в середине осени того года. Оставалась из свидетелей тех лет только старшая из двоюродных сестер, Елена Николаевна Лихарева-Виардо, 1900 года рождения, которая постоянно жила в г. Сочи, была слепой и почти не слышала, но в здравом уме и памяти. Г.К. приходилось соблюдать строжайшую диету все время болезни. И с особенным чувством наслаждения он вспоминал еду, подававшуюся к столу его детства: шоколадную яичницу, рецепт которой давно утрачен, специально приготовленную дичь, суп с гусиными потрохами, стерляжью уху из свежепойманной рыбы, телячьи окорока, спаржу, сладости, которые выдавала детям бабушка из своих запасов, а также пшеничный кулеш, который они с огромным удовольствием поедали мальчишками на сенокосе. Вспоминал он, и как на Колыме их кормили на полевых работах одной соленой рыбой, которую есть давали даже лошадям, и колымские грибы, жаренные на касторке. Грибы эти он есть не мог, несмотря на голод.

В ноябре состоялась презентация книги «Великая Русь», изданной в Италии издательством «Джака Бук», где Г.К. был одним из авторов вместе с Д.С. Лихачевым, Г.И. Вздорновым, Р.Г. Скрынниковым. Он очень ждал выхода этой книги. Когда я вернулась с презентации с экземпляром этой книги на русском языке, он, невероятно скупой на проявления чувств, со слезами на глазах сказал:

«Господи, я не верил, что этого дождусь. Я не верю своим глазам». Я впервые видела его таким взволнованным. Книга поразила его своим великолепием. «У меня никогда не было таких книг, — добавил он. — И не будет».

Примерно с этого времени силы его стали убывать, сначала почти незаметно, потом все быстрее и быстрее. Ослабевал аппетит, начались головокружения. Наступала зима и все связанные с нею трудности для немолодого организма. Я долго уговаривала его опять взять в руки палочку, так как при ходьбе его иногда пошатывало. Он отказывался. На мои упорные просьбы он ответил: «Я не хочу сдаваться», — но палочку все-таки взял. Он собирался приступить к продолжению книги о Н. Н. Воронине, но работа не пошла. Он опять перешел на чтение, долго о чем-то думал, сидя за своим рабочим столом на кухне. Слушал музыку. Он не делился со мной мыслями о том, что, возможно, не переживет этой зимы; точнее, когда он пытался завести об этом разговор, я его прерывала. Он понял, что уходит раньше, чем с этой мыслью примирились мы. Мы и врач делали все, что могли. Ему стало трудно переходить из спальни в столовую и есть. Но Рождество он встретил еще за столом. Единственным человеком, кто побывал за это время в нашем доме, кроме врача и священника, была Л. К. Розова. Она подарила Г. К. рождественского Деда Мороза. Г. К. протянул его мне и сказал: «Отдай Мите». Одиннадцатилетний сын моего мужа подошел, чтобы поблагодарить Георгия Карловича. Мальчик нашел такие удивительно трогательные слова, что у меня, стоявшей за спиной Г. К., выступили на глазах слезы. Я, к сожалению, не помню точно фраз ребенка, но они начинались словами: «Георгий Карлович, я хочу поблагодарить вас за Деда Мороза...» Г. К. ответил: «Не за что, Дима, скоро наступит мороз...»

Теперь он приходил на кухню только к еде. Однажды я предложила принести ему ужин в спальню, и больше он уже не вставал. Силы уходили с каждым днем; стало ясно, что кончина близка. Пришел отец Георгий для причастия. Все было совершено по обряду, Г. К. был в здравом уме и твердой памяти, но очень слаб. В последний день, когда он еще мог говорить, вдруг позвонил рязанец А. Н. Бабий, которого каким-то чудом принесло в Москву. Они встретились и поговорили.

Г. К. не говорил мне, что уходит. Он говорил об этом Саше Бабию. Говорил моему мужу, вероятно, говорил священнику. Речь его стала почти не слышна, мы читали по губам. В один из вечеров, когда я выходила из его комнаты, прощаясь на ночь, он остановил меня и произнес губами

какое-то слово. Одно только слово. Я не могла понять, но он все время пытался произнести его. Наконец я поняла. Это было: «Спасибо...»

Последние дни он находился в состоянии полусознания, много дремал, иногда просил принести ему какие-либо книги, хотя читать он уже, конечно, не мог. Книги лежали рядом с ним на кровати. Я помню, как он сказал мне: «Принеси мне Лосева о религии». Я знала, что Лосеву не разрешали писать о религии, но Г. К. упорствовал: «Я помню, что где-то было, поищи». Я перерыла все книги Лосева, которые были в доме, но ничего не нашла в них. Я забыла, точнее, не успела прочесть, что в одном из последних номеров «Нового журнала» — «The New Review» — Юрий Данилович Кашкаров* напечатал размышления Лосева о религии, и незадолго до кончины Ю. Д. Кашкарова, в начале зимы 1994 года, мы этот журнал получили по почте из Нью-Йорка. Уже смертельно больной, Юра успел прислать Г. К. этот номер журнала, и Г. К. его прочел, еще когда был в сознании. Он просто забыл в тот момент, где это было напечатано. Мы нашли этот номер уже тогда, когда Г. К. не было в живых. Его последние, ускользающие мысли были о Лосеве и о Боге.

Скончался Г. К. в начале ночи 25 января. В тот вечер в нашем доме был врач, первая из медицинских специальностей которого — реанимационная кардиология. Он сказал, что Г. К. не мучается, что он просто уснет, и случится это где-то около полуночи. Так оно и произошло. Уже после кончины и похорон Александр Иванович, видевший на своем веку за время работы в реанимации около полутора тысяч смертей, добавил: «Обычные люди, простые смертные, как мы с вами, умирают где-то под утро, а святые — в полдень или в полночь».

Вот, собственно, и все, что я хотела рассказать.

Ксения Кузнецова

* Ю. Д. Кашкаров — наш родственник.

НИКОЛАЙ ТРОИЦКИЙ

- За что сидишь, Коля?
- Да за Яшу Джугашвили. А ты за что?
- Я за завещание Ленина.

Н. Троицкий. Тяжелые сны

До прощального салюта, прогремевшего над гробом кавторанга, досталось и ему. Их траурные катафалки в очереди на кремацию оказались рядом.

Николай Александрович Троицкий, о котором идет здесь речь, меньше всего был похож на воина. «Философ» — так звали его однокурсники по Томскому медицинскому институту, который он закончил за год до Великой Отечественной войны. Он мог бы стать поэтом, но властная и независимая мать, почти в полном одиночестве с помощью верной няньки взрастившая сына в глухом сибирском селе, где она работала фельдшерницей, с первых его шагов всячески противилась этому.

Он мог бы родиться в Варшаве и всем своим видом ухоженного младенца восхищать взоры соседней где-нибудь на Маршалковской улице или в Аллее Роз. Но его угораздило родиться 28 октября 1913 года на Дальнем Востоке, в Уссурийске, куда увез свою жену хирург по фамилии Инспекторов.

Наверное, есть какая-либо связь между участью, постигшей монарха, и участью златокудрого младенца, над колыбелью которого мрачно сиял Марс, ибо Скорпион, под чьим знаком появился новорожденный, — носитель бурь и войн.

Гордая полячка быстро разочаровалась в своем избраннике и, снедаемая тоской по милой Варшаве, рванулась назад, к родителям, которые еще не видели своего внука.

В разгар лета 1914 года молодая мать с ребенком отправилась в путь через всю Сибирь в благословенную Европу. Ей не было никакого дела до событий, разыгравшихся в

далеком Сараеве, но началась мировая война. Путь в Варшаву был заказан, и ее связь с родительским домом, Маршалковской улицей и Аллеей Роз порвалась навсегда.

Так Анастасия Александровна Троицкая вместе с сыном оказалась в селе Шало Красноярского края. Будущее ее не страшило. Она решила устроить свою жизнь по-своему. Фельдшерница, получившая образование в Варшаве, была на вес золота в глухом таежном углу. Голубоглазый мальчик Коля рос на деревенском приволье. Он считал Шало своей настоящей родиной, а семьей — мать и няньку.

И вот настал час, когда он покинул свой медвежий угол. Поступил в Томский медицинский институт, среди студентов выделялся. Единственный на курсе носил краги, чем привлекал внимание девушек. На первом занятии в анатомичке упал в обморок при виде крови. В 40-м году закончил институт. Вместе с дипломом, как и все, получил бесценную книгу «Справочник терапевта». Впоследствии справочник разделил судьбу своего хозяина и пережил его.

До начала Великой Отечественной войны оставался ровно год, но мирная жизнь для таких, как он, закончилась. День 22 июня застает его в палатке летнего военного лагеря. Второй раз в жизни его везут на Запад, но на этот раз поворота назад не будет. Путь лежит в Европу, через Москву, которую он видит впервые. Фронт уже близок...

Окружение под Смоленском.

Далее плен. Переход в Смоленск без пищи и воды. Спали на ходу. Шел непрекращающийся дождь. Предел этому кошмару настал, когда в грязно-дымной дали замаячил сожженный город.

Так началось планомерное подконвойное движение Троицкого на Запад, в материнскую Европу. Европа, как чудовищный змий, заглатывала все глубже. Сначала лагерь в Латвии, потом — в Германии. Немцы использовали его в качестве санитара. Среди однообразия полосатых роб выделялись отдельные люди. Запомнился оказавшийся неподалеку Яков Джугашвили, которого берегли до поры до времени.

Конец войны застал его в западногерманском концлагере в городе Вюрцбурге, близ Нюрнберга. Освободили пленных американцы. Картина освобождения много раз воспроизводилась Николаем Александровичем во всей ее эпичности: «Огромная колонна танков не спеша выползает из-за пригорка. Время от времени какой-либо танк производит выстрел в сторону города. Но это скорее для остратки. Наконец головной танк поравнялся с нашим лагерем. Все струдились около колючей проволоки. Мы машем руками,



Николай Троцкий

пилотками, а кто-то из знатоков английского языка кричит: «Да здравствует Америка!» Головной танк раскрыл люк, а из люка через проволочку полетели банки консервов... Ликуют все, а кого-то душат рыдания».

Освободители великодушно предлагали (особенно врачам) американское гражданство. Впрочем, был еще один способ изменить свою жизнь — пристроиться к какой-нибудь деревенской Гретхен. Немецкие девушки нередко заигрывали с советскими военнопленными, которые из доходяг-скелетов на американских харчах становились весьма привлекательными молодыми людьми. С женихами, как и по всей Европе, в Германии было туговато...

Слова Сталина о том, что для него нет военнопленных, а есть изменники Родины, были хорошо известны каждому, оказавшемуся в фашистском плену. С другой стороны — пропагандистские листовки и брошюры с призывом вернуться на Родину. Одна брошюра «Домой на Родину», сочиненная неким Зайцевым, оказала влияние на окончательное решение: возвратиться. Правда, через некоторое время с этим Зайцевым Троицкий встретился в ГУЛАГе.

В августе 1945 года, после трех лет немецкого плена, Троицкий вместе с другими репатриантами оказался в советской зоне оккупации в Праге. Первая же прогулка по зоне убедила, что она огорожена столь хорошо знакомой колючей проволокой...

Начались вызовы в СМЕРШ, обвинения в шпионаже в пользу Америки.

— Вы говорили, что сын товарища Сталина Яков Джугашвили попал в плен к немцам?

— Да, говорил.

— Это ложь! Вы клевете на советских людей! И ваша клевета затрагивает лично товарища Сталина. Яков пал смертью храбрых в июле 1941 года. Поняли?

— Но ведь я же был с ним в одном лагере...

— Молчать!

В январе 46-го года во Львовском пересыльном лагере он встретил пушкиниста Н. А. Раевского, молодым человеком вместе с врангелевской армией оказавшегося за рубежом, а теперь «возвращенного» советской властью на родину; а также сына Гарина-Михайловского, крупного ученого; и профессора Карлова университета Б. К. Янду. Гарин-Михайловский погиб в заключении, профессор благополучно вернулся в Прагу, и впоследствии врач Троицкий имел возможность познакомиться с его книгами по медицине, издававшимися в СССР.

Круг общения расширялся. Словно призраки, Троицкого обступали бывшие дипломаты, журналисты, ученые... В увечных старичках, сидящих на нарах, трудно было узнать бывшего советского консула в Китае Штока или бывшего сотрудника «Нового мира» К. И. Ръжикова. Но именно с последним у Троицкого происходили незабываемые беседы о поэзии, в частности о Гумилеве, стихи которого Троицкий знал наизусть еще с юных лет. Так он смог выговориться за долгие годы плена.

Владивосток. Начало нового этапа. Впереди порт Находка, откуда заключенных будут транспортировать на Колыму. Однако рейс задержался в связи со взрывом парохода «Дальстрой», который произошел на глазах у двигавшейся в порт колонны заключенных.

Семь морей предстояло проплыть погруженным в трюмы заключенным, чтобы попасть в новый ад — царство вечной мерзлоты, в Янлаг.

...К месту назначения шли пешком. Так Троицкий стал участником ледяного похода. Весь этап был разбит на пять партий, по двести человек в каждой. Колонна по 4 человека в ряд. Троицкий шел в третьей партии. Начальство с провизией тащилось в оленьих упряжках. Дневной переход — 25 км. Перед ночлегом — кипяток без ограничения. Наутро мерзлый хлеб и селедка. Минус пятьдесят! Дошли не все. Прибыли в Янлаг 7 октября 1946 года. Это рядом с Верхоянском. Попал он на лесоповал. Сидел в БУРе. Работал в штрафной бригаде, состоящей из уголовников, и единственный из 15 человек остался в живых.

Из штрафзоны, где он занимался разгрузкой угля, его перевели на работу в шахту. Колымское счастье улыбнулось ему в 1948 году, когда взяли врачом в лагерную больницу. Вел прием уголовников с прозекторским ножом за голенищем. Незабываемыми остались встречи с заключенным Н. Давиденковым — любимым учеником академика Павлова, сыном известного невропатолога. Давиденков мог бы стать талантливым ученым, но погиб в лагере.

После освобождения из лагеря Троицкий работал на обогатительной фабрике в поселке Батыгай Верхоянского района. Перед Новым, 1954 годом он получил разрешение на выезд, а в апреле наконец-то встретился со своей матерью, жившей в Семипалатинске вместе с доброй няней. Они считали Колю погибшим...

В 1959 году врач-терапевт Николай Александрович Троицкий поселился в подмосковном городе Красногорске. Работал он терапевтом в местной поликлинике.

Многие годы Николай Александрович составлял биографические и библиографические справки о российских поэтах XX века, выписывал их лучшие стихи. В результате была составлена двухтомная антология в нескольких машинописных экземплярах. О своей жизни он рассказал в автобиографической повести «Тяжелые сны». Ее собирается издать общество «Возвращение».

Маргарита Ногтева

ЯКОВ ЭФРУССИ

Якову Исааковичу Эфрусси не довелось подержать в руках свою книгу: написанная в последние годы жизни, она вышла в свет уже после смерти автора. А было ему в те дни девяносто шесть лет. Три войны, годы революционной смуты, многолетняя ломка сложившихся веками устоев — через все, что происходило в стране в этот бурный, кровавый век, прошел Эфрусси. Не миновал его и ГУЛАГ. И самое удивительное, что, несмотря на все пережитое, он до последнего дня жизни сумел сохранить светлое, радостное мироощущение, веру в человека, умение во всем, даже подчас в самом тяжелом, находить хорошие стороны. И это свойство его характера проявляется чуть не на каждой странице публикуемой книги.

Мне посчастливилось работать с Эфрусси в одном НИИ, я хорошо помню этого стройного, подтянутого, доброжелательного человека, всегда готового выслушать тебя и понять, поделиться своим огромным техническим и жизненным опытом. Известный инженер, автор множества серьезных изобретений, книг и статей по электронной технике, он почти до самых последних дней жизни работал в НИИ, причем работал в полную силу, без каких-либо скидок на возраст. А когда незадолго до смерти он все же вышел на пенсию, то, используя впервые за целую жизнь появившееся свободное время, принялся за написание автобиографической книги, часть из которой, посвященная гулаговскому периоду его жизни, была сразу же опубликована в санкт-петербургском журнале «Звезда» и вот теперь вышла отдельной книгой в издательстве «Возвращение»*.

Книг о ГУЛАГе написано немало, но, пожалуй, впервые в такой полной, основанной на конкретных фактах форме рассказывается о том непоправимом ущербе, который был нанесен сталинскими репрессиями техническому развитию нашей родины. И те, кто вершил кровавые беззакония, шли на это вполне сознательно. Автор книги приводит высказывание одного из следователей НКВД о том, что, хотя аресты

* Яков Эфрусси «Кто на «Э»?». М., «Возвращение», 1996 г.

и отодвигают техническое развитие страны «по крайней мере на 10 лет», но все оправдывает, по его мнению, получаемый при этом политический «выигрыш». Каков получился «выигрыш», это мы увидели во время войны, особенно в первый ее период, когда в полную меру проявилось наше отставание в технике.

Книга Эфрусси начинается с того момента, когда совсем еще молодым человеком, в начале 20-х годов, он был включен в группу ленинградских инженеров, в задачу которых входило применение радиотехники, находившейся тогда и у нас и за рубежом в самом зачаточном состоянии, в военном деле. Эфрусси подробно и с видимым удовольствием рассказывает о разработках этой группы, входившей в состав так называемого Остехбюро. И, право же, ему было, о чем вспомнить и чем гордиться! В годы, когда на допотопном детекторном приемнике с трудом удавалось услышать в наушниках едва различимый голос передающей радиостанции, специалисты Остехбюро сконструировали, к примеру, управляемые по радио мины, что по тем временам было совершенно невероятным; нигде в мире, в том числе и у немцев, подобных устройств не было. При испытании изготовленных приборов взрывные устройства были заложены в окрестностях Москвы, а команды на взрыв передавались по радио из... Ленинграда. На испытаниях присутствовали тогдашние «вожди» — Ворошилов и Орджоникидзе. Испытания прошли блестяще, но это не помешало вскоре арестовать и начальника Остехбюро — блестящего организатора и изобретателя Бекаури, и самого Эфрусси, и инженера Минца (будущего академика), и П. В. Бехтерева, сына известного психиатра, и многих, многих других. Успешно начатые, совершенно уникальные работы были прерваны, их участников либо расстреляли, либо направили на долгие сроки в концлагеря по обвинению в «шпионаже, диверсиях, участии в контрреволюционных организациях».

Автор книги испил гулаговскую чашу до дна. Он прошел и ленинградские «Кресты», и тюрьму на Шпалерной, и пересылку, и Бутырки, и Колыму, и подневольную работу в «шарашке», подобной описанной А. Солженицыным.

Якову Эфрусси пришлось испытать многое, и, во всех, подчас почти невероятных ситуациях этот мягкий, глубоко интеллигентный человек проявлял поразительное мужество. Так, работая на 60-градусном морозе, он однажды отморозил руки, начиналась гангрена; надо было срочно ампутировать пальцы левой руки. Но в медпункте не было ни хирургических инструментов, ни наркоза. И вот фельдшер стал отрезать пальцы... портняжными ножницами. «Отрезать



Яков Эфруси

фаланги пальцев было трудно, ведь даже суставы цыпленка резать затруднительно», — пишет по этому поводу Эфрусси. Медсестра, которая держала его руку во время экзекуции, плакала от жалости, чуть не падала в обморок, а сам автор, едва только пришел в себя, подумал с горечью, что больше ему не придется играть на скрипке в ленинградском любительском оркестре.

Книга Эфрусси написана просто, лаконично, без каких-либо литературных красотостей, она не претендует на «художественность», однако есть в ней немало точных литературных образов (например, «икры ног у меня налились и стали твердыми, как кегли»), иногда — одной-двумя фразами дается прекрасно нарисованный пейзаж. Обладая редкой памятью (не мог же Эфрусси вести в тюрьмах некий дневник!), автор рассказывает о встречах с людьми, с которыми сводила его судьба на тюремных дорогах. Одержимые в своей увлеченности техникой инженеры ухитрились и в камере, в ожидании очередного допроса, и на пересылках обсуждать различные технические проблемы. С арестованным Гиляровым Эфрусси, к примеру, разговаривал однажды о так называемом стробоскопическом эффекте. «К сожалению, — пишет автор книги, — разобрать до конца эту тему не удалось, нас развели по разным камерам».

Вспоминает автор и о соседе по камере — филологе, владевшем 16 языками, и о ярком К. Е. Полищуке, начальнике военной академии, и о бывшем обкомовце Боровом, который, находясь в камере и ожидая расстрела, терзался совестью, вспоминая, как он участвовал в ликвидации кулачества... Весьма примечательный, доселе неизвестный факт приводит Эфрусси, рассказывая о том, как пожилого профессора истории поместили в отдельную камеру, снабдили литературой и велели сочинить... «Конституцию Российского государства», которая потом должна была служить вещественным доказательством при обвинении каких-то людей в подготовке «свержения советского строя».

Как-то в камеру привели одного из участников челюскинской эпопеи. Не сумевший, по словам Эфрусси, «пережить перехода из героев в арестанты», человек этот совсем упал духом. Тогда Эфрусси попытался объяснить ему, что поскольку существует установка во всех организациях иметь своих «врагов народа», то и коллектив челюскинцев не является исключением. Это — во-первых. А во-вторых, надо стараться быть героем не только на льдине, но и в тюрьме, — во всяком случае, нельзя терять человеческое достоинство в любых ситуациях.

И эти слова как нельзя лучше выразили жизненное кредо Эфрусси. На суде он не захотел признаться в предъявленных ему нелепых обвинениях. Позже один заключенный, бывший прокурор, выслушав рассказ Эфрусси, одобрил его поведение на суде, сказав, что он вел себя очень точно, что достаточно было одного неверного слова, чтобы получить высшую меру. «Я до сих пор горжусь этим отзывом», — пишет Эфрусси в своей книге.

Итак, с учетом тюрьмы и последующего лишения в правах, в общей сложности двадцать лет было вырвано из нормальной жизни человека, для которого главным была работа на пользу родине.

И все же, подводя итоги, Эфрусси пишет: «Я не хочу сказать, что все годы были целиком потеряны. Кое-какие полезные разработки были мною выполнены и в Остехбюро, и в «шарашке» НКВД, и, позже, в телевизионной лаборатории, хотя в нормальных условиях мне удалось бы, вероятно, сделать намного больше».

Такими скромными словами заканчивает свою книгу человек большого достоинства, мужества и таланта Яков Исаакович Эфрусси.

Александр Родин

АДА ФЕДЕРОЛЬФ

Умерла Ада Александровна Федерольф... Кончилась долгая-долгая жизнь, которая уместилась и почти совпала с границами века. Она началась в 1901 г. в семье обрусевшего норвежского врача. Потом была привилегированная гимназия, счастливая, яростная полуголодная молодость, совпавшая с революцией, первое замужество и переселение в Англию с мужем, английским подданным. Жизнь в Англии оказалась сытой, благополучной, но скучной: «Неужели я проживу здесь всю жизнь?» И она вернулась. Это был опасный поворот, предопределивший многое... Английский язык стал профессией, нужда в которой возрастала с каждым часом, — Страна Советов «заводила экономические и политические знакомства», переводчики и учителя английского были в цене. Она преподавала и в Институте красной профессуры, и в ИФЛИ, и где только не... Ее учеником, вполне нерадивым, был сам Никита Сергеевич Хрущев, и она не давала ему спуска. Жизнь опять была яростной и счастливой: масса работы, интересные люди, любовь, путешествия. Все оборвалось внезапно — арестом: ее имя называли арестованные коллеги, не выдержавшие допросов. Судьба ее учеников из Института красной профессуры — иногда она входила в совершенно пустой класс — и судьба ее брата, сподвижника Тухачевского, стала ее судьбой. Казалось, что это — не для нее, ведь она ни в чем не виновата. Ее «замели для счета», для выполнения плана по производству поголовья рабов, обвинив в шпионаже, поскольку была замужем за англичанином. Колыма — земля миллионов сломанных судеб, гигантская братская могила. Из нее уже не вернуться к прежней жизни, она если не убивала, то разрезала жизнь на «до» и «после». Ада Александровна сама описала свое страшное путешествие на Колыму длиной в 8 лет. Надеюсь, эта книга будет издана, — у меня, там не бывшей, нет морального права касаться этой трагедии вскользь в некрологе. Когда она была на Колыме, умерла ее мать — единственный, как оказалось, человек, который ее ждал на воле. На Колыме она не то что вышла



Ада Федерольф

замуж, скорее — оформила брак с лагерником Шкодиным, избавившись на время от своей одинокой и опасной фамилии. Миновала война, кончился срок. Полная надежд, она вернулась в Москву, где ее никто не ждал и где запрещено было жить. Поселилась в Рязани, как оказалось — накопителе выживших лагерников для отправки их на новый срок или вечное поселение, преподавала английский в пединституте. В этой тьме разбитых надежд затеплился свет дружбы, который не просто согрел, но сделался основным смыслом и содержанием ее жизни до самой кончины, — дружбы с Ариадной Сергеевной Эфрон, дочерью Марины Цветаевой. Они были одновременно повторно арестованы в 1948 г., сосланы «на вечное поселение» в Туруханск. Вернулись, правда, врозь: Ариадну Сергеевну реабилитировали в 1955 г., а Аду Александровну — в 1956 г. Поразительным доказательством силы этой дружбы была поездка уже свободной Ариадны Сергеевны в Красноярск в 1956 г., где Ада Александровна дождалась разрешения вернуться в Москву. Потом они вместе поселились в комнатенке 12 м в коммуналке на Комсомольском пр. — все, на что расщедрилось человеколюбивое государство для своих ошибочно репрессированных, ошибочно недоубитых дочерей. Почти 40 лет длилась жизнь Ады Александровны «на воле» после возвращения из «вечной ссылки» — как оказалось, категория вечности не является прерогативой советской власти. Она сама, к счастью, оказалась в высшей мере и степени конечной: «Кому не дано, — отнимется». Эти 40 лет были разрезаны надвое смертью Ариадны Сергеевны 26 июля 1975 г. Когда Ариадны Сергеевны не стало, Ада Александровна сказала: «Моя душа умерла». Трудно теперь сказать, лютеранские ли гены, обстоятельства ли жизни выработали в Аде Александровне незаурядную волю и практицизм, но воля ее была воистину железной и не покидала ее до последнего часа, не считаясь с крайней немощью, и, кажется, продолжает жить поныне. Этой волей была благоустроена, насколько возможно, жизнь двух очень немолодых и не равно здоровых женщин, созданы все условия для литературной работы Ариадны Сергеевны, выстроено уютное гнездо на берегу Оки, в Тарусе, организованы путешествия, в том числе по Енисею, в Туруханск, к первому домику, выстроенному Адой Александровной для совместной жизни. Умирая, Ариадна Сергеевна завещала все, оказавшиеся в ее руках архивы М. И. Цветаевой, Аде Александровне, и та не просто с немецкой пунктуальностью, а в пламени неистового служения выполнила завещанное, кажется, до последней запятой. Волею Ады Александровны

на могиле Ариадны Сергеевны на тарусском кладбище был воздвигнут гигантский мраморный монумент всей семье Цветаевой — Эфрон... Потом жизнь начала разлаживаться. Задавшись целью продать дом в Тарусе, она справилась с этим нелегким делом. Покупатель — отпетый член ССП — дал «хорошую» сумму, но через несколько лет, когда понадобилось поменять машину или еще что-то, явился к ней, одинокой слепой старухе, и с угрозами потребовал вернуть приличную часть хорошей суммы. Она кинулась к юристу, тот, все взвесив — ее возраст, партийные связи и деньги обидчика, посоветовал сдаться, боясь, что ее здоровье не выдержит новых обид и оскорблений... Написав две книги о двух своих «путешествиях» в ГУЛАГ, она искала встреч с молодыми слушателями, немедленно влюбляясь в каждого из них. Но те, стартовав с большим энтузиазмом — имена Цветаевой и ее дочери действовали как магнит, — постепенно начинали тяготиться требованиями новой дружбы, обрывая ее болезненно и бестактно. Не менее чувствительные обиды настигали подчас от цветаеведов. Умирали один за другим друзья и знакомые. Стало сдавать здоровье — сначала трофические язвы, потом утрата зрения. Надо было видеть, с какой железной волей она сражалась с этими недугами и достигала невероятного, но человеческая воля не всемогуща. Наконец, жизнь замкнулась пространством 12 м комнаты, и вся воля сосредоточилась на одной цели — издать воспоминания об Але: тема ГУЛАГа перестала быть запретной. Был найден, как бы нашелся единственный человек, способный сделать это. Он немедленно сделался самым любимым, и начались терзания: придет — не придет, напечатает — не напечатает, доживу — не доживу. «Ада Александровна, я знаю Вас 20 лет и не помню ни одного задуманного Вами дела, которое бы не удалось. Бог не допустит!» И точно: книга была издана, она дожила и даже осознала во всей полноте свершившийся факт, хотя мозг ее уже сдал и был в тумане. После этого жить уже стало незачем... Спустя 3 недели после того, как мы с ней разбирали и надписывали сигнальные экземпляры, я заскочила к ней по дороге из... в... и нашла ее на полу, раздетую, в затемненном сознании. Обредевшись, начала звонить и своею волею, к сожалению, способствовала ее госпитализации в привилегированную больницу. Там я ее успела навестить один раз. При первом взгляде чувство вины и неправимости ожгло сердце — на мертвенно белой коже сквозь совершенно белые волосы на виске синел, желтел, зеленел огромный синяк. Ее уронили или она упала — последний плевок бездушной медицины бездушного государства. Старики в этой стране должны умирать дома...

Ксения Краснопольская



ВОЛЯ

6-7
1997